

ВОСПОМИНАНИЯ ЕВРЕЯ- КРАСНОАРМЕЙЦА



XX военные
тайны
века

Л.И. КОТЛЯР

ХХ *военные
тайны
века*

Л. Котляр

П. Полян

**ВОСПОМИНАНИЯ
ЕВРЕЯ-КРАСНОАРМЕЙЦА**

Москва
«Вече»

УДК 355/359
ББК 68.54
К73



Предисловие, научное редактирование и примечания — П. Полян

Котляр, Л.И.

К73 Воспоминания еврея-красноармейца / Л. Котляр, П. Полян. — М.: Вече, 2011. — 352 с. : ил. — (Военные тайны XX века).

ISBN 978-5-9533-5705-0

Книга «Воспоминания еврея-красноармейца» состоит из двух частей. Первая – это, собственно, воспоминания одного из советских военнопленных еврейской национальности. Сам автор, Леонид Исаакович Котляр, озаглавил их «Моя солдатская судьба (Свидетельство суровой эпохи)».

Его судьба сложилась удивительно, почти неправдоподобно. Киевский мальчик двенадцати лет с ярко выраженной еврейской внешностью в июле 1941 года ушел добровольцем на фронт, а через два месяца попал в плен к фашистам. Он прошел через лагеря для военнопленных, жил на территории оккупированной немцами Украины, был увезен в Германию в качестве оstarбайтера, несколько раз подвергался всяческим проверкам и, скрывая на протяжении трех с половиной лет свою национальность, каким-то чудом остался в живых. Этим событиям посвящены первые две главы повести. В третьей — автор описывает то, что пришлось ему пережить до и после Великой Отечественной войны. Его жизньместила в себя годы НЭПа; голод 1933–1934 годов; чистку ВКП(б), через которую проходил его отец; сталинский СМЕРШ; захлестнувшую СССР в послевоенные годы волну антисемитизма (о которой, кажется, еще никто толком не написал); «дело врачей»; аварию на Чернобыльской АЭС, рядом с которой он оказался по воле судьбы весной 1986 года...

Вторую часть книги составляет статья известного российского историка П. Поляна об участии попавших в плен евреев-красноармейцев.

**УДК 355/359
ББК 68.54**

ISBN 978-5-9533-5705-0

© Котляр Л.И., Полян П.М., 2011
© ООО «Издательский дом «Вече», 2011



ПРАЩА ЛЕОНИДА, ИЛИ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА

1

Воспоминания Леонида Котляра названы необычайно просто: «Моя солдатская судьба». Бесхитрое изложение обстоятельств и вех жизни одного из миллионов участников войны, уцелевших счастливых из числа победителей, и, наверное, одного из тысяч, кому захотелось об этом написать. Не слишком типично, но и не редко.

Но судьба судьбе рознь, и «солдатская судьба» Котляра не просто нетипична — она уникальна. И не тем, что его непосредственное участие в боевых действиях ограничилось одним месяцем и свелось к почти что незамедлительному попаданию в плен — и таких красноармейцев миллионы! (Иначе и не могло быть, если в бой бросали не только необученные, но еще и безоружные части, как взвод Петра Горшкова, которому пришлось «отстреливаться от фрицев»... выдергиваемыми из земли буряками! Гротеск? Да, но какой-то правдоподобный.)

Уникальна она и не тем, что он в плену выжил — это удавалось, правда, лишь каждым двум из пяти, но и таких везунов все еще миллионы!

Леонид Исаакович Котляр был евреем, и его и без того распоследний в иерархии пленников статус советского военнопленного (какие к черту Женевские конвенции и прочие нежности?!) должен быть помножен на «коэффициент Холокоста» как однозначного немецкого ответа на окончательное решение еврейского вопроса. Иного, кроме смерти, таким, как он, такие оберменши, как немцы, предложить не могли.

Мало того, именно советским военнопленным-евреям выпало стать первыми де-факто жертвами Холокоста на территории СССР: их систематическое и подкрепленное немецкими нормативными актами физическое уничтожение началось уже 22 июня 1941 года, поскольку «Приказ о комиссарах» от 5 мая 1941 года целил, пусть и не называя по имени, и в них¹.

Таких — еврейской национальности — советских военнопленных в запачканной их кровью руках вермахта оказалось порядка 85 тысяч человек. Число уцелевших среди них известно не из оценок, а из репатриационной статистики: немногим меньше 5 тысяч человек². Иными словами, смертность в 94 % — абсолютный людоедский рекорд Гитлера!

Недаром пресловутое «Жиды и комиссары, выходи!», звучавшее в каждом лагере и на любом построении, звенело в ушах всех военнопленных (а не только еврейских) и запечатлелось в большинстве их воспоминаний. А у еврейских и подавно!

Но Леониду Котляру посчастливилось попасть в число этих уцелевших.

2

«Обреченные погибнуть» — так называли пишущий эти строки и его иерусалимский коллега Арон Шнеер книгу дневников, воспоминаний и интервью таких же, как и Леонид Котляр, «счастливчиков». Она вышла в 2006 году в «Новом издательстве»³, и ее без малого 600 страниц не смогли вместить

¹ Посему их первыми по времени палачами стали военнослужащие вермахта.

² Ведь только по официальным данным Управления по делам репатриации при Совете Министров СССР, среди репатриированных после войны граждан СССР насчитывалось 11 428 евреев, из них 6666 гражданских лиц и 4762 военнопленных (*Полян П.М. Жертвы двух диктатур. Жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и оstarбайтеров на чужбине и на родине. М., 2002. С. 527*

³ Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне. Воспоминания и документы / Сост. П. Поляна и А. Шнеера // М.: Новое издательство, 2006. 576 с.

всего имевшегося у нас материала¹. Каких только невероятных судеб не встретишь на ее страницах, но воспоминания Л. Котляра, если бы они были нам тогда известны, в ней не затерялись бы, а главное — весьма обогатили бы своей фактографией общую картину.

Так, он первым описал такой хитроумный способ выявления немцами «затаившихся евреев», как сортировку по национальностям: «...Из строя стали вызывать и собирать в отдельные группы людей по национальностям. Начали, как всегда, с евреев, но никто не вышел и никого не выдали. Затем по команде выходили и строились в группы русские, украинцы, татары, белорусы, грузины и т.д. В этой сортировке я почувствовал для себя особую опасность. Строй пленных быстро таял, превращаясь в отдельные группы и группки. В иных оказывалось всего по пять-шесть человек. Я не рискнул выйти из строя ни когда вызывали русских и украинцев, ни, тем более, — татар или армян. Стоило кому-нибудь из них усомниться в моей принадлежности к его национальности — и доказывать обратное будет очень трудно.

Я лихорадочно искал единственно правильный выход. Когда времени у меня почти уже не осталось, я вспомнил, как однажды в минометной роте, куда я ежедневно наведывался как связист штаба батальона, меня спросили о моей национальности. Я предложил им самим угадать. Никто не угадал, но среди прочих было произнесено слово «цыган». За это слово я и ухватился, как за соломинку, когда операция подошла к концу и нас осталось только два человека. Иссяк и список национальностей в руках у переводчика, который немедленно обратился к стоящему рядом со мной смуглому человеку с грустными навывкате глазами и огромным носом:

— А ты какой национальности?

— Юда! — нетерпеливо выкрикнул кто-то из любителей пошутить.

¹ Очень многое пришлось отставить как публиковавшееся до этого отдельно или в достаточно доступных изданиях. Среди не включенного и воспоминания Софьи Анваер «Кровоточит моя память. Из записок студентки-медики» — книга, открывшая собой в 2005 году серию «Человек на обочине войны».

Кто-то засмеялся, послышались еще голоса: «юда! юда!», но тут же все смолкло, потому что крикуны получили палкой по голове за нарушение порядка. В наступившей мертвой тишине прозвучал тихий ответ:

— Ми — мариупольски грэк.

Последовал короткий взрыв смеха.

Не дожидаясь приглашения, я сказал, что моя мать украинка, а отец — цыган. И тотчас последовал ответ немца, выслушавшего переводчика:

— Нах дер мутер! Украинер!

— Украинец! — перевел переводчик.

Приговор был окончательным, и я был определен в ряды украинцев. Теперь любой, кому пришла бы в голову фантазия что-либо возразить по этому поводу, рисковал схлопотать палкой по голове. Немцы возражений не терпели».

Отметим и нетривиальность принятого им здесь выбора: случаи маскировки под русских, украинцев, армян, татар или грузин в этой же ситуации относительно часты, а вот под цыган — единичны¹.

В процитированном фрагменте — лишь один из эпизодов, связанных с выяснением национальности автора. Всего же таких «эпизодов» я насчитал шестнадцать (в действительности их было наверняка больше): шесть в лагерях для военнопленных, восемь во время вольного батрачества по украинским селам и еще два — медицинские проверки на пути в Германию. Каждый из них запросто мог бы завершиться «селекцией» и смертью того, кого спрашивают.

Ни один из них не был чистым везением: всякий раз Котляр делал или говорил то и только то, что могло бы отвести удар и спасти. И это не было актом инстинктивного и любой ценой выживания — это было его борьбой и его подвигом, смыслом его жизни и, если хотите, его прашой Давида. *«Если еврей, — писал он, — с сентября 1941-го все еще не разоблачен немцами, если он проявил столько изобретательности и воли, мужества и хладнокровия и Господь Бог ему помогал в самых безнадежных ситуациях, то он уже про-*

¹ Впрочем, и случаи селекции среди военнопленных по «цыганскому» признаку тоже неизвестны.

сто не имеет права добровольно отказаться от борьбы. Такой поступок означал бы акт капитуляции человека, дерзнувшего в одиночку вступить в единоборство с огромным, четко отлаженным механизмом массового истребления евреев».

И Леонид Котляр не капитулировал: крошечный Давид одолел жидоеда Голиафа.

А когда грозовые тучи сгустились над Рейхом, то с бомбежками союзников на немецкие села и города обрушилось огненное возмездие, как бы говорившее каждому немцу на немецкой земле: *«Ты хотел войны — так получи ее на свою голову во всем ее великолепии и блеске!»*

Но, вслушиваясь в звуки апокалипсиса, всматриваясь в зарева пожаров и восхищаясь силою причиненного разрушения, Леонид, не испытал ни жажды крови, ни, если она проливалась, мстительного торжества. Индивидуальное возмездие и адресную месть он приветствовал бы, но тотальное истребление немцев не могло быть «ответом» на тотальное истребление евреев: *«...Я не смог бы на полном ходу врезаться на танке в немецкий домик, не мог бы и пальцем тронуть немецкого ребенка, даже из тех, кто бросал в нас камешками, когда наша оскорбляющая эстетическое чувство колонна двигалась по городу после работы. Дети оставались для меня просто детьми, достойными и любви, и жалости. Но во мне было достаточно ожесточения и ненависти, чтобы пристрелить, не колеблясь, лагерфюрера Майера или эсэсовца Освальда, имевшего на заводе свой кабинет и курировавшего все вопросы, касающиеся военнопленных и восточных рабочих...»*

3

Но вернемся к траектории судьбы Леонида Котляра, соединившей в себе даже не две, а три ипостаси — еврея, военнопленного (или «пленяги», как он выражается) и еще угнанного в Германию гражданского принудительного рабочего («остарбайтера», если по-немецки, или, в русифицированной версии, «остовца»). Успешно пройдя селекцию и «переложившись» в Леонтия Котлярчука, украинца по матери и киевлянина по месту жительства, он выгащил дважды счастливый билет. Лагерная комиссия под

руководством «особиста» из СД освободила Котлярчука из состояния военного плена и отпустила его, отныне свободного цивилиста¹, из Николаевского шталага домой, в Киев, снабдив на дорогу хлебом и «аусвайсом»!²

«Домой», понятно, «Котлярчук» не спешил, а по дороге застрелал и кантовался где только мог, — сначала в селе Малиновка Еланецкого района Николаевской области — при пасеке, а потом на хуторе Петровский соседнего Братского района — пастухом. Но осенью 1942 года Украину накрыла очередная (третья по счету) волна заукелевских вербовочных кампаний³, и 3 октября староста Петровского закрыл спущенную ему разрядку двумя прибившимися к хутору «оцивленными» военнопленными, в том числе и Котлярчуком.

А тот, благополучно пройдя два чистилища медосмотров (обоих врачей, кроме отсутствия признаков венерических болезней, ничто более не заинтересовало), уже через несколько дней сидел вместе с другими угнанными в эшелоне, направлявшемся из Вознесенска в Германию, куда и прибыл (в Нюрнберг) уже 12 октября. Попав по распределению на завод «Зюддейче Кюлерфабрик Юлиус Фридрих Бер» в Штутгарте, изготавливавший всевозможные радиаторы для двигателей внутреннего сгорания, он проработал на нем слесарем все два с половиной года, что отделяли Штутгарт от 19 апреля 1945 года — дня освобождения города американцами.

Котляр и здесь по-прежнему сильно рисковал своей жизнью, но уже не как потаенный еврей. Он рисковал как остовец, на которого американская или английская бомба может упасть в точности так же, как и на его бригадира-немца. И еще как советский патриот, мучающийся от того, что объективно работает на врага и посему старающийся не только быть ему *«минимально полезным»*, но и идущего порой на настоящий и сопряженный с колоссальным риском саботаж⁴.

¹ От нем. Zivilist — гражданское лицо. Таких «освобожденных из плена» тоже было немало — от 300 до 400 тысяч, но много ли среди них было евреев?!

² От нем. Ausweis — пропуск.

³ См.: Полян П. Цит. соч. С. 146—216.

⁴ Так, однажды он положил на фланец внутри вытяжной трубы вентилятора небольшую гайку, чтобы, при вибрации от работы вентилятора, она

Леонид Котляр, однако, не ограничился описанием военнопленной и остовской судеб «Леонтия Котлярчука». Еще тогда его всерьез заинтересовал вопрос их соотношения: какова доля таких же, как он, бывших или тайных военнопленных и окруженцев, среди де-факто остовцев. И вот к каким выводам он пришел, проанализировав свой эшелон и свой новый трудовой коллектив:

«... Следует сказать, что остарбайтеры в нашей мужской колонне на девяносто процентов состояли из бывших военнопленных. Часть из них избежала лагерей, устроенных немцами в нескольких городах Украины, в силу того что они попали в окружение на территории своего государства, иных немцы сами отпустили из лагеря домой, выдав аусвайс, причем среди последних были жители России, а также узбеки или таджики, которым помогли освободиться, обманув немцев, их однополчане-украинцы. В нашем строю остарбайтеров фирмы «Бер» таких была доля половина.

Проживая на хуторе Петровском, я считал, что Надеждовская полиция разрешила мне временно здесь оставаться как жителю Украины, но почему она закрывала глаза на то, что ставропольскому казаку Жоре и жителю России Ивану аусвайсы были выданы как жителям хутора Петровского? Можно было предположить, что кто-то кого-то об этом очень попросил. Однако уже в райцентре Братском, куда мы с Иваном прибыли в сопровождении полиция для дальнейшего следования в Германию, увидев там казахов и туркмен, прибывших тем же порядком из других населенных пунктов района, я понял, что явление это имеет, как теперь говорят, системный характер».

От себя замечу, что вопрос этот принципиален для понимания структуры и баланса угнанных в Германию советских граждан, но историческая наука впервые доросла до его постановки не ранее середины 1990-х годов.

бы сползла и лопасть сломалась. Так и произошло, а цех простоял два дня. В другой раз он не тщательно замуровал газовую латунную горелку, поддерживавшую необходимую температуру в печи-ванной, куда окунались, в расплавленное олово, собранные радиаторы. Скоро горелка лопнула, а новых латунных уже не было: новые были только из сплава похуже и срабатывались быстрее старых. Цена таких «экспериментов» находилась почти на «еврейском» уровне — между концлагерем и расстрелом.

7 августа 1945 года Леонид Котляр начал свой репатриантский путь из Штутгарта в Киев: дорога растянулась на бесконечные 16 месяцев, из них 6 в Германии. Станциями на ней послужили армейский сборный пункт в Галле, фильтрационный лагерь в Цербсте (фильтрационный «экзамен» он сдал на «отлично», не попав на крючок эмиграции в Польшу), школа сержантов в Потсдаме и Биттерфельде, казармы в Виттенберге и, уже с марта 1946 года, дивизионные бараки в Песочном под Костромой. В Киев Котляр приехал 5 декабря 1946 года уже демобилизованным.

Надо сказать, что армия все сделала для того, чтобы рядовой (а позднее сержант) Котляр как можно быстрее реинтегрировался в настоящую советскую жизнь. Издевательства над рядовыми и вообще подчиненными — то, что Котляр еще в первую свою мобилизацию называл «армейскими забавами», — быстро избавили его от последних иллюзий и настроили на правильный, на советский лад.

А антисемитизм, с которым лоб в лоб столкнулся в Киеве его отец и, более отдаленно и косвенно, но еще в Германии и он сам, — окончательно расставил все точки над *i*. Собственно, ему, послевоенному советскому антисемитизму, ежемесячно крепчавшему в стране, и посвящена вся третья часть мемуаров Леонида Котляра. Сам же антисемитизм — пусть и не жидоморский, как у немцев, и не погромный, как в начале века в России, — предстает в ней тоже своего рода пленом, когитистым внутренним состоянием, из-под власти которого не хотят или не могут освободиться его адепты, они же узники.

История его отца, как и его собственная история, — не что иное, как главки ненаписанной истории антисемитизма. Сразу же после войны, задолго до истерик с «безродными космополитами» и «убийцами в белых халатах», его фирменным знаком в СССР были словечки «Ташкент», или «Ташкентский фронт». Жиды, мол, не воевали, жиды отсиживались в тылу, в эвакуации, когда русские и остальные за них кровь проливали. В этом контексте и само слово «эвакуация» — какое-то презренное и гнилое, замешанное на трусости и чуть ли не на предательстве. Все лишения,

что испытывали эвакуированные сверх того, что доставалось населению тыла, — не в счет.

И когда «эвакуированные» (или, как их еще называли, «выкачываемые») начали понемногу возвращаться в свои разрушенные города и разграбленные квартиры, почти всегда они находили в них непрошенных новых хозяев, заселившихся по немецким ордерам при оккупации и никуда не желающих уезжать. Законные хозяева превращались в просителей или истцов, отнимающих у людей жилплощадь по липовым, купленным документам и наградным листам. На их, оккупантов, стороне были и общественное мнение, и беспримерные нахрапистость и хамство, и социально близкие дворники, и даже суды, поддерживавшие старожилов лишь в тех случаях, когда однозначно просматривалось участие кого-либо из семьи эвакуированных истцов в боевых действиях (просто служба в армии не засчитывалась).

Все это — занятая комната и категорический отказ ее освободить — испытал и Исаак Моисеевич Котляр, оба сына которого, и Леонид, и Роман, положили, как он полагал, на войне свои головы, но не оставили об этом ни одной записи. Но есть в этой истории одна дополнительная краска, точнее, мерка, показывающая, как глубоко и низко может пасть человек, пускающийся в неправовой стране в такой несправедный конфликт: жилец-оккупант старательно уничтожал все письма, которые Леонид посылал — по киевскому адресу — отцу. То есть он не только покушался на жилище: не поморщившись, он покушался и на то, чтобы «отобрать» у убитого горем отца сына, а у недоумевающего сына — отца! Если бы он мог перекрыть переписку сына и с соседями — он, не задумываясь, сделал бы и это.

Наложить лапу на чужую переписку — это по-нашенски, это по-советски! Исключавшие Исаака Моисеевича из партии в 1949 году и восстанавливавшие его в ней потребовали от него перестать переписываться с американскими братом и сестрой, видите ли, интересовавшимися, уцелел ли брат Исаак и его семья после Холокоста. Обещание было дано и сдержано, но брат и сестра как бы заживо похоронены.

Своя голгофа мучений и издевательств предстояла, разумеется, и Леониду Исааковичу. Все было как бы по-старому и по-новому одновременно: причем комбинировались при этом оба несмывае-

мых «пятна» на его биографии — родимое (национальность) и благоприобретенное (плен). Сами барьеры, в которые утыкались любые его хлопоты — и прежде всего относительно вузовской учебы или работы учителем — как правило, не артикулировались, но ответственность их существования была почти что физической. Простой пример: в родной 91-й школе тот же директор, у которого Леонид до войны не только учился, но и преподавал, без звука восстановил аттестат зрелости, но работы в своей школе не предложил.

Это давление, этот гнет, этот плен ощущался Л. Котляром не только после войны, но и на протяжении всей его жизни. *«Именно антисемитизм (как государственный, так и бытовой, личный) в сочетании с пятном на биографии (немецкий плен) определил мою участь на долгие десятилетия».*

Но, как и в немецком плену, он, в меру сил и разума, боролся и с этими путами, боролся, как правило, в одиночку, иногда — опираясь на поддержку своих домашних. Ничего не ответил он лучшему другу на его подлый вопрос о «последней пуле», но и друг перестал для него после этого существовать. Сопrotивляясь тяготам и несправедливости, он всегда искал линию разумного компромисса: так, не переставая мечтать о театре и о столичной среде, большую часть трудовой жизни он, не ропща, проучительствовал в селах и райцентрах — в Киеве бы или Москве он не нашел бы работы и не прокормил бы семью. В партию, как и в РОА, он не вступал, но и в ГУЛАГ, как и в Заксенхаузен, «солдатская судьба» его не занесла. Избегая, насколько можно, любовых конфликтов, он не исключал и «саботаж»: так, распространять облигации среди голодающих колхозников он наотрез отказался, а от педагогической процентомании в школах или бежал (в Новосибирск), или ее «саботировал».

5

Нельзя не отметить того, как просто, лаконично и неприхотливо написаны эти воспоминания. Благородная скупость слога выдает не просто талант, а незаурядный творческий потенциал, оставшийся, возможно, от так и не реализованной театральной мечты.

Но театр, к которому автор имел такую сильную и столь осознанную склонность, был, наверное, лишь одной из версий его худо-

жественности. А литература — но не как школьный предмет, который он и сам преподавал, а как квинтэссенция и сердцевина русской культуры, — могла бы стать и, кажется, стала другой ее «версией».

Сразу же отмечу и богатство словаря, помноженное на цепкость памяти и чуткость к языкам: такие позабытые слова, как «твинчик», «крам», ППЖ (походно-полковая жена), предстают в соответствующих местах как совершенно органичные элементы предложения (часто еще и в индивидуализированной речи). При этом никакой нарочитой заархаизированности или фольклорности: иногда всплывает и неназойливое присутствие современности (например, сравнение с Ларисой Долиной).

Но особо выделю замечательное слово «пленяга», до сих пор ни у кого из мемуаристов из числа пленных не встречавшееся. Даже если это не обиходное, не подслушанное слово, а неологизм — слово все равно великолепное, насыщенное грамматическими и смысловыми коннотациями!

Слог у Л. Котляра, повторимся, скуп и подчеркнута антиметафоричен, но иные образы тем не менее необычайно ярки. Вот, например, фраза из описания салюта в Штутгарте в ночь с 8 на 9 мая 1945 года: *«Сами звезды показались мне выстреленными только что из автоматов и ракетниц, а свет их вдруг расплылся у меня в глазах».*

А вот чисто слуховой образ в один из дней в сержантской школе в советской оккупационной зоне Германии: *«...В первые минуты нашего пребывания в этом ничем не примечательном лагере, выйдя из комнаты, где разместился наш взвод (численность — по комплекту коек), я услышал громко произнесенное слово «Абраша». Оно меня оглушило, ошарашило, я не поверил своим ушам. Здесь?! На этом пространстве?! В этом воздухе, среди барачных блоков оно прозвучало так неожиданно, как мог бы прозвучать голос кукушки в тундре».*

Как, еврейское имя — да еще в ласкательном наклонении — и здесь, в Германии?!

Подчеркну еще две органические наклонности автора — к анализу и к точности. Они столь же отчетливо видны и внутренне аргументированны даже там, где он поневоле ошибается. Так, получив

возможность заглянуть в производственную картотеку фирмы «Бер» и увидев там два типа отметки на «русских» карточках — «OST» и «KG», он решил, что «KG» (от Kriegsgefangene — военнопленные) — означает нечто иное, как те из «OST», что когда-то были «KG». Это, конечно же, не так: «KG» — это и есть «военнопленные», так же, как и оловцы, попавшие на фирму «Бер», — и именно как военнопленные.

Другая «ошибка» автора — присвоение генерал-полковнику Голикову, в октябре 1944 года возглавившему репатриационное ведомство СССР, «лавров» генерал-майора Драгуна, одного из заместителей Голикова. Миссия Драгуна действительно сидела в Париже, обладала огромной самостоятельностью, занималась еще и разведкой и, действительно, контролировала в плане репатриации почти всю Западную Европу, в том числе, и даже в особенности, французскую оккупационную зону, к которой первоначально относился и Штутгарт. Понятно, что имя Голикова было на слуху и на виду, а имя Драгуна — в тени¹.

Но там, где нет нужды во вторичных источниках, Л. Котляр абсолютно точен и достоверен. Например, эпизод в Цербсте с особистом из фильтрационной комиссии, чье провокативное «приглашение» к эмиграции в Польшу — деталь, которая дорогого стоит.

Другая деталь — недельный общегерманский траур по Шестой армии, погибшей под Сталинградом. Применительно к рабочей команде на заводе «Бер» это выразилось в моратории на пение песен, которые обычно распевались при вечернем возвращении бригады в лагерь: *«А в тот вечер мы не пели. Моросил мелкий дождь, но мы его не замечали, даже усталость и голод не казались такими уж чувствительными. И наше молчание звучало таким торжеством, как самая радостная, самая торжествующая песня!»*

Воспоминания Леонида Котляра — это книга о том, как в самом последнем пленяге-еврее, закабаленном войной, геноцидом или другими обстоятельствами, жив и дышит маленький Давид, не боящийся ни врагов, ни борьбы.

Павел Полян

¹ См. подробнее в: Полян. Цит. соч. С. 334, 341.

ЛЕОНИД КОТЛЯР

МОЯ СОЛДАТСКАЯ СУДЬБА

Война идет уже скоро три года, а представления, какая она на самом деле и как мало на ней зависит от собственного выбора, все еще нет.

Константин Симонов. Из записок Лопатина

глава I. СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР

ЧЕГО ЖЕ Я НА САМОМ ДЕЛЕ ХОЧУ?

Я — учитель. Работу свою люблю, профессией владею и всю жизнь старался работать на совесть.

Но смолоду моей мечтой, страстной и целомудренной, был театр. Однако я не смел никому в этом признаться. А время моей юности было суровым, хотя нам оно и казалось обычным, подчас даже безоблачным. Будущее представлялось нам светлым, и мы охотно мечтали. Даже голод 1933 года не лишил нас оптимизма и советского патриотизма. А то, что любого из нас, десятиклассников или девятиклассников, могли вызвать в райком комсомола и предложить на выбор одно из пяти-шести военных училищ, — это мы не считали преградой для осуществления заветной мечты, а лишь отсрочкой. Не пойти было нельзя: Родине надо, Родина требует, а ты — комсомолец, значит, должен идти. Так мы рассуждали и считали, что это правильно. Не говоря уже о тех нередких случаях, когда вызов в райком и мечта совпадали.

Лично меня чаша сия миновала, но и без вызова в райком осуществление заветной мечты оказалось невозможным после окончания школы: весной 1939 года, когда до экзаменов не оставалось и месяца, на сессии Верховного Совета СССР выступил К.Е. Ворошилов с докладом о новом законе, касаю-

щемся Вооруженных Сил страны, согласно которому лица со средним образованием призывались в армию по достижении 18 лет¹. Так что меня в 1940-м ожидала армия.

А накануне этого выступления или дня за два до него кто-то постучался в дверь нашего класса на предпоследнем уроке и попросил учителя отпустить меня по просьбе комсорга школы Николая Никифоровича Овчаренко. В кабинете комсорга уже собрался почти весь комитет комсомола нашей 91-й средней школы — человек пять старшеклассников. Здесь же находилась женщина средних лет — корреспондент центральной украинской газеты «Коммунист». Журналистка предложила нам разговор о Красной Армии, о том, что она для нас значит и как мы ее воспринимали с самого детства, когда оказывались рядом или в обществе с ее бойцами и командирами.

Рассказы последовали самые разные. Я, например, рассказал, как летом совсем недалеко от нашего дома командир оставил красноармейцев, шедших в строю, близ тротуара, как красноармейцы пили воду из бочки на колесах, которую везла позади строя пара лошадей, как мне вдруг тоже захотелось попить воды из этой бочки и я набрался храбрости попросить об этом. Кто-то из бойцов нацедил мне в свою кружку из краника немного воды. Вода оказалась теплой и потому невкусной, но я выпил всю и поблагодарил и все-таки спросил, почему вода теплая. И еще рассказал, как в День Красной Армии учительница водила нас на экскурсию в артиллерийское училище. И еще о том, что нас принимал в пионеры командарм Эйдеман². И как

¹ Разыскать этот номер не удалось.

² Эйдеман Роберт Петрович (1895—1937) — советский военачальник, комкор (1935), участник Первой мировой и Гражданской войн, руководитель карательных экспедиций в тылу Красной Армии. В 1921—1924 командовал различными военными округами, в 1925—1932 начальник и комиссар Военной академии имени Фрунзе. В 1932—1934 член Реввоенсовета СССР, в 1932—1937 председатель Центрального совета Осоавиахима — Общества содействия армии, авиации и химическим войскам. Арестован 22.5.1937 во время работы Московской партийной конференции и 11.6.1937 приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1957. Об Осоавиахиме и приеме Л. Котляра в пионеры подробнее см. в главке «Дети мансарды».

весной 1935 года я видел возвращавшиеся с маневров (так назывались военные учения) по бульвару Шевченко войска Красной Армии, когда командарм Тухачевский показывал заграничным генералам высадку нигде доселе невиданного (5000 бойцов) авиадесанта, как видел совсем близко маршалов Ворошилова, Буденного и иностранных генералов: японских, немецких, польских, французских и др. Своими впечатлениями делились и мои товарищи. По окончании беседы мы вышли на школьное крыльцо, где фотокор той же газеты рассадил нас на ступеньках и сфотографировал.

И все-таки мы были ошеломлены, когда на следующий день после выступления Ворошилова в Верховном Совете в школу принесли газету (редакция газеты «Коммунист» находилась в десяти минутах ходьбы). На первой полосе, почти под самым заголовком газеты, крупным планом было помещено наше фото на школьном крыльце и пространная корреспонденция о том, как нас обрадовал новый закон о призыве в Красную Армию.

Обо мне было сказано, как я с детства любил шагать по улице в ногу с идущими в строю красноармейцами и петь вместе с ними строевую песню и как давно мечтаю стать артиллеристом. Нечто подобное сообщалось и о других участниках нашей недавней беседы. Корреспондент повествовала о нашей безмерной радости в связи с тем, что совсем скоро мы будем служить Родине в рядах Красной Армии.

Я был потрясен, но не смыслом написанного, а тем, как свободно и бесцеремонно, с каким полетом фантазии и вольным обращением с фактами излагалась наша беседа; поражала напыщенность фраз по поводу нашего восторженного одобрения доклада (в тот день мы еще ничего о нем не знали) маршала Ворошилова, которое, по мнению журналистки, явилось лишь малой частью восторженного одобрения нового закона советским народом.

Моя романтическая и наивная душа пережила низвержение еще одного «нимба» — журналистско-корреспондентского: и они, оказывается, тоже всего-навсего люди-человеки!

Тем не менее день 17 мая 1940 года я считал самым счастливым в своей жизни. К школьным экзаменам я готовиться не собирался, так как срезаться не боялся, а оценки меня не интересовали. Впереди, до призыва в армию, было несколько месяцев вольготного житья.

Безмятежное лето 1940 года, последнее безмятежное лето моей жизни! Для меня, городского жителя, оно было удивительно хорошим: все лето я работал воспитателем в детском противотуберкулезном санатории в Будаёвке, под Киевом. Работы этой я не искал — она сама меня нашла по окончании 9-го класса летом 1939 года, когда я получил в детской районной поликлинике путевку в этот санаторий ввиду наследственной склонности к заболеванию туберкулезом и в связи с ухудшившимся состоянием здоровья. В санаторий принимали и старшеклассников, поскольку для них подобных учреждений не было. Когда срок моего лечения (один месяц) подходил к концу, главврач санатория предложил мне работу воспитателя в группе 11—12-летних детей. Это место воспитателя сохранилось за мной и на следующий год. Чтобы ускорить мое возвращение на работу в санаторий в конце мая 1940 года, директор 91-й школы по собственной инициативе освободил меня от выпускных экзаменов.

А с 1 сентября 1940 года я начал работать старшим пионервожатым в своей 91-й школе. Директор — Василий Семенович Приймачок — сказал: «Будешь работать, пока не заберут в армию».

Призыв состоялся лишь 8 декабря 1940 года. К тому времени большинство моих одноклассников уже были в армии.

11 декабря эшелон, в котором я в числе других призывников уезжал из Киева, прибыл в Ригу, ставшую столицей вновь образованной Латвийской ССР, а дней через 10—12 я уже был курсантом учебной батареи артиллерийского полка (в/ч 2268), из которой после года обучения предполагалось выпустить нас, всех курсантов с высшим и средним образованием, младшими лейтенантами артиллерии. Я был

определен во взвод управления батареи старшим телефонистом (взвод управлял не батареей, а ее артогнем).

В конце января 1941 года полк был передислоцирован в район города Паневежис (Литва) и располагался в так называемых финских домиках (что-то вроде фанерных палаток) в бывшем имении какого-то помещика. И только наша батарея жила в огромном одноэтажном помещичьем доме; спали на двухэтажных нарах. Помещение отапливалось печами, и температура держалась на уровне $+16\dots +18^\circ$, когда на дворе опускалась и до -30° . По сравнению с бытом личного состава полка мы жили роскошно. В баню ходили по воскресеньям в Паневежис (около 8 км в один конец). Кормили в полку хорошо.

Кроме занятий по расписанию, часто, один-два раза в неделю, практиковались ночные занятия, когда нас поднимали по тревоге. За 45 секунд надо было встать в строй в полном боевом снаряжении. Мы никогда не знали, была ли тревога учебной или боевой. Догадаться о том, что тревога учебная, можно было лишь по тому, что старшина не раздавал патронов к нашим автоматам ППШ. Войны ожидали постоянно, в договор с Гитлером не верил никто. Поэтому потом я никак не мог понять, почему гитлеровское нападение оказалось вероломным или внезапным.

В конце февраля, после того как приняли присягу и отпраздновали День Красной Армии, на очередных ночных занятиях мы с катушечником тянули связь «по азимуту» и провалились под лед маленькой речушки с прогнувшегося рухнувшего под нами мостика (ночью наступила оттепель); промокли, простудились и попали в госпиталь в городе Шауляй, я — с воспалением легких.

Вслед за пневмонией, от которой врачи избавили меня сравнительно быстро и легко, последовало воспаление среднего уха. Несколько дней я находился между жизнью и смертью, и только благодаря стараниям и заботе медперсонала болезнь отступила. В начале апреля, когда я чуть-чуть откор-

мился и окреп, состоялась медицинская комиссия. Полковник (начальник госпиталя), возглавлявший комиссию, перед которой я предстал худой и обнаженный, первым делом приказал мне стать на весы. Когда мединструктор объявил результат взвешивания, равный 38 килограммам, полковник ему не поверил. Но весы не ввали.

Выписали меня из госпиталя в конце апреля. Несколько дней я потратил на поиски моей воинской части (в Паневежисе ее уже не было). Военная часть 2268 была расформирована — полк был учебным. А моя батарея вошла в состав 1-го дивизиона вновь образованного артиллерийского полка — в/ч 9915, на вооружении которого были новейшие пушки калибра 152 мм и пушки-гаубицы 122-миллиметрового калибра на мощных тракторах-тягачах, в кузове которых свободно размещался расчет орудия. Правда, заводить эти тягачи умел лишь один младший лейтенант (помпотех¹ командира дивизиона). Командовал первым дивизионом капитан (повысили в звании) Скорик. А дислоцировался полк в Елгаве (Латвия). Товарищи встретили меня приветливо.

11 мая 1941 года канцелярия полка получила выписку из приказа медкомиссии Рижского военного округа о моей демобилизации в запас 2-й категории — годен к нестроевой службе в военное время по состоянию здоровья. Диагноз — фиброочаговый туберкулез легких. Справку, все это подтверждающую, мне выдали вместе с чемоданчиком, в котором лежала моя гражданская одежда и обувь.

В шауляйском госпитале я получил из дома письмо и посылку со всякими лакомствами и домашним печеньем. Так что мое возвращение в Киев не было для моей семьи полной неожиданностью.

12 мая, получив проездные документы и сухой паек на дорогу, я уезжал с рижского вокзала домой. Ехал с пересадками в Идрице и Полоцке и 18 мая приехал домой. До начала войны оставался всего один месяц и три дня.

¹ Помпотех — помощник по технической части.

А 20 мая я уже работал в Будаёвке, в том же детском санатории, что и прошлым летом. Месяц работы в противотуберкулезном санатории, сосновый лес сделали свое дело: я окреп и чувствовал себя вполне здоровым. Работа в санатории ладилась. Даже учения ПВО в Киеве и области, начавшиеся в конце мая и активизировавшиеся в июне, учебные тревоги, выключения электричества, отчасти нарушавшие рабочий ритм санатория, меня не раздражали, не выбивали из колеи и не портили настроения.

Ночь на 22 июня застала меня рядом с санаторием в домике для ночлега воспитателей. На соседних двух койках спали Михаил Николаевич Круглов (завед санатория и мой непосредственный начальник) и Юра Данилов — воспитатель старшей группы. Нам с Юрой с утра предстоял выход на смену, а Михаил Николаевич, допоздна задержавшись на работе, не ушел домой в Боярку за 4 километра отсюда. Ранним утром я проснулся от тревожных возгласов вышедших из соседнего домика двух сестер — воспитательниц младших групп. Оказалось, что они только что видели в небе над собой два самолета с крестами по бокам и на крыльях. Они поняли, что самолеты эти — немецкие. А я подумал: почему кресты, а не свастики, если самолеты фашистские? И никак не мог поверить, что война уже началась.

24 июня у меня был выходной, и я уехал домой, а 25-го мне надо было быть на работе во второй половине дня. Я вышел из дому пораньше.

Не успел я дойти до лестничной клетки, как завывали сирены воздушной тревоги, и пока я спускался вниз, наше просторное парадное заполнилось людьми, укрывшимися здесь от бомбежки.

Я вышел из парадного и, стоя на крыльце среди таких же любопытных, увидел справа от себя на высоте примерно пятисот метров эскадрилью немецких бомбардировщиков «юнкерсов» с крестами на фюзеляже и на крыльях. Они шли над площадью вдоль трамвайной колеи с севера на юг в сопровождении частых разрывов зенитных снарядов и казались за-

колдованными, потому что ни один снаряд не поражал цели. Один из самолетов покинул строй и со страшным воем спикировал в сторону Святошина. Через минуту в районе завода «Большевик» и 43-го авиазавода раздались взрывы, и оттуда повалил густой черный дым. Эскадрилья без потерь уходила в сторону Днепра бомбить мосты. Зенитки продолжали обстрел. Спикировавший бомбардировщик догонял эскадрилью.

Я направился на вокзал, до которого от нашего дома было минут пятнадцать ходьбы. Накануне я зашел в военкомат и справился о том, когда меня призовут. Было приказано ждать повестки. Поэтому в Боярку я уезжал со спокойной совестью.

Родители постепенно (не очень интенсивно) стали забирать детей из санатория. Официально санаторий был закрыт после выступления Сталина по радио 3 июля.

Сталин, обвинивший Гитлера в вероломном нападении, призвал советских граждан в случае вынужденного отхода советских войск уходить вместе с ними, сжигая за собой и села, и посева, оставляя врагу выжженную землю. В заключение было сказано: «Враг будет разбит, победа будет за нами!»

5 июля мы получили расчет в закрывшемся санатории, и я распростился с товарищами по работе. В этот день Михаил Николаевич сообщил мне об огромных потерях, об уничтоженных немцами с воздуха на аэродромах самолетах, исчислявшихся тысячами, и другого вооружения — главным образом, танков — в первые сутки войны. Пресса подобной информации не давала, но у Круглова были свои источники, и я ему поверил. Еще он сказал, что немцы уже заняли всю Белоруссию, движутся на Смоленск. Об оставленных городах и селах на Украине сообщали газеты и радио.

Я понял, что идет большая война, сроки, потери и исход которой трудно представить и предугадать. Теперь, когда я читаю почтовую открытку¹, отправленную 5 июля своей ровеснице и

¹ Открытка и ее текст см. вкладку. В этой открытке буквы М. Н. означают: Михаил Николаевич.

приятельнице Белле Каплунович, я вижу, что даже такие ужасные новости не нарушили тогда ни моего оптимизма, ни душевного равновесия. Я опустил открытку в почтовый ящик, после того как никто не открыл мне дверь по адресу Красноармейская, 18, квартира 5, — адресу, по которому я потом жил с 1947 по 1974 год вместе с Беллой, ставшей после войны моей женой.

В начале июля 1941 года был призван в армию мой отец, а затем из Киева увезли всех мальчишек 1924 и 1925 годов рождения. Мы с нашей тетей Таней и сестренкой Цилей провожали моего брата Рому, который окончил 9 классов, на сборном пункте ФЗУ¹ рядом с нашим домом. Было жарко, и я скатал в скатку, как шинель, недавно купленное Роме синее демисезонное пальто, которое он брал с собой в дорогу. Неожиданно Рома разрыдался и сказал, что мы больше не увидимся. Так оно и случилось.

Поскольку я числился в запасе 2-й категории, на войну меня взяли не сразу, а лишь 11 июля, когда немцы оказались на самых подступах к Киеву. Небольшой командой, сформированной в Сталинском райвоенкомате Киева, мы ступили перед закатом солнца на возведенный тогда рядом с Цепным мостом временный деревянный мост («Наводницкий»), перешли на левый берег Днепра и заночевали под соснами в Дарнице. В пешем строю, в гражданской одежде двигались мы на восток, провожаемые и недобрыми взглядами, и добродушно-насмешливыми вопросами о причинах нашего продвижения в противоположную от фронта сторону. Мы отшучивались, как могли. Совесть наша было спокойна, как у любого солдата, который выполняет приказ.

Так мы достигли станции Яготин, где нашу команду погрузили на открытую платформу в товарном составе, и вскоре мы оказались в Мариуполе, «у самого синего моря», в бывшем Осоавиахимовском² лагере, где всю ночь и начало следующего дня прятались от проливного дождя под навесом лагерной столо-

¹ Фабрично-заводском училище.

² В таких лагерях проходили переподготовку уволенные в запас граждане, подлежавшие призыву в армию в случае войны.

вой, на врытых в землю столах и скамьях и под ними. Утром дождь кончился, а мы узнали, что отсюда почти ежедневно отправляются на фронт маршевые батальоны.

В лагере, рассчитанном на пять-шесть тысяч человек, нас оказалось около ста тысяч. Пропускная возможность столовой была так мала, что вся эта масса народу кормилась в несколько очередей, так что завтрак длился до самого обеда, а обед — до ужина. В перерывах мы лежали и сидели на траве, там же и ночевали. А когда приезжали с фронта представители боевых частей и соединений за пополнением (мы их называли «покупатели»), нас строили в шеренгу. Каждый ВУС (военно-учетная специальность) имел свой номер; надо было становиться в строй, когда называют твой ВУС¹. Подтверждающих документов не требовалось, так как паспорта у нас уже отобрали, а красноармейских книжек еще не выдали. Каждый раз, когда называли мой ВУС (№ 50 — связисты артиллерии), я становился в строй. И каждый раз меня отставляли, когда я предъявлял свою справку. Мне стало ясно, что если я в самом деле хочу оказаться на фронте, то о справке, выданной в артиллерийском полку № 9915 при увольнении в запас 2-й категории, надо забыть.

Впервые за время войны мне не спалось всю ночь: надо было решать, чего же я на самом деле хочу. Надо мной простиралось густо усеянное звездами южное небо, в котором вспыхивали изредка зарницы печей «Азовстали». Чего только не делают с 19-летним человеком далекие звезды в темную ночь! Они смотрят на тебя из бездонной глубины в самую душу, смотрят глазами друзей-киевлян, обретенных по дороге из военкомата в запасной мариупольский полк: глазами Николая Лабезного и Жени Перепелицы, с которыми ты сегодня распрощался и которые ушли в сопровождении «покупателей» на фронт. Этой ночью произошло то, чего раньше со мной никогда не бывало. Я заглянул себе в душу, как

¹ Военно-учетная специальность.

заглядывают в глубокий колодец, и понял: выходит, я кривил душой, когда предъявлял свою справку. В строй всегда становилось больше народу, чем требовалось, и если кто-то чувствовал себя морально неготовым к отправке на фронт, он мог не становиться и спокойно ожидать следующего раза. Никто никого не подгонял и не заставлял. Конечно, меня в мои 19 лет как-то оправдывало желание, чтоб окружающие оценили тот факт, что я ухожу на фронт добровольно, несмотря на имеющуюся у меня справку (потому-то я ее и предъявлял).

В ту ночь я порвал свою справку на мелкие кусочки, а через десяток дней был уже на фронте. Потом много раз видел смерть, смотрел ей прямо в глаза, но ни разу не пожалел о порванной справке, даже когда попал в плен.

ПЛЕН

Известно ли вам, как попадают в плен? Не сдаются, а оказываются в плену?

Все мы крепко помнили слова политработников о последней пуле. Все мы твердо знали: в плен попадают только предатели и изменники Родины — боец должен сражаться до последней возможности, до последней гранаты или патрона, а последнюю пулю беречь для себя.

Но никто из нас, четырнадцати человек, оставшихся в живых 9 сентября на командном пункте 1-го батальона 756-го стрелкового полка, этой последней пулей не воспользовался. И никто из нас не чувствовал своей вины в том, что оказался в плену. Отступить мы не могли, потому что батальон получил приказ прикрывать отступление полка и дивизии. (Замечу в скобках, что тогда я, конечно, не мог знать, успели отступить 756-й стрелковый полк и вся 150-я дивизия; не знал я об этом и после окончания войны. И только много лет спустя узнал о судьбе полка, отступление которого мы тогда прикрывали. Но об этом — после.) И весь день 9 сентября 1941 года мы, вооруженные главным образом винтовками и гранатами, держались, сколько могли, в голой приднепров-

ской степи левобережья, километрах в сорока от Каховки. Еще ночью нас слева и справа обошли немцы, а мы все еще держались, когда немцы на машинах и в пешем строю двигались по степи в обход наших подразделений. Затем они накрыли горсточку нашей обороны сильным артиллерийским огнем, какого мы до сего момента на себе еще не испытывали. И все было кончено.

Когда наступила внезапная тишина, перестали рваться мины и сыпаться на голову земля, я приподнял голову и огляделся. Я увидел командира батальона и нескольких наших связистов с поднятыми руками и немцев с автоматами вокруг. Я еще, возможно, успел бы бросить гранату, но тогда они расстреляли бы всех, кто стоял с поднятыми руками, а затем и остальных. На такой шаг я не отважился и тоже встал, опираясь на винтовку, потому что был слегка контужен, и тоже поднял руки.

Всех нас, попавших в плен, посадили плотной группой рядом с окопами на краю огромной воронки от артиллерийского снаряда. А на противоположном краю воронки встали караулившие нас немцы: один с ручным пулеметом, другой — с автоматом. Немцы запретили нам двигаться и разговаривать. По сей день помню лицо немца с автоматом. Своей красно-рыжей щетиной неделю не бритой бороды он, как родной брат, был похож на сидевшего среди нас одессита сержанта Бейкельмана. Мне трудно передать, что я чувствовал, глядя на карауливших нас немцев. Видимо, чувства мои не отличались от того, что испытывает приговоренный к смерти, зная, что до расстрела ему остались, быть может, считанные минуты. Сердце мое сжималось при мысли, что до рассвета меня уже не будет.

Сидевший рядом со мной в воронке командир отделения сержант Бевз заговорил едва слышно, почти не разжимая губ:

— Леня, ты не признавайся. Тебя никто не выдаст.

Я чуть заметно кивнул. В груди у меня шевельнулась надежда. Быстро и незаметно я достал из кармана гимнастерки

красноармейскую книжку и аттестат зрелости, изорвал их на мелкие части и зарыл в рыхлую землю воронки прямо у себя под ногами. Благо, движения моих рук скрывала фигура пленного, сидевшего впереди меня. Потом я вспомнил о черной пластмассовой капсуле-медальоне в маленьком переднем кармашке брюк, в которой хранился свернутый в тоненькую трубочку листик бумаги с моей фамилией, именем, отчеством, национальностью... Уничтожив медальон и зарыв его остатки, я стал вместе со всеми ждать дальнейших событий.

Если бы кто-то из нас захотел исправить свою ошибку — не воспользовался последней пулей! — то возможностей для этого было предостаточно. Можно было очень легко получить пулю — да что пулю, целую автоматную очередь — от немца в любой момент. Этого добра немцы для нас не жалели. Они пристреливали каждого, кто не мог идти дальше, когда гнали нас, голодных, мучимых жаждой, раненых, выбившихся из сил, по пыльным, безводным херсонским степям; стреляли в любого, кто пытался взять кусок хлеба, картофелину или кукурузный початок из рук женщин, появлявшихся у обочины дороги; в каждого, кого заподозрят в попытке сбежать, или кто откажется выполнить команду конвоира. Но никто не спешил умирать, умирать просто так, когда от твоей смерти ни для кого и ни для чего уже не могло быть никакой пользы. И я не хотел умирать, хотя у меня, сверх перечисленных, была еще одна дополнительная возможность получить пулю от немца: сделать два шага вперед из строя по команде «жиды — выходи!»...

Я еще не знал тогда, что нам предстоят мучительные и беспросветные дни изнурительных переходов через Берислав и Каховку, через Николаев, по понтонному мосту через Буг в село Варваровку, где начинал свое существование Николаевский лагерь для военнопленных. Не помню, сколько было промежуточных (этапных) лагерей между Бериславом и Николаевом, но хорошо помню, как в каждом из них по утрам неизменно раздавалась команда: «Жиды — выходи!»

Коммунисты — выходи!» И всякий раз не было случая, чтобы не отыскалась хоть одна жертва: кто-нибудь кого-нибудь обязательно выдавал немцам.

А впервые я услышал эту команду под вечер 9 сентября, когда нас, собранных со всего участка фронта, построили в километре от той самой воронки.

«ЖИДЫ — ВЫХОДИ!»

По дороге туда немцы не мешали нам общаться. Я шагал рядом со своим другом Ильей (фамилии его никак не вспомню), сержантом, который уже успел выйти из госпиталя после ранения, полученного в первый день войны, и оказавшимся в запасном полку, а затем вместе со мной — в маршевом батальоне. Там, на краю воронки, еще три человека получили заверения в том, что их никто не выдаст: командир взвода коммунист старшина Давыденко и два сержанта-еврея, командиры отделений, — Илья и Бейкельман. Мы с Ильей, увидев, что приближаемся к месту построения большой группы военнопленных, решили «потерять» друг друга из виду, ясно понимая, как мало у нас шансов скрыть свою национальность, даже если мы не будем вместе; в противном случае для нас эти шансы сводились к нулю.

Неизвестно откуда взявшийся переводчик подал команду строиться в две шеренги, а на проселочной дороге остановился открытый легковой автомобиль. Перед строем, не выходя из машины, стоял немецкий офицер. Тогда я еще не умел различать по погонам их звания. Немец заговорил по-русски, безуспешно пытаясь правильно произносить слова, смысл которых сводился к тому, что отныне все мы должны честно служить «Великой Германии». По окончании его речи сразу же прозвучала команда: «Жиды и коммунисты — два шага вперед!» Из строя вышли не более шести-семи человек, в том числе и Бейкельман, хотя ему тоже обещали, что его никто не выдаст. Вышедших отвели в сторону.

При построении я постарался оказаться во второй шеренге. И вдруг увидел знакомого солдата из нашего батальона. Я знал

про него только то, что он из Донбасса. Мы встретились с ним глазами, и я понял, что сейчас он меня выдаст. Он уже и воздухом вдохнул, чтобы сделать это. Но тут стоящий рядом Бевз толкнул его локтем в бок и что-то ему шепнул. Донбассец осекся. Больше он не предпринимал попыток выдать меня, а я старался больше не попадаться ему на глаза.

На противоположном фланге что-то произошло, и перед строем оказался Илья. Его подвели к вышедшему из машины немецкому офицеру, они объяснились, и Илью вернули в строй. Больше я его никогда не видел, дальнейшая его судьба мне неизвестна.

Как-то под вечер, на одном из этапов нашего следования в Николаев наш конвой придумал остроумный способ выявить затаившихся евреев: из строя стали вызывать и собирать в отдельные группы людей по национальностям. Начали, как всегда, с евреев, но никто не вышел и никого не выдали. Затем по команде выходили и строились в группы русские, украинцы, татары, белорусы, грузины и т.д. В этой сортировке я почувствовал для себя особую опасность. Строй пленных быстро таял, превращаясь в отдельные группы и группки. В иных оказывалось всего по пять-шесть человек. Я не рискнул выйти из строя ни когда вызывали русских и украинцев, ни, тем более, — татар или армян. Стоило кому-нибудь из них усомниться в моей принадлежности к его национальности — и доказывать обратное будет очень трудно.

Я лихорадочно искал единственно правильный выход. Когда времени у меня почти уже не осталось, я вспомнил, как однажды в минометной роте, куда я ежедневно наведывался как связист штаба батальона, меня спросили о моей национальности. Я предложил им самим угадать. Никто не угадал, но среди прочих было произнесено слово «цыган». За это слово я и ухватился, как за соломинку, когда операция подошла к концу, и нас осталось только два человека. Иссяк

и список национальностей в руках у переводчика, который немедленно обратился к стоящему рядом со мной смуглому человеку с грустными, навывкате глазами и огромным носом:

— А ты какой национальности?

— Юда! — нетерпеливо выкрикнул кто-то из любителей пошутить.

Кто-то засмеялся, слышались еще голоса: «юда! юда!», но тут же все смолкло, потому что крикуны получили палкой по голове за нарушение порядка. В наступившей мертвой тишине прозвучал тихий ответ:

— Ми — мариупольски грэк.

Последовал короткий взрыв смеха.

Не дожидаясь приглашения, я сказал, что моя мать украинка, а отец — цыган. И тотчас последовал ответ немца, выслушавшего переводчика:

— Нах дер мутер! Украйнер!

— Украинец! — перевел переводчик.

Приговор был окончательным, и я был определен в ряды украинцев. Теперь любой, кому пришла бы в голову фантазия что-либо возразить по этому поводу, рисковал схлопотать палкой по голове. Немцы возражений не терпели.

Приказано было всем разойтись. На поляне сгущались сумерки. Я понял, что нуждаюсь в биографии, максимально неопровержимой во всех подробностях, и часть ночи потратил на сочинение своей биографии-легенды, ибо «враг силен и коварен» (из речи Сталина по радио 3 июля 1941 года), а мне не хотелось умирать только потому, что я еврей. Я считал это несправедливым, хотя и не ждал справедливости от немцев и помнил, что любой из нас, оказавшихся в плену, имеет ничтожное количество шансов оказаться на свободе или дожить до конца войны, даже прожить хоть сколько-нибудь продолжительный срок. Но быть расстрелянным только за то, что ты еврей, — нет! Такого решения душа не принимала.

Пока немцы гнали нас до Николаева, мне пришлось отразить еще несколько попыток разоблачить во мне еврея. То пристал ко мне на одном из этапов горбоносый и черноусый человек лет тридцати семи:

— Шо ж ты нэ признаеся, шо ты еврей? А ну, скажи «кукуруза»!

От него я отделался сравнительно легко: обматерил его с ног до головы и посоветовал хорошенько посмотретья в зеркало, прежде чем приставать к другим. И он отвязался, благо, никто его не поддержал.

В другой раз, шагая в колонне, где было уже около пяти тысяч человек, я не заметил, как оказался у края дороги, проходившей вдоль выжженной степной травы. Мы поравнялись с расположившимися в степи полевыми ремонтными мастерскими. Небольшая группа танкистов СС в ожидании своей ремонтировавшейся техники обратила внимание на идущую мимо колонну военнопленных: защелкали фотоаппараты, раздались оживленные возгласы. А один из них, пьяный в дым, ухватил меня за рукав. Дуло его пистолета в упор смотрело мне в глаза, а губы повторяли один вопрос:

— Юда?!

Я отвечал отрицательно, эсэсовец стоял на своем. Я резко рванулся и зашагал дальше, ожидая выстрела в спину. Когда я понял, что и на этот раз пронесло, то невольно подумал о том, сколько же еще предстоит мне объяснений на грани жизни и смерти. И не лучше ли в одно прекрасное утро сделать два шага вперед по команде «жиды — выходи!» навстречу тому, чего все равно не избежать? Но я, в который уже раз, прогнал от себя эту мысль.

Я не верил в судьбу. Много раз слышал, как другие говорят: судьба — не судьба... суждено было... Сколько раз, когда кончался день, в последние минуты бодрствования я искренне удивлялся: как же это я все еще жив? не погиб сегодня? Должен был погибнуть, но почему-то остался, живу.

До Николаева немцы гнали нас целую неделю. За все это время нам ни разу не дали ничего поесть, даже символически. Чем мы кормились? Ягодами паслена, кукурузным початком, случайно найденным у дороги... Однажды прямо у нас под ногами оказались подсолнечные жмыхи, которые на Украине называют макухой. Это было на одном из разбитых полустанков недалеко от Николаева, почти у самых рельсов. Впервые мне случалось утолять голод макухой еще в 33-м году. Мы на ходу стали набивать кусками макухи карманы и вещмешки. Я умудрился набрать довольно много макухи, оказавшейся почти единственной едой для меня и моих товарищей в лагере.

ЛАГЕРЬ

Первоначально лагерь военнопленных, где нас было около двадцати тысяч, располагался в селе Варваровка. Затем он был перенесен в Николаев, на территорию, примыкавшую к кораблестроительному заводу, взорванному нашими при отступлении. Около двух десятков аккуратненьких белых двухэтажных домиков, где еще совсем недавно жили работники завода, и расположенный поблизости стадион были обнесены тремя рядами колючей проволоки.

В сооружении этой ограды принимал участие и я. Нас приводили на эти работы из Варваровки. В первый раз мы не знали, зачем натягиваем колючую проволоку на высокие, врытые в землю столбы. Затем поползли слухи, что все это мы городим для себя. На меня эта работа нагоняла беспросветную тоску.

Случилось так, что я участвовал в завершении этих работ. До окончания рабочего дня оставалось еще два часа, а нашим конвоирам не разрешалось приводить нас в лагерь раньше положенного времени. Стали искать для нас дополнительную работу. Кто-то из них обратил внимание на деревянную будку, похожую на киоск и заколоченную гвоздями. Приказано было разобрать ее на части и унести. В будке мы обнаружили разные вещи, видимо, принадлежавшие заводской охране: фуражки с

лакированными козырьками, тряпки, два-три ведра, шапки-кубанки. Все это, кроме ведер, мы немедленно расхватали. Я успел взять кубанку (фуражка меня никак не устраивала).

Запомнилось мне еще, как сержант, командовавший конвоем, приказал мне почистить ему сапоги. Он дал мне две щетки и одну маленькую, для гуталина, и стал подробно объяснять, что делать с этими принадлежностями и в каком порядке, полагая, видимо, что я никогда не чистил обуви и впервые держу в руках сапожные щетки. А я вдруг подумал о том, что меня ожидает, если немцы победят, а я не погибну.

Сержанту понравилась моя работа. Он воскликнул: «Гут! Прима!» — и дал мне сигарету.

Через несколько дней произошло переселение в новый лагерь. Очень скоро в нем уже насчитывалось около тридцати тысяч человек. Наше существование здесь было тяжелым, но, как выяснилось впоследствии, — более сносным, чем в других подобных лагерях, хотя бы уже потому, что мы жили не под открытым небом, а в двухэтажных домиках в осеннюю непогоду. Из чего немцы готовили для нас баланду, я так толком и не мог понять. Ее можно было пить прямо из котелка или из консервной банки, ложка была ни к чему. Каждый вечер начинался с раздачи баланды (единственный раз в сутки), а утром нас строили на стадионе в тридцать колонн по тысяче человек в каждой, по пять человек в шеренге. От нас требовалось немного: быстро разобраться по пятеркам (немцы ходили вдоль колонн с палками и выкрикивали: «по пят! по пят!»). Нерасторопные получали палкой по голове. Мы должны были, соблюдая равнение, простоять в строю, пока нас посчитают и отправят на работу нужное количество людей.

Нежелающий попасть на работу старался угодить при построении в конец колонны. Сама по себе работа, да еще на немцев, никого не привлекала. Тем не менее в желающих работать недостатка не было: на работу гнал голод. За

пределами лагеря многократно возрастала возможность добыть пищу. Возможность эта еще больше увеличивалась, если ты попадал в немногочисленную команду — человек до десяти-двенадцати. Это и заставляло пленягу поторапливаться утром на стадион, чтобы оказаться в первых шеренгах тысячной колонны. Немцам же было безразлично, кто из нас будет или не будет работать: на всех работы все равно не хватало. Немцам было важно одно: беспрекословное повиновение стоявших в колоннах людей.

Уже на третью неделю существования Николаевского лагеря в нем ежедневно умирало более полутора человека. Вши ели нас поедом, и не было никакой возможности избавиться от них. Даже умыться в лагере можно было лишь в единственном месте, где из какой-то беспризорной трубы еле текла водичка. Но и желающих умыться было немного.

Для довершения общей картины следует описать единственное «развлечение», придуманное для нас начальством и регулярно повторявшееся утром и вечером. Каким-то образом в лагере обнаружили одного коммуниста и одного еврея. Обнаруженных «жидо-коммунистов» изолировали, прикрепили к ним конвоиров и дважды в день на виду у всех прогоняли бегом по верхнему краю чаши стадиона. Коммунист был плотный человек, лет сорока, в матросском бушлате с нарисованными мелом на спине и груди пятиконечными звездами. Еврей был ростом поменьше, в солдатской шинели и пилотке, в ботинках с обмотками и нарисованными на спине и груди звездами шестиконечными. Он с трудом поспевал за своим рослым напарником. А среди тридцати тысяч загнанных в ад за колючую проволоку находились такие, кто хохотал и улюлюкал им вслед, выкрикивая обидные, оскорбительные слова.

Работа для нас находилась и внутри лагеря: что-то переносить, копать и т.п. Однажды я попал в такую команду: надо было пилить, колоть и складывать на зиму дрова. Командовал нами немец-конвоир лет шестидесяти, седой, с голубы-

ми глазами, вооруженный винтовкой. Когда наступило время перекура, немец отозвал меня в сторону, увел за сарай, в который мы складывали дрова, и спросил по-русски:

— Ты еврей?

— Нет, — отвечал я.

— Не бойся, я тебя не выдам, — сказал немец, но я и не думал признаваться.

— Все равно, ты очень похож на еврея! — и велел подождать его за сараем.

Через несколько минут он вернулся со всем необходимым для бритья (даже принес горячей воды) и с ножницами. Он наскоро остриг мои курчавые волосы, успевшие весьма основательно отрасти, а затем я побрился и умылся. Из небольшого зеркала на меня смотрел мало знакомый мне человек, молодой, в кубанке с лихо выпущенным из-под нее чубчиком и с усиками (я решил не сбривать усов).

— Вот так лучше, — сказал немец.

Пока я брился, он рассказал, что попал к нам в плен во время прошлой войны, что видел от наших людей много добра по отношению к себе и другим пленным, научился говорить по-русски и хочет отплатить добром за добро.

После «парикмахерской» узнать во мне еврея стало уже значительно трудней, и я почувствовал себя намного уверенней. Дней через пять эта уверенность мне очень пригодилась.

МАЛЕНЬКИЙ КРАСНЫЙ ЛОСКУТОК ПЛОТНОЙ БУМАГИ

К тому времени со мной в лагере уже не было никого из моих фронтовых товарищей, с кем я доедал в Варваровке макуху. Еще из Варваровки были отпущены домой жители ближайших районов и областей (Херсон, Николаев, Одесса), другие (в основном, из России) попали в команды, отправленные в колхозы убирать еще оставшийся в поле урожай.

Была уже середина октября, на меня не раз накатывали волны отчаяния, и я терял веру, что наступят светлые времена хоть когда-нибудь, хоть для кого-нибудь. А крыло смерти распростерлось надо мной весьма неожиданно и быстро: у меня начался жестокий понос и повысилась температура. Меня перевели в барак для больных (для нас эти двухэтажные домики были все равно что бараки), которых никто не лечил и не кормил, но и не выгонял на работу. Сбегав в очередной раз в сортир, я остановился под стеной домика погреться на солнышке, потому что меня знобило. Я корчился от боли в животе, когда мимо проходил молодой унтер-офицер из лагерной администрации (судя по его очкам и обмундированию). Он видел мои страдания и очень скоро возвратился с пригоршней мелких коричневых гранул, высыпал их мне в карман шинели и, посоветовав жевать их понемногу, как жвачку, быстро удалился. Конечно, того, что он сделал, никто не должен был видеть. До конца дня я съел гранулы, и понос у меня прекратился.

На следующий день я стал в строй подальше от головы колонны, потому что ослабел и не мог работать. И тут услышал за своей спиной весьма любопытный разговор. Говорили негромко, однако я сумел понять, что будто бы по средам возле домика или сарая, крыша которого виднелась над чашей стадиона, собираются украинцы, жители правобережной Украины, подвергаются какой-то проверке, или допросу, и в результате могут быть отпущены домой. Услышанному трудно было поверить, а еще трудней было решиться на какие-то действия. Теперь уже никто не командует ежедневно «жиды — выходи!», меня оставили в покое. А ведь немцы просто так не отпустят, будет какая-то проверка... Но только вчера я чудом спасся от верной смерти. Сегодня — вторник, значит, завтра — среда. И следующей среды может вообще не быть. Надо было рисковать.

В среду, после построения, я стал неспеша подниматься по крутому склону чаши стадиона, ориентируясь на крышу

постройки. Строем оказалось большим сараем, возле которого немцы уже строили «по пятам» сходящихся туда пленяг. Я оказался почти в самом конце строя. За нашей шеренгой построили не более пяти-шести рядов, остальных желающих прогнали.

Только теперь, почувствовав холодок в спине, я по-настоящему оценил степень опасности, которой себя подвергаю. Но отступить было уже поздно, а времени, чтобы подготовиться к предстоящему, — предостаточно.

Нас повели к особо отгороженному домику, где помещался комендант лагеря, там нас начали по пятеркам водить в комендантскую резиденцию. Конвоиры дали нам понять, что каждый должен предстать пред светлы очи гер коменданта в наиболее выгодном свете, следует подтянуться, привести себя в порядок и выглядеть бравым солдатом, четко входить в кабинет, отдавать честь по-солдатски и т.д. К счастью, прошло совсем немного времени, с тех пор как я побрился и постригся и не узнал себя в зеркале. И это придавало мне уверенности. Шинель моя была перехвачена брезентовым брючным ремнем (кожаные немцы давно у нас отобрали), складки ее тщательно расправлены, а кубанка — чуть-чуть набекрень. Я решил непременно сыграть роль бравого солдата.

Побывавшие у коменданта возвращались в лагерь по узкому коридору из колючей проволоки, замыкавшемуся с двух концов калитками, под охраной часовых. Таким образом, пообщаться с ними мы не могли.

А время ползло улиткой. Мы стояли в строю до полудня, когда комендант отправился обедать, стояли, пока он обедал, и лишь часа через полтора после обеда я оказался у него в кабинете: поднялся по деревянным ступенькам на второй этаж, открыл дверь, вошел, закрыл за собой дверь, сделал три шага вперед, отдал честь и замер посреди комнаты.

За столом сидели два майора, и никак нельзя было определить, кто из них комендант. Справа от меня возле большой

карты Украины стоял переводчик в форме советского солдата, а слева, в углу, за небольшим столиком что-то записывал немолодой немецкий солдат. Переводчик задавал вопросы, я отвечал, он переводил.

— Скажи свою фамилию, имя и отчество.

— Котлярчук Леонтий Гаврилович.

— Год рождения и национальность?

— 1922-й, украинец.

— Где ты живешь?

— В Киеве.

— Адрес?

— Госпитальный переулок, 6, комната 11.

— Жена, дети есть?

— Нет, я неженатый.

— Родители есть? Где они живут?

— Отец умер, я жил вместе с матерью. Она медсестра, ее забрали на войну.

— Профессия?

— Я закончил среднюю школу, и меня призвали в армию

Мой ответ рассмешил немцев: у большевиков уже школьники воюют.

— Обещаешь ли ты верно служить Великой Германии?

— Обещаю.

Вот когда мне впервые пригодилась моя автобиографическая легенда!

Переводчик вручил мне маленький красный лоскуток плотной бумаги и объяснил, что с этим лоскутком в пятницу утром мне следует явиться к тому же сараю, чтобы получить аусвайс для следования к своему месту жительства, в Киев. Я отдал честь, повернулся кругом, но когда шел к двери, услышал, как один из офицеров говорит другому, что я похож на еврея. Я шел к двери, будто ничего не понимаю, и остановился, лишь когда переводчик скомандовал «стой!», четко повернулся кругом, сделал два шага к столу, отдал честь и замер с едва заметной улыбкой на лице, стара-

ясь оставаться бравым солдатом. Видимо, мне это удалось, потому что второй офицер сказал:

— Нихт вар! Аб! ¹ — и махнул рукой.

Не дожидаясь перевода, я опять отдал честь и зашагал прочь из кабинета. Неспеша спускался я по лестнице, пряча поглубже в карман гимнастерки красный лоскуток. А навстречу мне, бодро печатая шаг, поднимался очередной претендент на получение бумажки.

Позже, когда я вновь и вновь прокручивал перед своим мысленным взором сцену у коменданта, стараясь понять, почему все-таки не оборвался тот тоненький волосок, на котором повисла тогда моя жизнь, я догадался, что фразу «он выглядит, как еврей» произнес не комендант, а его заместитель. Но какому же начальнику понравится, что подчиненный учит его бдительности? И комендант отверг предположение своего заместителя. Ну, а если бы эта мысль пришла в голову коменданту, если бы ему самому показалось, что я не лишен сходства с евреем?! Тогда он не стал бы искать подтверждения своим догадкам ни у кого, а моя судьба была бы решена моментально и бесповоротно.

Не успел я выйти из проволочного коридора, как передо мной оказался какой-то татарин. Он предложил мне триста граммов отличного серого пшеничного хлеба (граммов по 150 такого хлеба иногда выдавали возвращавшимся с работы) и свой довольно потрепанный ватник в обмен на мою шинель. Чтобы исключить колебания с моей стороны, он объяснил мне, что немцы отбирают шинели у тех, кого отпускают из лагеря, а ватников не берут. Я ему поверил, сделка состоялась, и я немедленно съел доставшийся мне хлеб. Вместе с ватником я получил дополнительное количество вшей (в моей шинели вшей еще не было).

В пятницу утром, когда весь лагерь строился на стадионе, я пришел к тому же сараю, предъявил красную бумажку и был допущен в сарай, сквозь крышу которого просматрива-

¹ «Это не так. Иди!» (нем.).

лось бледно-голубое в редких облаках небо конца октября. В сарае нас оказалось в несколько раз меньше, чем было в строю в среду. Тот самый немец, невысокий и седой, что писал в кабинете у коменданта, вызывал нас из строя по фамилии и вручал аусвайс, напечатанный машинописным немецким шрифтом на плотной белой бумаге. В моем аусвайсе значилось, что Котлярчук Л. Г. следует из Николаевского лагеря военнопленных в г. Киев, и стояли две подписи, заверенные черной печатью с орлом. Затем немец обратился к нам по-русски с краткой речью, смысл которой сводился к тому, какие большие надежды возлагает на нас, украинцев, «Великая Германия», и призвал честно трудиться для Германского рейха. Потом нам выдали по буханке серого пшеничного хлеба с трехсотграммовым довеском (я вспомнил татарина) и отобрали шинели. После этого подвели к запасным воротам, внутренним и внешним, соединенным коридором из колючей проволоки, из-за которой уже тянулись сотни две рук за нашим хлебом, который я раздал почти весь, пока прошел короткий путь от внутренних до наружных ворот. Я знал, что за лагерной оградой голодным не буду, но не в силах был расстаться с довеском, который тут же съел.

Через несколько минут никого из нас уже не было у лагерных ворот.

Разумеется, я совсем не торопился в Киев, так как понимал, что являться мне туда ни в коем случае нельзя. Никакой матери в Госпитальном переулке у меня никогда не было, и вообще стоило мне встретить где-нибудь на улице случайного знакомого — и я тут же мог оказаться в гестапо. Оставшись один, я первым делом уклонился в сторону от большой дороги, по которой то и дело проносились немецкие грузовики и мотоциклы, распространяя непривычный запах высокооктанового бензина. Я не хотел привлекать к себе внимания немцев, да и прокормиться на трассе было трудней, потому что реже попадались населенные пункты. Я пошел не спеша от села к селу по степи, изрезанной балками, вдоль которых

ютились эти села. Не помню, откуда взялась у меня холщовая сумка, но при выходе из лагеря она уже была у меня на плече и в первые же часы пути быстро наполнилась едой. Я с большим трудом сдерживался, чтобы не наброситься на еду, а в первую ночь спал плохо, ворочаясь на постланной хозяйкой в сенях соломе, доставал понемногу что-нибудь из еды и жевал. В пути меня одолевали всякие тревожные мысли и вши. Раза два встречавшиеся мне немолодые мужчины интересовались моей национальностью. Я, как мог, усыплял их бдительность, хотя чувствовал, что на сто процентов сделать это не удавалось. Тем не менее меня отпускали с миром, когда я предъявлял свой аусвайс.

В одном из сел я присел отдохнуть на лавочке у ограды и без всякой видимой причины потерял сознание.

ДЕД КИРЮША

Очнулся я от шума голосов непонятной речи. Это причитали надо мной соседки-молдаванки, полагая, что я умираю. Когда я пришел в сознание, они несколько успокоились, а у калитки оказался возвратившийся откуда-то хозяин дома, человек лет около сорока, и отвел меня в дом. Затем хозяин сходил за парикмахером, приветливым парнем-горбуном, который остриг меня под машинку, а хозяйка вскипятила в печи несколько больших чугунов воды для моей санобработки. Я разделся догола, вымылся и переоделся в чистое хозяйское белье. Всю мою одежду прокипятили в чугунах, а ватник сожгли: иного способа избавиться от вшей не было. Хозяева уложили меня в постель, настоящую, белоснежную, пахучую, и предложили отдохнуть у них денька два-три, на что я охотно согласился.

Два дня промелькнули быстро. Мне не хотелось покидать гостеприимный дом, не хотелось уходить от людей, которым я до сих пор от души благодарен. Вечером хозяин сообщил мне приятную, по его мнению, новость: завтра утром из села отправляются две подводы и несколько женщин в Новоукраинку,

где находится большой лагерь военнопленных и где женщины надеются найти своих мужей, ушедших на войну. Хозяин договорился, что они возьмут с собой и меня, и, таким образом, ускорится мое путешествие в Киев. Откуда было ему знать, что я никуда не спешу?

Утром супруги Дымовы проводили меня на колхозный двор. Я с удовольствием ощущал на себе свое чистое, без вшей, белье и обмундирование. Сумка моя была набита всевозможной снедью и белым пушистым молдаванским хлебом. Неуютно было только от заползавшего под гимнастерку утреннего холода. Было уже 5 ноября. Зеленую травку прихватывал легкий морозец.

Вскоре подводы шагом двинулись со двора. Вдруг нас окликнула старушка, которая пожалела меня, что я в одной гимнастерке, и сбегала домой за стареньким ватником. Я поблагодарил старушку, надел ватник, подпоясался веревочкой, принесенной вместе с ватником, стежки которого впереди висели полосками с обнажившейся ватой, и мне стало теплей. Через несколько минут село осталось позади, и каждый километр пути, хоть и медленно, но неумолимо приближал меня к Киеву.

Ездowymi на подводах были мужчины: один лет тридцати пяти, другой — рослый паренек лет семнадцати. Старший оказался добродушным и общительным. Он стал подробно обо всем меня расспрашивать, и уже на первых километрах пути я объяснил ему, почему не тороплюсь в мой родной город, где у меня сейчас никого нет и где меня ждет существование впроголодь. Мой собеседник вполне согласился, что лучше бы мне задержаться где-нибудь по дороге, в каком-нибудь селе, и прожить там подольше. За разговором не заметили, как миновали несколько сел. Впереди, в балке, уже видно было следующее — Малиновка, где мои попутчики решили остановиться на обед и подковать лошадей у знакомого кузнеца. Возле кузницы распрягли лошадей и принялись за дело. Завязался разговор давно не встречавшихся

людей, затем речь зашла и обо мне, и выяснилось, что для меня, похоже, есть возможность остаться в Малиновке, так как дед Кирюша Дибровá, который «сторожует» на пасеке в колхозе (немцы сохранили колхозы), нуждается в помощнике и мечтает приютить у себя какого-нибудь хлопца из пленных, чтобы тот по ночам стерег пасеку, а днем помогал ему по хозяйству. Я решил попытать счастья, заручившись рекомендацией кузнеца. Жестяная крыша дома деда Кирюши была хорошо видна из кузницы, и я, не мешкая, ориентируясь по крыше, направился туда.

В хате маленькая женщина, показавшаяся мне старухой (ей было всего сорок лет), как раз доставала из печи хлеб. Вместе с высокими белыми караваемы извлекались из печи большие румяные пироги — с творогом и фасолью. Один такой пирог, горячий и пахучий, был немедленно предложен мне.

Минут через пять явился дед. Он был шестидесяти лет, бородат и основательно глух, и потому разговаривал неестественно приглушенным голосом. Сговорились мы с ним моментально. Он так мне обрадовался, что никакие подробности его не интересовали. Это был по-настоящему добрый, широкой души человек, родившийся и проживший всю свою жизнь в степи. Мы с ним очень быстро подружились. Каждую ночь я уходил вместо него на пасеку, а днем помогал ему по хозяйству. А пасеку мне помогал сторожить симпатичный черный пес Куцюлей — собственность деда.

Осень кончалась, и ульи, 42 штуки, уже были помещены на зиму в просторный, отлично оборудованный погреб. В погреб вела длинная деревянная лестница, начинавшаяся застекленным тамбуром с запирающейся на засов двустворчатой дверью и лежанкой, снабженной овчинной подстилкой и тулупом. Сторожу разрешалось ночью спать, а Куцюлей в случае чего поднимал громкий лай.

Особенно понравилось деду мое умение ремонтировать разный домашний инвентарь. Я и сам удивлялся своему уме-

нию, так как никогда прежде ничего подобного не делал. Из старой колесной спицы я сделал для хозяйки два веретена, отремонтировал несколько старых граблей, два треснувших деревянных корыта, в которых в тех краях месят хлеб и которые называются «ваганы». Дед мною гордился и уговаривал меня жениться. Он очень огорчался тем, что я не посещаю деревенских молодежных посиделок с песнями и танцами. Там собирались главным образом девчата и несколько шестнадцати-семнадцатилетних мальчишек, начавших «парубковать», за неимением ребят более подходящего возраста. Дед Кирюша наивно полагал, что я чураюсь гулянок, потому что стесняюсь своего поношенного обмундирования, рваного ватника и обмоток. Он часто предавался мечтам, как мы поедем в Николаев, когда заколем кабана, и выменяем для меня на базаре сапоги и «твинчик» (пиджак). О костюме он даже не мечтал, и вовсе не от скупости: он готов был променять на мой гардероб всего кабана, но что-либо шикарнее сапог и «твинчика» оставалось за пределами его фантазии. Я же не собирался обзаводиться ни «твинчиком», ни невестой. Мысль о женитьбе вообще не помещалась в моем сознании, меня волновали совсем другие проблемы. Впрочем, и деду было далеко не безразлично то, что происходило за пределами нашего быта.

Новости мы узнавали из газетки «Нове життя», издававшейся в райцентре Еланце и помещавшейся для прочтения в витрине на колхозном дворе. Когда я ходил в колхозную мастерскую ремонтировать металлические грабли (мне нужны были тиски), то прочел в газетке, что немецкие войска уничтожили последний советский самолет и полностью окружили Москву и Ленинград. Я поспешил сообщить об этом деду, но он в ответ рассмеялся и сказал:

— Та ты шо, Леня?! Да никогда такого не было и не будет, щоб немэць Рассею победил. Попруть его наши и выгонять. Руськый народ непобэдимый. Так шо ты нэ горюй, вот увидишь! — и стал подкреплять свою убежденность истори-

ческими примерами, а я был доволен тем, что дед попался мне именно такой.

Вскоре я познакомился с непосредственным начальником деда Кирюши — колхозным пчеловодом, когда он пришел проверять пасеку. Пчеловод пришел утром, когда я собрался уходить. Он принес с собой белых лепешек, достал из погребца сотового меду и устроил «пир». Я впервые в жизни вкушал свежий, прозрачный сотовый мед с белыми лепешками. Пчеловод оказался приветливым интеллигентным человеком, рассказывал о пчелах, как они зимуют, потом очень скоро разговор перешел к тому, что не могло не волновать нас по-настоящему. И хоть каждый из нас был предельно осмотрителен и осторожен, я понял, что человек этот разделяет мой образ мыслей, что он не сторонник немецкой власти и не потерял надежды на то, что немцы здесь не вечны. У меня даже возникло предположение, что он связан с подпольем, но, возможно, такое пришло мне в голову, потому что уж очень мне этого хотелось. О партизанах много говорили, но никто их пока не встречал. Да и трудно было себе представить, где они могут скрываться в этой степи. Тем не менее как-то вечером дед, придя домой, рассказал, что ходят слухи, будто километрах в тридцати отсюда партизаны разгромили немецкую комендатуру.

Через несколько дней я окончательно поверил слухам о партизанах. 17 декабря дед Кирюша явился домой совсем расстроенный и, глотая слезы, объявил, что гебитскомиссар (районный комендант) приказал всем военнопленным, нашедшим себе временное пристанище в селах района, следовать по месту назначения, указанному в аусвайсах, а не имеющих аусвайса — водворить в Николаевский лагерь. На выполнение приказа отводилось 24 часа. Я предположил, что приказ коменданта последовал в ответ на действия партизан. Прожитые у деда Кирюши сорок дней пролетели незаметно.

На следующий день я должен был покинуть дом, уже ставший для меня родным.

Было 18 декабря, подморозило, поля и дороги запорошило первым снежком. Утром я отправился в сельскую управу, расположенную на противоположном конце села, по другую сторону балки, чтобы забрать свой аусвайс. Его мне без всякой волокиты вернули. Он лежал в том же пустом ящике стола, куда его полтора месяца назад положил староста, совсем еще молодой человек, который совестился смотреть мне в глаза и которого еще полгода назад вполне можно было встретить в кабинете секретаря райкома комсомола. Он и сейчас ни о чем не стал меня расспрашивать, только решительно напомнил о том, что мне следует сегодня же покинуть Малиновку и отправляться в Киев.

Еще по дороге в управу произошел очередной инцидент, напомнивший мне, что я ежечасно играю со смертью. Когда по тонкому льду я перешел замерзший ручеек, направляясь к подъему из балки, навстречу мне попались два молдаванина в высоких барашковых шапках и тулупах до пят и стали меня расспрашивать, куда и зачем я иду и у кого живу. Потом прозвучал и самый неприятный вопрос: может, я все-таки жид? Я притворился, что вопрос их меня насмешил, а среди контраргументов, кажется, сильнее других оказался тот, что немцы выдали мне аусвайс, который хранится в управе. Они пошли своей дорогой, но лица их не выражали полной убежденности в истинности моих слов.

Эпизод этот можно было бы считать незначительным, но в памяти они у меня остались все. Наверное, потому, что любовью, самый незначительный мог оказаться последним в моей жизни. Таких эпизодов было множество. Расскажу все-таки еще об одном.

На второй день после освобождения из лагеря меня и двух моих попутчиков пригласила к себе пообедать учительница лет тридцати. Она накормила нас вкусным борщом и манной кашей. В первый раз после лагеря мы ели за домашним столом, покрытым клеенкой, из чистых красивых тарелок. Учи-

тельница объяснила, что кормит нас манной кашей, чтобы не перекормить после длительного голодания, и что нам следует есть почаще, но понемногу.

Она оставила нас на ночлег, но для этого надо было получить разрешение у старосты. И хотя мы все предъявили ему свои аусвайсы, он долго беседовал с каждым из нас, выяснял подробности биографии и лояльность по отношению к немцам. Меня же он допрашивал с особо назойливым усердием, будто чуя что-то неладное, но о национальности все-таки не спросил, зато выяснял, как это получилось, что я — не комсомолец. При этом я видел горящее от стыда и возмущения лицо учительницы, явившейся вместе с нами за разрешением.

Вечером она рассказывала о своем муже, ушедшем на войну. Ей хотелось верить, что он жив, но она не желала его появления в доме в качестве отпущенного из лагеря военнопленного. Хотя нас не винила в том, что мы оказались в плену и не считала предателями. Она, как и другие, считала нас людьми, с которыми случилась большая беда.

Дед Кирюша провожал меня как родного. Он пришел к обеду с моим земляком, тоже отпущенным из Николаевского лагеря. Таким образом, дед подыскал мне попутчика, чтоб не скучно было в пути. Мы плотно пообедали перед дорогой, сумки наши были под завязку набиты харчами. Дед Кирюша проводил нас за село, по щекам у него текли слезы.

В декабре день короткий. Пока мы достигли следующего населенного пункта, хутора Петровский, уже начали сгущаться сумерки, и надо было проситься на ночлег. Постучались в крайнюю хату. В хате были хозяин — одноногий инвалид еще с Первой мировой войны, радушная хозяйка и два сына, старший из которых, мой ровесник, тоже совсем недавно был отпущен из плена.

НА ХУТОРЕ ПЕТРОВСКОМ

Попутчик мой еще на рассвете покинул гостеприимный дом: он торопился домой. Я же с вечера согласился на пред-

ложение хозяев отпраздновать с ними День Святого Николая (Мыколу). Из утренних разговоров стало ясно, что здесь приказ гебитскомиссара Еланецкого района силы не имеет, поскольку хутор находится уже в соседнем, Братском, районе. Так что у меня опять появилась возможность задержаться, если повезет.

Весть о том, что в хате деда Сака (по Библии Исаака) остановились на ночлег двое военнопленных, до утра облетела весь хутор. Первым поглядеть на залетных пташек пришел с противоположного конца хутора дед Коцупал, но напарника моего уже след простыл. Тактично, как бы невзначай, дед стал расспрашивать меня, кто я и откуда, что я за человек, куда иду и кто у меня есть в Киеве. Говорили о солдатской жизни, о Николаевском лагере, о вшах, об умопомрачительных успехах немецкой армии, о колхозах и раскулачивании, о Сталине. И хотя мои собеседники были значительно моложе деда Кириюши (деду Коцупалу было чуть за сорок, но все называли его дедом), взгляды их были куда более консервативными, отношение к Сталину и колхозам — откровенно враждебным. Зато и оптимизм их развивался в прямо противоположном направлении. Дед Коцупал без всякого сожаления уверял меня, что советская власть уже больше никогда не вернется, что немцы, как только обоснуются здесь более прочно, завезут к нам из Европы множество всевозможных товаров, в том числе и разного «краму» (тканей). Он верил, что немцы непременно выполнят свое обещание ликвидировать колхозы и раздать землю тем, кто проявит себя рачительным хозяином, а значит, ему в первую очередь. Он выразил пожелание, чтоб я остался на хуторе и высказал предположение, что в будущем с моей помощью, человека грамотного, образованного, он мог бы заняться не только земледелием, но и открыть на хуторе торговлю «всяким крамом». Я сразу же разочаровал деда, объявив, что не чувствую в себе ни малейших способностей, ни охоты заниматься коммерцией, что дело это явно не по мне, а вот механиком по ремонту всякой техники, которой у немцев хоть

отбавляй, я стал бы охотно. На том и порешили, с оговоркой, что этого еще надо дожидаться.

Тем временем хозяин, дед Сак, обратил внимание на мои требовавшие срочного ремонта ботинки и посоветовал обратиться к соседу Мыколе — сапожнику. Мыкола, к которому я, несмотря на праздник, по настоянию деда Сака отправился немедленно, жил в своей хате с молодой хозяйкой и грудным ребенком. Он приютил у себя и кубанского казака Жору, которому сам помог уйти из лагеря военнопленных как (будто бы) жителю хутора Петровского. Меня усадили за стол, выпили ради праздника по чарке, и Мыкола тут же, хоть и праздник, принялся чинить мои ботинки, а Жора сообщил, что поживет у Мыколы, пока не найдет партизан. При этих словах молодая хозяйка со страхом глядела на Жору и на мужа.

Мне они заявили, что в два счета пристроят меня на хуторе, сообщив попутно, что здесь обосновался еще один пленяга, тоже освобожденный хитростью Мыколы, — Иван Дорошенко (Дорошенко оказался впоследствии ленинградцем Иваном Дорониным; новую фамилию ему придумал Мыкола).

На хуторе Петровском Братского района Николаевской области я прожил почти год — до 3 октября 1942 года, а с Иваном Дорониным, который был старше меня на восемь лет, крепко и надолго подружился. Иван был кадровый артиллерист, дослужившийся до звания младшего политрука. В плен попал под Оржицей, где в окружении оказалась целая армия. О том, что он политрук и Доронин, я узнал гораздо позже, а пока что мы с ним «нянчили» штук сорок колхозных жеребят, зимовавших в тесной, с низким потолком, конюшне. Для Ивана, несколько лет прослужившего в артиллерии, лошади были делом привычным и знакомым. Я же полностью подчинялся Ивану.

А с дедом Коцупалом, который приглашал меня торговать «разным крамом», мы стали приятелями. Жил Коцупал на хуторе едва ли не с самого его основания. Жителями хутора были обосновавшиеся здесь когда-то, еще во времена Сто-

лыпина, переселенцы из Киевской губернии. Поэтому меня признавали земляком, и эта деталь была одной из причин оказанного мне гостеприимства и заботы. Зимой мы с дедом часто встречались на работе: при обмолоте сложенных летом в скирды пшеницы и ячменя. Он охотно взял надо мной шефство как над городским человеком, не знакомым с деревенской работой и непривычным к ней. Деду нравилось, что я отношусь к нему почтительно, охотно и быстро перенимаю его мастерство, что ни разу ни в чем не проявил пренебрежения к деревенскому труду (с которым я справлялся на пределе своих физических сил и возможностей). А ранней весной, расположившись на обед под скирдой соломы, которую мы с ним сложили зимой, Коцупал, посмеиваясь, признался мне в своем лукавстве тогда, в день нашего знакомства, когда он предложил мне заняться торговлей лишь для того, чтобы проверить меня, так как я показался ему похожим на еврея. Теперь сама эта мысль казалась ему нелепой, и мы с ним хохотали над тем, что иногда может померещиться человеку. Уверен, что если бы тогда я ему по-дружески открылся, он выдал бы меня немцам.

Еврейский вопрос нет-нет, да и всплывал даже в таком глухом месте, как хутор Петровский. Был и здесь колхозный пчеловод, но в отличие от того, в Малиновке, этот был из дезертиров, просидевших начало войны и мобилизацию в кукурузе или в подсолнухах, пока «прошел фронт». Здоровенный детина, из «хитреньких», которые нигде своего не упустят и, хотя не блещут интеллектом, всегда хорошо знают, чего хотят. Звали его Прокип. Относился он ко мне свысока и называл меня не Леней и не Ленькой, а Лево́й, явно намекая тем самым о своих догадках насчет моей национальности. Я пропускал ошибку Прокопа мимо ушей, показывая, что не придаю никакого значения такой мелочи, а быть может, даже и не слышу, как он коверкает мое имя. А он ожидал, когда же я услышу и дам ему повод затеять подробный и неприятный для меня разговор и пустить в ход всевозможные догадки и намеки.

В украинских селах имя «Лева» не в ходу. Лево́й звали человека, жившего в двух километрах от хутора Петровского, в Ясной Поляне. Это был еврейский мальчишка лет четырнадцати, который пас там скот и которого жители села скрывали от немцев. Знал об этом и весь хутор Петровский, но никто его немцам не выдал.

Жил припеваючи на хуторе Петровском еще один дертир — Овсиенко. Этот был с ехидцей, причислял себя к образованным и занимал должность колхозного счетовода-бухгалтера. С ним мне приходилось общаться почаще, он никогда не искажал моего имени, но я кожей чувствовал его подозрительность. Вечером 4 октября, накануне моего отправления в Германию, он выдал мне на дорогу хлеба и сала. Мы с ним были одни в колхозной конторе. Я уже собрался уходить, как вдруг услышал его вопрос: «Ленька, а ты не жид?» Я, естественно, отвечал отрицательно. Он настаивал, приводил всевозможные доводы в пользу своего предположения. Логика его оказалась для меня неожиданной: он сказал, что все евреи трусы, а я веду себя так, будто ничего не боюсь. Я ответил:

— От бачитэ! Який же я, к бисовий матери, жид?!

Ему нечего было возразить, и он только рукой махнул. Потом я понял, что он не собирался выдавать меня немцам, но очень хотел увидеть, как я испугаюсь и буду просить о пощаде и благодарить, когда он меня помирует.

Интересовался моей национальностью просто так, из любопытства, скорей даже по-дружески, и хуторянин Федя, тоже отпущенный немцами из плена. У Феди была жена и двое детей. И жена его, светло-русая, голубоглазая, слегка располневшая красавица Люська, как родная дочь похожая на известную певицу Ларису Долину, была еврейкой. Отец ее, крещеный еврей, жил в Братском. Долгое время немцы его не трогали, но весной 1942-го арестовали и увезли. Люськи преследования не коснулись, но было ясно, что пока эта семья не имеет и молит Бога, чтобы пронесло. Как-то

возвращались мы с Федором под вечер с работы верхом на лошадях. И тут, случайно оказавшись рядом со мной, он задал свой наболевший вопрос.

— Та ты що, Фэдир?! — удивленно возразил я.

Но Федя не унимался и предложил мне общеизвестный «тест»: сказать три раза «кукуруза». И тогда я использовал недозволенный прием:

— Та хиба ж твоя Люська нэ скаже тры раза «кукуруза»?! — и произнес при этом заветное слово три раза именно так, как желал того Федя.

— Та яка ж вона жидивка? — искренне возмущился Федя. — То в нэи батько колысь був еврей, а потим охрестився.

— А в мэнэ батько був цыган, а маты украинка, — ловко парировал я.

Федю мой ответ, видимо, удовлетворил, и больше мы к этому вопросу не возвращались.

А мою ровесницу Ульяну вопрос национальности, по всей вероятности, вообще не занимал. Она всячески старалась довести до моего разумения, что я ей нравлюсь, и пыталась в ход все свое женское обаяние, которого ей было не занимать. Она мне тоже очень нравилась, но я держал себя в такой строгой узде и казался так безнадежно недогадлив, что ей оставалось только махнуть на меня рукой.

На этом следовало бы, может быть, и закончить перечень наиболее существенных и характерных встреч и диалогов с жителями хутора Петровского, оставивших след в моей душе и памяти, если бы не еще один эпизод в конце зимы 1942-го (как раз на Масленицу, а точнее, в день ее проводов).

С утра я пришел на конюшню на круглосуточное дежурство, на случай каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств на хуторе или в районе. Такая вахта была обязательна для всех трудоспособных мужчин — жителей хутора, кроме председателя колхоза и старосты Клименко. По воскресеньям и праздничным дням дежурный выполнял и обязанности конюха.

Хотя день был праздничный, на железнодорожную станцию Вознесенск на двух пароконных санях отправляли пшеницу прошлогоднего урожая, увозившуюся в Германию. Ездовыми были два паренька семнадцати-восемнадцати лет. Сани с зерном уже были приготовлены с вечера. Снега выпало много, до станции было 35 километров, и ездовые, и кони хорошо знали дорогу. Ребята отправились в путь охотно, а часам к восьми вечера уже распрягали лошадей на конюшне. Они быстро поставили лошадей в стойло и растаяли в темноте. Но минут через двадцать оба возвратились: им было приказано проводить меня к одному из них домой, а если я откажусь, — принести на руках (это было для них вполне посильно). Приказал староста Клименко.

Артачиться я не стал, напомнив лишь, что не имею права покидать дежурство, да еще в вечернее время.

— Клименко сам знает и сам разрешил, — был ответ.

В хате было светло благодаря нескольким керосиновым лампам, застолье было в разгаре. За сдвинутыми столами сидело более двадцати человек приглашенных, во главе стола — Клименко с хуторским начальством и хозяин дома, место для меня рядом с подружкой моей хозяйки было свободно, и как опоздавшему (что было явной несправедливостью) мне налили чайный стакан первака по самые края.

Стакан полагалось осушить на одном дыхании, что я и сделал, чем-то, оказавшимся в моей тарелке, закусил, а стакан уже был налит снова, и снова до краев. Теперь пили все, и отставать было негоже — я опять выпил все до дна.

Перед третьим стаканом, чуть-чуть неполным, у меня было минут пятнадцать, заполненных общими разговорами и обращенными ко мне вопросами — шутливыми и серьезными. Оказалось, что я знаю за столом не всех, а меня знают все и относятся ко мне с полным уважением. Я поблагодарил за оказанное мне внимание и уважение, а Клименко меня подержал, когда я поторопился возвратиться на оставленное дежурство, — конечно, лишь после того, как третий стакан был мною выпит.

За неполных десять месяцев, прожитых на хуторе, я обучился почти всем видам сельскохозяйственных работ, побывав и конюхом, и пахарем, и водовозом. Я полол кукурузу конными «сапалками», клал скирды, возил на арбе снопы с поля... Не пришлось мне только доить коров и косить. А когда оказалось, что никто из хуторян не хочет бесплатно пасти хуторское стадо (колхозное в начале войны спешно угнали на восток), то пастухом в конце июля назначили меня.

Два месяца изнурительного пастушеского труда показались мне вечностью. Но я был жив, встречал восходы солнца в степи, слушал пение птиц по утрам, радовался степному раздолью с пестрыми островками цветов, изменчивой голубизне неба над головой и хуторским ребятишкам, прибежавшим к нам рано утром, когда стадо задерживалось на часок вблизи хутора в зеленой лощинке с высокой сочной травой. Хуторские ребята прибегали к нам ради моих рассказов, которых для них у меня было великое множество и источником которых были прочитанные мною книги. Рассказывать я умел и любил, а когда работал воспитателем в будаёвском санатории, специально этим занимался по вечерам, перед сном со своей группой; такое занятие называлось «тихим часом» и практиковалось для того, чтобы настроить детей на спокойный сон. Рассказами нужно было увлечь, чтобы тишина возникла сама собой и не пришлось бы делать кому-нибудь замечание, чтобы дети перед сном не раздражались.

Глаза юных хуторян и внимание, с которым они слушали, вдохновляли. Наблюдение за стадом брал на себя мой напарник Мыкола, который, хотя и был постарше собиравшихся ребятишек, интересовался моими повествованиями не менее их. А мальчишки становились нашими добровольными помощниками на это время: пулей мчались «завертать» отдельных потерявших совесть коров. Рассказы мои могли бы длиться часами, но регламент устанавливали коровы, устремлявшиеся из ложбинки на степной простор. Так вновь

нежданно-негаданно проявилось мое педагогическое призвание.

Весь хутор работал на немцев бесплатно. Потому и мы с Мыколой не могли требовать платы за свой пастушеский труд, хотя стадо было не колхозным. Но некоторые хозяйки иногда приносили нам домой бутылку молока. Я свое молоко отдавал нашей хозяйке Федоре для ее маленькой дочери, так как своей коровы у Федоры не было.

Она очень удивилась, когда однажды молоко принесла жена колхозного бригадира Васыля по кличке Бровко (брови у него были густые и мохнатые). Звук «с» он произносил похожим на «х», поэтому его еще называли Вахиль. Он тоже побывал в плену и был отпущен домой. А жену его называли Васылыха. Вся черную работу по дому делал муж, а Васылыха была чванлива, отличалась тем, что постоянно читала книги и употребляла изысканные вычурные слова; например, вместо «не могу», или «не должна», что по-украински звучит «нэ мушу», она произносила «нэ мусю». Так ее и прозвали. Еще отличалась Васылыха-Нэмусю тем, что была заядлой домоседкой, поэтому мою хозяйку очень удивил тот факт, что она покинула свое подворье, прошла немалое расстояние по улице и принесла вдове-беднячке бутылку молока, удостоив ее беседы в хате за столом. А уходя, даже пригласила ее к себе и попросила привести с собой и меня. Это стало событием, о котором говорил потом весь хутор.

Визит вежливости состоялся в воскресенье, когда мы с Мыколой пасли стадо только до обеда. В центре внимания Васылыхи-Нэмусю оказался я. Ей интересно было побеседовать с жителем Киева, окончившим в этом городе среднюю школу и отличившимся не только тем, что безоговорочно согласился при своей образованности пасти коров, но еще и увлекался своими рассказами хуторскую детвору. Федора, кстати, тоже несколько лет прожила в Киеве, работала на фабрике, потом вышла замуж, а вскоре после рождения ребенка овдовела, оставшись хозяйкой в доме мужа, умершего от туберкулеза и не имевшего на хуторе никого из родных.

И опять-таки после вычурной, «о высоких материях», продолжительной беседы последовал главный вопрос: о моей национальности и сходстве с евреем. Я отвечал, что похож на отца-цыгана, который был кузнецом, а умер до моего рождения от тифа, и что мать-украинка, так же как и Федора, рано овдовевшая, вырастила меня сама; и рассказал всю, в подробностях, легенду, придуманную ночью на этапе по дороге из Каховки в Николаев после «сортировки», когда мы остались вдвоем с мариупольским греком под выкрики «юда».

Васылыха повздыхала и даже прослезилась. Кажется, она мне поверила.

В сентябре я познакомился с учительницей школы, открытой немцами в Петровском. Она повела своих первоклассников на прогулку в степь, а мы с Мыколой и коровами оказались у них на пути. Не помню, с чего начался разговор, но учительница, которая была моей ровесницей, предположила во мне человека образованного. Девушка сообщила, что в районе ощущается острый недостаток в учителях и что я мог бы, если б только захотел, сменить должность пастуха на должность учителя (быть может, хуторские мальчишки поделились с ней своими впечатлениями о моих утренних импровизациях в присутствии коров). Я очень уставал от своей работы, коровы снились мне по ночам, но — сблизиться с властью «нового порядка»?.. Я назвал какие-то причины, вынуждавшие меня отклонить столь заманчивое предложение: рваный ватник, отсутствие обуви (мои ботинки к этому времени окончательно развалились)... Но как раз эти препятствия были, по мнению учительницы, легко устранимы. И все-таки она поняла: ей не удастся уговорить меня стать учителем. Меня же смутила ее невозмутимость. Казалось, она не видит ничего предосудительного в том, что «при немцах» стала учительницей. В ее аполитичность я поверить не мог: все-таки получила среднее образование в советской школе, наверняка была комсомолкой... Значит, просто ре-

шила приспособливаться к условиям новой жизни, которые, как она полагала, останутся теперь навсегда. А может быть, решила жить сегодняшним днем, не думая о возможной грядущей ответственности.

На должности пастуха я пробыл до 3 октября, когда пришел приказ отправить двух хуторян на работу в Германию. Хуторское начальство сразу определило кандидатуры «добровольцев»: выбор пал на меня и на Ивана Доронина. Нам надлежало явиться в село Надеждовку для медицинского осмотра и оформления документов. Там же хранились и наши аусвайсы. Кандидатура Жоры, тоже пришлого, отпала автоматически: он использовался немцами как шофер, на хуторе появлялся редко, а партизаны ему так и не повстречались.

В «ВЕЛИКУЮ ГЕРМАНИЮ»

По дороге в Надеждовку (километра четыре через балку) мы с Иваном имели возможность свободно обсудить создавшееся положение. На хуторе у Ивана была жена, и он «не ерзал», хотя и говорил иногда о партизанах, которых нигде не было. В это утро моего Ивана как будто подменили: всю дорогу он придумывал всевозможные варианты побега, хотя вариантов-то, по сути, и не было, ибо негде нам было укрыться в бескрайних николаевских степях. Да и времени для побега оставалась лишь сегодняшняя ночь, потому что завтра на рассвете надеждовские полицаи придут за нами, чтоб сопровождать нас в райцентр, куда будут сгонять со всего района таких, как мы. Предлагая проекты побега и слушая мои возражения, Иван в глубине души, видимо, и сам в их успех не верил. Вывод напрашивался один: пока придется покориться обстоятельствам, а по пути в Германию, быть может, и представится случай сбежать.

Справедливости ради должен заметить, что Иван набрался смелости (или дурости?) заявить в полиции, что отправляется в Германию вовсе не добровольно. Причем полиция,

контролируемая немецким гестапо, прекрасно знала, что Иван ушел из лагеря военнопленных обманом, при помощи Мыколы, с которым они появились на хуторе в один и тот же день. Неужели полиция закрывала глаза на подобные вещи, а гестапо ей такое позволяло?.. Впрочем, этими соображениями я с Иваном не поделился. У меня были другие проблемы: предстоял медицинский осмотр, который вполне мог оказаться для меня роковым. Я старался как можно меньше привлекать к своей персоне внимания. И впоследствии Иван не упустил случая упрекнуть меня в том, что «юридически» я в Германию поехал добровольно.

Медицинский осмотр проводил единственный на всю больницу врач — старичок с небольшой с проседью бородкой, всем своим обликом ассоциировавшийся у меня с Терентием Осиповичем Бубликом из пьесы Корнейчука «Платон Кречет». И вот я дожидаясь под дверью врачебного кабинета, где уже находится Иван и куда должен зайти и я. Собрав все свое мужество и хладнокровие, я внушил себе, что это просто одно из многочисленных посещений врачебного кабинета, ничем мне не грозящих.

В кабинет я вошел уверенный и спокойный. И «земский врач» оказался на высоте. Осматривая меня, раздетого донага, этот интеллигентный человек, казалось, был озабочен лишь единственным вопросом: нет ли у пациента венерических или каких-либо иных заразных болезней, представляющих угрозу для «Великой Германии». Весь его облик ничего не выражал, как бы приглашая тем самым и меня воздержаться от каких бы то ни было эмоций. Ну, какие могут быть эмоции при обычном медицинском осмотре? И мне оставалось только, принимая правила игры, невнятно пробормотать свое «спасибо» и покинуть кабинет.

Через двое суток мы уже были в Вознесенске, а еще через два-три дня — в эшелоне. Мои солдатские ботинки к этому времени окончательно развалились, так что в «Великую Германию» я следовал босиком.

По дороге нас выгрузили в Перемышле, где мы в перевалочном лагере ожидали комплектования эшелона. Там я во второй раз подвергся такому же осмотру, как в Надеждовке, когда нас подвергли санитарной обработке в бане. После мытья нас, голых, загнали в просторное помещение, за железный барьер, по ту сторону которого сидел на возвышении врач в белом халате и резиновых перчатках. Он осматривал подходивших к нему по одному через узкий проем в барьере. Толпа голых людей быстро таяла. А я все не решался приблизиться к проему. Что если этот врач пожелает задать мне нескромный вопрос? На этот случай у меня все-таки заготовлено было объяснение. Я помнил, что у нас во дворе жил Вовка Осичной, сын дворника, украинец, подвергшийся в раннем детстве операции обрезания по чисто медицинским показаниям в связи с образовавшимся у него загноением. Вовку дразнили иногда жидом и обрезанным. Сочиня себе биографию, я решил использовать этот сюжет в самой безвыходной ситуации. Слава Богу, не пришлось. Врача в резиновых перчатках также интересовала лишь кожно-венерологическая сторона вопроса, расово-национальная сторона дела его не занимала.

В Перемышле Иван все же склонил меня к побегу. И случай вроде бы представился...

ПОБЕГ

Несколько дней мы ожидали формирования эшелона. Делать нам в лагере было абсолютно нечего, и мы с Иваном целыми днями лежали на траве, греясь на все еще ласковом октябрьском солнышке. Глаза и мозг Ивана напряженно искали хоть малейшую возможность сбежать. Я же считал эту затею бессмысленной, не понимал, что в таких обстоятельствах можно придумать.

Но Иван все-таки придумал. Он обратил внимание на маячившую у старых деревянных ворот в белой кирпичной ограде фигуру охранника. Ворота эти никогда не открывались, для чего же тогда охранник? Поверху была натянута в несколько рядов колючая проволока, надписи предупреждали, что она

под током. Иван предположил, что солдат охраняет щель под воротами, утонувшую в глухом высоком бурьяне.

Мы упорно вели наблюдение за воротами и однажды заметили, что охранник отлучился. Иван заявил, что нужно бежать немедленно. Если я откажусь, он уйдет сам.

Ни минуты не веря в успех этого предприятия, я посчитал своим долгом следовать за Иваном. Конечно же, у нас не было и не могло быть никакого плана побега. Мы даже не имели представления, в какую сторону двигаться, когда окажемся по ту сторону забора.

Высокая трава в самом деле скрывала от глаз подворотню, через которую мы, никем не замеченные, без труда выбрались наружу. Вдоль ограды росли высокие деревья, не было ни души. Перед нами поднималась высокая насыпь железнодорожного полотна, нам оставалось лишь перемахнуть через нее. Но подняться удалось лишь до середины: с насыпи на нас смотрело дуло пистолета в руках человека в штатском.

О том, что было дальше, стыдно и страшно вспоминать. Нас вернули в лагерь и жестоко избили. Больше мы в подобные авантюры не пускались.

А на следующий день товарный состав увозил нас в Германию.

ГЛАВА II. ЧУЖАЯ СТОРОНА

ГОРОХОВЫЙ СУП

Как только мы пересекли границу Германии, немецкие солдаты, которые нас охраняли, заметно повеселели и расслабились: вагоны наши больше не запирались снаружи, нас только предупредили, что каждый при попытке к бегству будет расстрелян на месте, и предоставили нам возможность рассматривать Германию в приоткрытую дверь вагона. Эта страна выглядела так мирно, так идиллически чисто и аккуратно, что даже сама мысль о войне, о разрушенных городах, исковерканных судьбах, тысячах пепелищ, миллионах замученных и убитых казалась просто нелепой выдумкой.

12 октября 1942 года нас высадили из эшелона на отдаленной от вокзала платформе в Нюрнберге. День был солнечный, теплый, мои озябшие в полутьме вагона босые ноги согрелись на теплом асфальте. Нам была предоставлена возможность воспользоваться специально вырытым для нас рвом-уборной, а затем нас впервые за всю дорогу накормили густым, вкусным гороховым супом с белыми разварившимися в нем макаронами. Так вкусно и сытно немцы кормили нас в первый и в последний раз.

Из Нюрнберга нас увезли в Битиггайм, в распределительный лагерь, где предупреждающие надписи на русском языке, заканчивающиеся словом «расстрел», пестрели на всех оградах из провололочной сетки. Там нас наново подвергли тщательной санобработке и через сутки-другие из общего строя отсчитали около трехсот человек и отправили в Штутгарт.

«ПРОМЕНАД»

Фирма в Штутгарте, куда нас, человек двести, определили на работу, называлась «Зюддейче Кюлерфабрик Юлиус Фридрих Бер». Это был завод, изготавливавший всевозможные радиаторы для двигателей внутреннего сгорания. С вокзала нас пешком повели в лагерь. Наша живописная колонна шагала по улицам Штутгарта, целехонького, ухоженного, зеленого, не тронутого войной. Мы глазели на непривычную готическую архитектуру, на высокие и крутые черепичные крыши, островерхие башни и башенки, а немцы-прохожие оглядывались на нас, всем своим видом выражая презрение и собственное превосходство.

Нас поселили в лагере, отделенном от города несколькими гектарами лесопарка, называвшегося Шлётвизе. От «старичков», привезенных сюда из Смоленщины и Уманского района Киевской области, мы узнали, что кормят впроголодь и что производством радиаторов заняты не все: некоторые роют землю на строительстве нового цеха.

Погода испортилась, шел мелкий холодный дождик. Простая профессия Ивана никак не могла здесь сгодиться — в Ленинграде он работал на мясокомбинате. Я и вовсе не имел никакой специальности. Таким образом, нам открывалась прямая дорога в строители-землекопы. Перспектива копать на голодный желудок мокрую землю под зачистившим осенним дождем не очень-то нам улыбалась. Я предложил сказать, что мы слесаря. Иван отнесся к моему предложению весьма скептически, но я стоял на своем: напильник или ножовку держать в руках мы умели, зубило и молоток тоже были нам не в диковинку. У нас даже были туманные сведения об электросварке и автогене. Решили рискнуть. В крайнем случае дадут по шее, а кирка и лопата от нас не убегут.

Радиаторный завод состоял из двух предприятий — Верк-I и Верк-II¹, расположенных на расстоянии менее километра

¹ Верк-I и Верк-II (Верк айнс и Верк цвай) — завод № 1 и завод № 2.

друг от друга, но в разных административных районах города, разделенных насыпью железнодорожного полотна: Верк-I — в Штутгарт-Фейербах, а Верк-II — в Штутгарт-Цуффенгаузен. Мы с Иваном попали в числе человек со-рока на Верк-I, куда нас утром привели из столовой и где в просторной проходной мы дожидались распределения по цехам.

Время было раннее, до начала рабочего дня оставалось не менее получаса. Нам пришлось посторониться, так как мимо один за другим проходили немцы и скрывались за дверью, ведущей на территорию завода.

Меня удивило то, что все они были с портфелями, в шляпах, в пальто или плащах (а где же рабочие?!). И только потом я узнал, что отличить немецкого итээровца от рабочего по одежде невозможно. Никто не приходил на работу в спец-овке, они хранились в шкафчике в цеху. В портфелях немцы приносили из дому свой обед в маленьких котелках, потом еда разогревалась. Инженеры, мастера и прочее начальство облачались на работе в халаты — синие, коричневые, жел-тые... А рабочие — в синие спецовки, всегда выстиранные к понедельнику.

Меня с Иваном привели в мастерскую по ремонту завод-ского оборудования и сантехники, где работали три немца: Глязер, Зингер и Шахт. Младшему из них было за шестьде-сят, старшему — около восьмидесяти. Были они слесарями-универсалами высокой квалификации.

К моменту нашего с Иваном появления в мастерскую явился собственной персоной мастер и начальник ремонтно-строительного цеха № 29 герр Гаймш — высокий, стройный, седой, подстриженный ежиком старик лет семидесяти в оч-ках в золотой оправе. Вся фигура Гаймша излучала важность и начальственность. Он дал мне в руки драчовый напильник и собственноручно зажал в тиски короткий отрезок водопро-водной трубы в вертикальном положении. Это и была про-верка: человек, назвавшийся слесарем, знает, что следует

делать с оказавшимся у него в руках инструментом. Этому меня учили в школе, и иронично-одобрительные возгласы присутствующих не оставляли сомнений в том, что экзамен я сдал. Иван тоже не ударил лицом в грязь: ему предложили ножовку, а трубу зажали в тиски горизонтально. Убедившись, что гаечный ключ для нас тоже не бог весть какая диковина, мастер Гаймш удалился, утратив к нам всякий интерес, а Шахт сразу предложил нам заняться делом: отвел в небольшой, неярко освещенный цех, где под потолком на шарико-подшипниковых кронштейнах находились подлежащие демонтажу валы трансмиссий. Мы получили стремянку, набор гаечных ключей, молоток и приступили к работе. Я охотно полез бы на стремянку, потому что мне было холодно стоять босыми ногами на сыром цементном полу, покрытом пылью, замешанной на какой-то кислоте (видимо, здесь был электролизный цех), но Шахт отправил на лестницу более внушавшего доверие Ивана. Я же подавал ему инструмент и принимал из его рук демонтированные детали.

Через некоторое время Шахт ненадолго отлучился, а когда вернулся, в руках у него были башмаки на деревянной подошве и чистые тряпки, которым предназначалась роль портянок. Работа была прервана, и я стал обуваться. Обувка оказалась впору, мне стало тепло, я поблагодарил немца, а он острил по поводу элегантности моей наружности, в том смысле, что мне смело можно отправляться на «променад», «шпацирен», для чего не хватает только дорогой сигары в зубах. Он несказанно обрадовался, когда убедился, что мы поняли его шутку и по достоинству ее оценили.

Забегая вперед, расскажу, чем этот променад окончился. Вечером в сопровождении вахмана и овчарки мы колонной около трехсот человек возвращались с работы в лагерь «Шлётвизе» после того, как получили в столовой ужин — две картофелины в мундирах — и пайку хлеба на завтра. Шли около двух километров — сначала по городу, а затем по лесопарку, не разбирая дороги, напрямик между деревьев.

Уже в самом начале пути я почувствовал, что левый ботинок сильно натирает ногу в подъеме. Боль все усиливалась, а остановиться не было возможности. Я терпел, собрав всю свою волю, и кое-как дохромал до барака в хвосте колонны. Оставив деревяшки на полу и взобравшись на верхнюю койку, я решил, что завтра на работу опять пойду босиком.

Нога болела всю ночь, к утру распухла и была красно-синего цвета с желтым гнойником-нарывом на подъеме стопы. Сменившийся вахман — старик лет семидесяти, будивший нас утром, — увидев ногу, разрешил мне остаться. Через некоторое время он принес кое-какой перевязочный материал, промыл спиртом нарыв и помог мне сделать перевязку, предварительно смазав ногу мазью из круглой коробочки, а остатки мази оставил мне. Через два дня я уже был на работе, а нога совершенно зажила. Самый старший из немцев в мастерской — Зингер — принес мне другую старую обувь, которую я проносил до весны.

Я до сих пор с благодарностью вспоминаю старого вахмана, которого мы сразу окрестили Ауфштейн (встать) — это слово он терпеливо повторял у каждой койки, где кто-либо замешкался с подъемом. Возможно, он спас меня от неминуемой гибели — в случае если бы у меня началась гангрена в наших рабских условиях.

После того, как Шахт принес мне обувь и пошутил насчет променада, он ушел и долго не возвращался, пока неожиданно для нас не прозвенел звонок. Это был перерыв на завтрак (побаварски — фекшпор).

Завтракать нам было нечем, но перерывом мы воспользовались и вышли во двор, где уже вполне рассвело и где мы увидели военнопленных французов, куривших, сидя на ящиках под стеной административного здания. Их было человек десять, все в новеньких шинелях — по погоде, в начищенных до блеска ботинках, некоторые без головных уборов, отлично постриженные и аккуратно причесанные, с блестящими, хорошо уложенными черными вьющимися волосами.

Как потом выяснилось, французы периодически получали посылки международного Красного Креста, в которых были не только галеты, но даже шоколад. Тем не менее они считали, что живут в ужасных условиях. А я думал: поглядели бы вы, как живут наши пленяги, от которых отвернулись, как от предателей, и собственная Родина, и товарищ Сталин.

Французы оживленно разговаривали, и я впервые услышал певучую французскую речь, а прислушавшись, понял одно только слово: Сталинград.

СТАЛИНГРАД

Находясь на хуторе Петровском и следуя эшелонам в Германию, мы не имели хоть сколько-нибудь ясного представления о положении на фронтах и о ходе войны вообще. Известие о боях под Сталинградом потрясло нас уже тем, что немцы так далеко зашли на нашу территорию.

Немецкие газеты считали падение Сталинграда неминуемым, называли сроки в одну-две недели, помещали фотографии немецких солдат, черпающих котелками или касками воду из Волги. Того же мнения придерживались и немцы на заводе. Особенно торжествовал один из них, молодой очкарик, появившийся в нашей мастерской через неделю, когда мы закончили демонтаж трансмиссий, а события в Сталинграде приобрели остро-драматический накал. Этого очкарика «прикомандировали» к нам на неделю ввиду срочной работы, которую нам с Иваном пока еще не могли доверить: требовалось смонтировать новую схему водопроводных труб в цеху, где мы разобрали трансмиссии. Очкарик был на редкость словоохотлив, и каждое утро его речи начинались словом «Шталинград». Он старался нам втолковать, что с падением Сталинграда войну Германии против Советского Союза можно будет считать почти законченной. Того же опасались, кстати, и пленные французы. Тянулись унылые, голодные, бесконечные от пассивного и напряженного ожидания дни и недели.

Еще раздражало в этом болтливом немце его постоянное стремление подчеркнуть свое превосходство, покрасоваться перед нами своим богатым внутренним миром и эрудицией. Например, он обратил наше внимание на то, что среди немцев очень часто встречаются люди, пользующиеся очками; а вот среди русских, работавших на Верк-1, — вообще ни одного. Среди французов очкарик был всего один. Умозаключение немца из этого наблюдения сразило нас наповал: он сказал, что очки — признак занятия умственным трудом и несомненного превосходства в интеллекте. Конечно, мы сдержали смех и утвердительно отвечали на вопросы о том, понятно ли нам его умозаключение и согласны ли мы с ним. При этом немец светился от счастья.

О поражении немцев в Сталинграде мы узнали от тех же французов. Они поздравляли нас, пожимали нам руки так, будто это лично мы окружили и разгромили полумиллионную армию Паулюса. Французы ликовали и верили, что теперь до конца войны остается два-три месяца, максимум — полгода. Теперь и мы не сомневались в победе, но понимали, что сроки, определяемые французами, далеки от трезвого понимания реальности и масштабов происходящих на востоке событий и расстояний.

Вечером, после ужина (двух-трех картофелин в мундирах) и раздачи хлеба на завтра, мы, как всегда, строились перед барак-столовой, чтобы идти в лагерь на ночлег, когда к нам обратился переводчик Фриц. В Германии, сказал он, объявлен недельный траур по шестисоттысячной немецкой армии, оставшейся в заснеженных степях под Сталинградом, а значит, в течение недели мы не должны петь песен, возвращаясь вечером в лагерь (надо заметить, что сам Фриц несколько не походил при этом на убитого горем патриота).

Дело в том, что двухкилометровую дорогу от столовой до лагеря мы обычно проходили с песнями. Возвращались мы колонной, охраняемые вооруженным конвоиром с собакой, и песни как-то скрашивали нам этот путь. Петь разрешалось все что угодно, и наиболее популярными были пес-

ни патристически-советского содержания. Они нам помогали все стерпеть и выжить. Не пелись разве что гимны, зато весьма популярны были «Три танкиста», «Катюша», «Броня крепка», «Каховка», «Дан приказ ему на запад», «Скакал казак» и другие строевые и нестроевые песни. Хотя нашу колонну никак нельзя было назвать строем в привычном понимании этого слова.

А в тот вечер мы не пели. Моросил мелкий дождь, но мы его не замечали, даже усталость и голод не казались такими уж чувствительными. И наше молчание звучало таким торжеством, как самая радостная, самая торжествующая песня! О первой победе под Москвой в декабре 1941-го я вообще тогда еще ничего не знал, как, вероятно, и многие из нас, и потому Сталинградскую считал первой и пока единственной.

ПУШИНКА

Все мы, привезенные в Германию с оккупированных территорий Советского Союза, назывались остарбайтерами — восточными рабочими, в отличие от военнопленных, и носили на груди квадратный знак «OST», который был нарисован белой краской на выданных нам спецовках. Если у кого-то была еще иная одежда, кроме спецовки, то и к ней полагалось пришивать этот отштампованный на синей спецовочной ткани белый знак.

Дабы не погрешить против истины, следует сказать, что остарбайтеры в нашей мужской колонне на девяносто процентов состояли из бывших военнопленных. Часть из них избежала лагерей, устроенных немцами в нескольких городах Украины, в силу того что они попали в окружение на территории своего государства, иных немцы сами отпустили из лагеря домой, выдав аусвайс, причем среди последних были жители России, а также узбеки или таджики, которым помогли освободиться, обманув немцев, их однополчане-украинцы. В нашем строю остарбайтеров фирмы «Бер» таких была добрая половина.

Проживая на хуторе Петровском, я считал, что Надеждовская полиция разрешила мне временно здесь оставаться как жителю Украины, но почему она закрывала глаза на то, что ставропольскому казаку Жоре и жителю России Ивану аусвайсы были выданы как жителям хутора Петровского? Можно было предположить, что кто-то кого-то об этом очень попросил. Однако уже в райцентре Братском, куда мы с Иваном прибыли в сопровождении полиция для дальнейшего следования в Германию, увидев там казахов и туркмен, прибывших тем же порядком из других населенных пунктов района, я понял, что явление это имеет, как теперь говорят, системный характер. И шагая в нашей живописной колонне, я думал: а известно ли немецкой администрации, сколько военнопленных, превратившихся в остарбайтеров, оказалось в Германии?

Ответ пришел ко мне совсем неожиданно, и вот как это произошло.

Зимой 1943 года нам нужно было заменить батарею отопления в одном из кабинетов пятиэтажного здания заводууправления. Новую батарею мы с Глязером отнесли в кабинет на втором этаже вечером. А утром хозяин кабинета к работе нас не допустил, пожелав, чтобы мы занялись этим делом, когда он отсюда уйдет. Был это, как я потом узнал, ээсовец из гестапо Освальд, курировавший вопросы, связанные с личным составом иностранных рабочих, в том числе и французских военнопленных. Раньше я его несколько раз видел, но не знал, чем он занимается здесь, на заводе радиаторов. (Замечу в скобках, что немцы из мастерской откровенно не любили Освальда и называли за глаза «босьяком с сигаретой».) В назначенное время Глязер открыл кабинет и оставил меня работать одного. Технология это вполне позволяла, а в том, что я справлюсь, он не сомневался. Закончив работу и дожидаясь Глязера, у которого был ключ от кабинета, я приблизился к столу и обнаружил там картотеку по всем французам и остарбайтерам. На каждой карточке была

отметка OST или KG — последняя означала, что этот остарбайтер — бывший военнопленный, Kriegs Gefangener. Таким образом выяснилось, что немцам было прекрасно известно, кто есть кто.

Поднимали нас в полшестого утра, рабочий день на заводе длился 12 часов, а в субботу — 5, в воскресенье был выходной, но его у нас часто отнимали то лагерное начальство, то заводская администрация, гоня на разные работы. На протяжении первых двух лет нам платили по 8 марок в месяц, а затем по 16. Отказаться от работы ни у кого не хватало смелости, да и смысла не было, потому что работать тебя все равно заставят, но уже в концлагере, который для меня лично означал еще и безусловное разоблачение, и неизбежную смерть.

Как-то я наблюдал, как лагерфюрер Майер сдувал пушинку с рукава своего черного эсэсовского мундира, и подумал, что мой отказ от работы значил бы для Германии меньше, чем эта пушинка на рукаве у Майера, а мне стоил бы жизни, за которую я продолжал бороться. **Если еврей с сентября 1941-го все еще не разоблачен немцами, если он проявил столько изобретательности и воли, мужества и хладнокровия и Господь Бог ему помогал в самых безнадежных ситуациях, то он уже просто не имеет права добровольно отказаться от борьбы. Такой поступок означал бы акт капитуляции человека, дерзнувшего в одиночку вступить в единоборство с огромным, четко отлаженным механизмом массового истребления евреев.**

Но меня постоянно угнетало сознание того, что я работаю на Германию и тем помогаю фашистам вести войну против моей Родины. Мысли о том, что я работаю во вред своей стране, не давали мне покоя, и я задумывался о том, могу ли я хоть чем-то вредить немцам. Мое положение рабочего-слесаря по ремонту оборудования все-таки таило в себе такую возможность. И дважды я ею воспользовался.

Однажды нам пришлось вынуть вентилятор из вытяжной трубы, когда у него сломалась лопасть. Цех простоял два-

три дня. Не прошло и трех месяцев, как подобная авария повторилась, и Глязер недоумевал, что же это могло упасть на лопасть в трубе. А я подумал, что если положить на фланец внутри вытяжной трубы небольшую гайку, то при вибрации от работы вентилятора она непременно сползет, и лопасть опять сломается. И я сделал это, и моя операция удалась, и цех снова простоял два дня.

В другой раз я недостаточно тщательно замуровал газовую латунную горелку, которая поддерживала необходимую температуру в печи-ванной, куда в расплавленное олово окунали собранные радиаторы. Очень скоро горелка лопнула с громким выстрелом-хлопком. А новых латунных горелок уже не было: их стали изготавливать из сплава похуже качеством, и срабатывались они гораздо быстрее старых. Поэтому причиной аварии опять признали некачественную горелку. Конечно же, я очень рисковал.

Я старался быть минимально полезным своим врагам. У пленных французов я перенял их медлительную походку рабов. Они меня за это хвалили и говорили, что такую походку следует освоить всем русским.

Победа под Сталинградом сблизила нас с французами. Они всегда делились с нами откуда-то поступающей к ним информацией о положении на Восточном фронте. И каждый раз, когда мы узнавали об очередном наступлении наших войск, мы долго не спали, и долго не смолкали разговоры у нас в комнате. У себя мы не боялись доносов и могли свободно высказываться. Хотя, конечно же, я все-таки не мог позволить себе признаться, что я еврей. Меня бы, несомненно, выдали.

КОМНАТА

Сначала — о самой комнате в бараке, состоящем из трех блоков, по две комнаты в каждом. Комната почти квадратная; два окна со ставнями со стороны крыльца и одно — с противоположной стороны посередине стены. Перпендикулярно двум

другим стенам, отделяющим соседние комнаты, стоят двухэтажные койки, между которыми прикреплена к стене полочка — на двоих, где могли бы лежать, кроме прочего, зубные щетки, которых ни у кого из нас не было. Между двумя рядами полок — длинный стол, занимающий примерно треть длины комнаты. На одной линии со столом в центре комнаты — чугунная печурка с поддувалом, герметичной дверцей и цилиндрической жестяной трубой дымохода, уходящего через крышу-потолок наружу. Еще один стол — двойник первого, расположенный возле стены с двумя окнами. Кроме столов — табуретки, по числу жильцов. Весь блок развернут крыльцом в сторону лагеря, а противоположной стеной — в сторону ограды (поначалу у нас ее не было). Печка предназначалась только для обогрева помещения, но мы умудрились печь на ней нарезанную ломтиками брюкву и даже варить картошку. Замечу, что в таких же блоках и с такой же мебелью жили и другие иностранцы, привезенные в Германию на работу, но вместо полочек у них перед каждой двухэтажной койкой был шкафчик с дверцами на два отделения, отчего в жилище было потесней.

Вряд ли мне удастся перечислить всех жильцов нашей комнаты, но я попытаюсь.

Саша Алексеев (настоящая фамилия Ткачев) — политраб-ботник невысокого ранга. Решительный, прямой, угловатый, душа-человек и надежный друг.

Петя Горшков — брат Сашиной жены (совершенно неожиданная случайная встреча). Мой ровесник. Призван в армию, как и я, по окончании десяти классов. Петя попал в плен осенью 1941 года в составе безоружного взвода — бойцам не выдали оружие из-за отсутствия такового и приказали добыть оружие в бою; подразделение отбивалось от немцев, выдергивая из земли буряки — сахарную свеклу — и швыряя ими в противника. Уравновешенный, рассудительный, интеллигентный, никогда не теряющий чувства юмора — даже в рассказе о свекольной битве с немцами.

Петя Рожков. Мой ровесник, тоже со средним образованием. Открытая душа, любитель выпить и шалопай.

Коля Медведев. Мой ровесник, воронежец. Глуповатый, жадный, нечестный. Однажды съел картошку, оставленную на утро его другом Васей-сибиряком, работавшем в ночную смену в самом вредном цеху с оловянными ваннами.

Вася-сибиряк. Мой ровесник. Полная противоположность своему другу Медведеву, воплощение выдержки и мужества. Но морду Коле за картошку все-таки намылил.

Вася из Чувашии. Добрый, скромный.

Павел Бриллиант. Мой ровесник. Стал моим приятелем, подарил на память фото. Рослый, красивый, интеллигентный. Работал на кухне, где готовили пищу для нас и военнопленных французов, двое из которых трудились вместе с ним и стали его друзьями.

Михаил Виноградов.

Минорин.

Штепа (Шолохов) — политработник высокого ранга.

Все трое — москвичи, попали в плен в Смоленске, но лагеря избежали, были привезены на фирму вместе со смолянами. О них речь впереди.

Саша Козаренко. Мой ровесник. Побывал в плену. Был привезен из дому (город Вознесенск), захватил с собой баян, которым владел изрядно. Заядлый рыбак; ему очень шла капитанская фуражка с «крабом», вошедшая в моду после фильма «Аристократы» — в ней ходил герой фильма Костя-капитан. Саше досталась очень тяжелая работа на Верк-II: на массивных железных плитах точными ударами кувалды выравнивать после сварки металлические каркасы рам для больших радиаторов. На первых порах его обучал этому делавший ту же работу немец — бывший врач и коммунист, который сидел в концлагере, письменно отрекся там от своей партии, после чего был отпущен, но лишен врачебных прав и помещен на исправительные работы молотобойца без права сменить занятие. Саша получал на заводе дополнительный паек — молоко и маргарин.

Игнат и Егорка — земляки из средней полосы России. Егорка — мой ровесник, Игнат лет на десять старше. Добрые, общительные, верные и надежные.

Грузин (или осетин?) Псикалов.

Леня по прозвищу Моряк (и в морской форме). Очень порядочный человек. Замкнутый.

Федя Цыганков. Столяр и плотник — профессионал, лет более тридцати, из Курской области. Небольшой, худющий, горбоносый, на вид — стопроцентный еврей, его так и называли: Федя-жидок.

Петр Селивестров и Григорий Атаманчук — донские казаки. Селивестров — балагур, высокий худой; Атаманчук — полная ему противоположность. Оба — не разлей вода, как мы с Иваном.

Еще один Вася — начальник почты, отсидевший срок за преступление по службе.

Его приятель Иван. Мой ровесник. Молчун. Неглупый, рослый, хорошо сложенный красавчик, потенциальный ловелас.

Андрей Михайлец. Лет сорока. После раскулачивания стал жителем Средней Азии (город Чарджоу). Отец двух дочерей на выданье, только о них и думал, и говорил, а больше помалкивал. Койка его была рядом с моей, только внизу.

Киевлянин Женя. Авиамеханик. Скромный, добродушный, интеллигентный. Море симпатии.

Щербина. Мой ровесник. Дезертир, пересидевший призыв и войну в кукурузе. Приехал из дому. Голодал до посинения, даже слегка опух, но купил себе за 90 марок костюм у поляков в лагере через дорогу от нашего; костюм был бутылочного цвета, не новый, но вполне приличный.

И еще деревенский мальчишка семнадцати лет (имени не помню). Приехал добровольно, очень об этом пожалел, но другу домой на Украину писал, что в Германии хорошо, и советовал приехать, а нам говорил: «Пусть тоже попробует, не мне же одному мучиться!»

Кажется, я все-таки перечислил всех: двухэтажных коек в комнате было тринадцать.

Самыми образованными из нас были инженеры Виноградов и Минерин и политработник Штепа (оказавшийся впоследствии Шолоховым) — троица, привезенная в Германию со Смоленщины раньше нас. Они жили маленькой сплоченной коммуной, пользовались у нас непререкаемым авторитетом, хорошо играли на струнных музыкальных инструментах и составляли довольно слаженное трио: гитара, мандолина, балалайка. Лучше всего им удавался жанр городского романса. Получались у них и народные песни. Особенно нравился мне в их исполнении романс «Умер бедняга в больнице военной». Раньше я его никогда не слышал, и запомнился он мне, видимо, потому, что как нельзя лучше соответствовал моему тогдашнему настроению.

Знатоком немецкого языка в нашей комнате был Виноградов. Он свободно читал немецкие газеты и часто приносил в барак «Штутгартер цайтунг» или «Фолькишер беобахтер». Если делать поправку на трюки пропаганды, из этих газет можно было получить приблизительное представление о том, что происходит на фронтах.

Получали мы в лагере (бесплатно) раз в неделю газетку на русском языке. В ней с большим опозданием тоже помещались краткие сообщения с фронтов, много антисемитских публикаций, а также антисоветских и антикоммунистических. Мне запомнилось, как эта газетка отреагировала на введение в Красной Армии погон. На карикатуре был изображен генерал в мундире с генеральскими погонами и с ярко выраженной еврейской внешностью, любующийся своим отражением в зеркале. Надпись гласила: «Циперович в новых погонах». Сталинские репрессии давали, к сожалению, весьма обширный, а главное, правдивый материал для этой газеты. Невозможно было не верить приводившимся фактам, поражавшим своей жестокостью и бессмысленной несправедливостью. Смысл таких публикаций сводился к тому, что уж кому-кому, а совет-

ским военнопленным и остарбайтерам незачем желать победы Красной Армии, если они не хотят остаток жизни гнить в советском ГУЛАГе или быть замученными в застенках НКВД. Но все равно я с нетерпением ждал победы над нацистами. Хоть краем глаза хотелось увидеть день расплаты за их злодеяния.

Особенно усилилась антисоветская тема в газетке после разгрома немцев на Курской дуге. Тогда же усилилась вербовка во Власовскую армию, называемую РОА (Российская освободительная армия). А мы во власовцы не шли (хотя власовцев хорошо кормили) и старались выжить в тяжелых условиях немецкого рабства.

Вторая волна вербовки в РОА советских военнопленных и остарбайтеров началась летом 1944 года. Одну из таких вербовок я наблюдал в одно из воскресений в нашем лагере. Вербовщиков было трое: майор-летчик, капитан и старший сержант. Все они были в соответствующей форме воинов Красной Армии (видимо, в обмундировании, в котором попали в плен), при боевых наградах, которые они успели заслужить еще до плена, в надраенных до блеска сапогах, свежeweыстиранных и отглаженных гимнастерках и шароварах.

Они ходили по комнатам, беседовали с нами, сидя на наших табуретах, рассказывали, почему решили служить в армии генерала Власова (излагали «политическую» сторону вопроса), не забывали сказать, что обеспечивают их всем необходимым наравне с немецкими солдатами и офицерами.

Затем последовало общее построение всех остарбайтеров мужского пола (по большей части бывших военнопленных). Нам объяснили, что мы не нарушим присягу, если поступим в армию Власова, так как Сталин давно от нас отказался и объявил предателями. А потом тем, кто решил поступить в РОА, предложили сделать два шага вперед. Из строя вышли только два человека: Николай Медведев из нашей комнаты (нарушивший тем самым присягу) и мальчишка лет семнадцати, увезенный немцами из Полтавской области при отступлении. Поступок этот был продиктован желанием избежать существования впроголодь.

НЕ ХВАТАЛО ТОЛЬКО ШПАГИ

Небольшую возможность давал нам в этом плане овощной ларек, располагавшийся по дороге на Верк-1 у железнодорожной насыпи. Ларек открывался рано утром, когда мы шли на завод. Вахман разрешал нам оставлять в ларьке мешочки с привязанной к каждому из них немецкой маркой. У нас в строю был свой переводчик Ваня Ховренков, деревенский девятиклассник из-под Смоленска, хорошо выучивший немецкий язык в школе. Он бегом относил по утрам мешочки, а вечером владельцы мешочков получали заказанные восемь килограммов картошки. Картошку заказывали не часто, не хватало денег.

Кто-то разведал, что по субботам в одном из магазинов в Штутгарт-Фейербах иногда продается без карточек кровяная колбаса (она мало напоминала нашу украинскую кровянку, но все-таки была подобием колбасы). По субботам мы работали до полудня, и если вахман разрешал, два-три человека, покинув строй, отлучались за этой колбасой. А то и наведывались в центр Штутгарта, где иногда тоже удавалось раздобыть что-нибудь из продовольствия. Правда, возвращение в лагерь самостоятельно, вне строя, было делом рискованным, не всегда осуществимым. Но постоянный голод толкал на риск. Оказавшись в городе, можно было, если повезет, раздобыть и «брот-марки» — талончики на хлеб (брот), вырезанные из продуктовых карточек. Каждый талончик был не больше почтовой марки, и по этому талону в хлебном магазине можно было за 33 пфеннига купить полукилограммовую буханку отличного серого хлеба, слегка напоминающего нынешний украинский хлеб в Киеве, но гораздо лучшего качества. Любопытно, что качество хлеба, который по всей Германии выпекался в небольших пекарнях-магазинах и продавался их владельцами, везде было отличное, а буханки похожи одна на другую, как близнецы, без единого изъяна. Брот-марки продавали исподтишка сербы, поляки, болгары и другие иностранные рабочие по цене от пяти до десяти

марок. Итак, при наличии денег и некотором везении иногда удавалось в воскресенье полакомиться вареной картошкой с кровяной колбасой и настоящим пшеничным хлебом. Тот, кто отваживался добраться до центра Штутгарта, мог в случае удачи зайти в помещение крытого рынка, единственного в городе, и поесть овощного супу за 20 пфеннигов или купить двухсотграммовый пакетик форшмака из ржавой седетки крутого посола, который тоже был для нас редким и желанным лакомством. Но для поездки в центр на трамвае нужна была мало-мальски сносная гражданская одежда, а не синяя спецовка со знаком «ОСТ», а кроме того, — умение перекинуться несколькими немецкими словами с торговцами на рынке, чтобы сойти за какого-нибудь иностранного рабочего, но не из Советского Союза, поскольку остарбайтерам категорически запрещалось самовольно покидать свои лагеря.

А гражданскую одежду можно было раздобыть на одной из окраин Штутгарта, где полулегально собиралась по воскресеньям толкучка. Там, в тупике под железнодорожным виадуком, толпилась многочисленная и разноязыкая толпа продавцов и покупателей подержанной обуви и одежды. Я посещал этот рынок вместе с Иваном в 1944 году не более двух раз. (Однажды, возвращаясь оттуда, мы даже попали на представление цирка-шапито — зрелище во всех отношениях убогое.)

Изворотливый и предприимчивый человек, не боявшийся рисковать и использовавший периодические послабления лагерного режима, мог извлекать немалую пользу из воскресных посещений центра города и вещевой толкучки. Таким человеком оказался Иван Доронин, за короткое время наживший хромовые сапоги, почти новенький кофейного цвета костюм, демисезонное пальто грубой шерсти, кожаные перчатки, гитару, две простыни и наволочку. Это было колоссальное богатство. Каким образом все эти предметы роскоши достались Ивану, он держал в секрете даже от меня,

а я ни о чем не расспрашивал. Под гитару мы иногда пели с ним романсы и блатные песни, а костюм и перчатки запечатлены вместе с Иваном и трогательной надписью, сделанной им, на фотокарточке 9×12 до сих пор хранящейся у меня.

Вскоре и я обзавелся кое-какой одежкой. Способствовало этому приближение весны, которая в Штутгарте наступает уже в конце февраля. Мы стали очень дешевой рабочей силой для местных жителей, владевших небольшими земельными участками в черте города. Работали мы за кусок хлеба, за тарелку супу. Получить такую работу считалось большой удачей. Мне тоже повезло: я напросился на работу у старого Езефа, работавшего по соседству с нашей слесарной мастерской в смежном помещении за деревянной перегородкой. Он снабжал заводские цеха газом, необходимым для пайки радиаторов и других работ. Газ производился тут же из карбида и подавался по трубам в цеха. Жил Езеф на противоположном конце города и добирался на работу двумя трамваями. В один из весенних субботних дней сразу после работы он повез меня к себе домой. На мне была спецовка со знаком «ОСТ», но в сопровождении немца это не помешало мне пересечь на трамваях весь город. Возвращался я в поношенном, но чистом грубошерстном пиджаке и в светло-серых в елочку широких брюках с манжетами, которые, в общем-то, полагалось застегивать над щиколоткой напуском на носки-гольфы или краги. Я же, за неимением ни того ни другого, надел их, как обычные брюки, застегнув манжеты у самых косточек. Пошел дождик, и Езеф снабдил меня старым прорезиненным плащом-накидкой и широкополой фетровой шляпой. Когда я в таком живописном наряде, благополучно завершив свой путь по вечернему городу и через лагерный забор, предстал перед своими товарищами по комнате, они чуть не лишились дара речи, а затем разразились гомерическим смехом. В моем наряде не хватало только шпаги. И все-таки смех был вызван скорее неожиданностью зрелища, поскольку экстравагантность нашей случайно добытой одежды никого не удивляла. У Езефа

меня накормили, и это было достаточной платой за работу. Остальное следовало отнести на счет благотворительности его симпатичной и доброй жены, которая рассказала мне об их единственном сыне — солдате, который был все еще жив только потому, как она полагала, что не попал на Восточный фронт.

Уже зимой 1943 года наш лагерь был обнесен высоким деревянным забором, секции которого состояли из реек, образующих ромбообразные клетки-решетку, облегчавшую его преодоление. Поверх забора была натянута в два ряда проволока, обычная, не колючая, преодоление затруднявшая. Перелезть через забор, хоть и высокий, было сравнительно легко, но сделать это быстро не удавалось, а очень хотелось, потому что охрана держала забор под контролем: могла появиться в любую минуту и выстрелить без предупреждения.

Серые брюки в елочку с манжетами под гольфы я носить не стал, а променял — с доплатой — на туфли, которые носил до самой репатриации, периодически ремонтируя их собственноручно у нас в мастерской (немцы не возражали).

Иногда режим в лагере резко ужесточался безо всякой видимой причины. Тогда свободный вход и выход разрешали только по воскресеньям, а то и вовсе запрещали. А в бараках устраивались бесконечные проверки.

А ослабление режима наступало, как правило, после сильных бомбежек авиацией союзников. На немецкую землю надвигалось возмездие.

ВОЗМЕЗДИЕ

Значительное ослабление режима наступило после поражения немцев на Курской дуге.

Тогда же Езеф зазвал меня к себе в свои газовые чертоги, тщательно проверил, нет ли кого поблизости, и спросил, будут ли русские, когда придут в Штутгарт, отправлять немцев в Сибирь. Я выразил сомнение в том, что наши войска могут оказаться на юго-западе Германии, но Езеф в этом ни минуты не

сомневался, и его волновал лишь вопрос возмездия, которое неминуемо падет на головы всех немцев, а значит, и на его седую голову. Я не считал, что возмездие ожидает всех немцев, и тем более, что все они окажутся в Сибири, и пытался успокоить его на этот счет, но по его глазам видел, что мне это почти не удалось.

Зимой 1943—1944 годов я с удовольствием наблюдал, как теряют душевное равновесие немцы. Линия Восточного фронта была еще где-то там, далеко, а до высадки союзников в Нормандии оставалось еще полгода, но поражение неуклонно приближалось к рубежам Германии. Обещания Геббельса, что русским никогда не одолеть Восточного вала, воздвигаемого немцами вдоль Днепра, не сбылись. Воздушные налеты англичан и американцев участились и становились все более беспощадными. Все чаще завывали по ночам сирены воздушной тревоги и громыхали зенитки. По ночам, разбуженные воем сирен, самые слабонервные вскакивали с постелей и убегали из лагеря. Лагерные власти им препятствий не чинили. Но Штутгарт оставался до времени нетронутым.

Мы с Иваном не покидали своих постелей, хотя и не спали, вслушиваясь в темноту за стенами барака. Когда грохот становился внушительным, кто-нибудь из нас выскакивал на крыльцо поглядеть, что происходит в небе и вокруг. Для нас этот вой и грохот звучал подобно музыке, и я с удовольствием прислушивался к глухому рокоту пролетающих над нами воздушных армад, нетерпеливо ожидая того часа, когда их удары обрушатся на Штутгарт.

Наконец, налет осенней ночью 1943 года¹ поднял-таки с постелей всех. Мы долежались до того, что стали ходуном ходить стены и наши двухэтажные деревянные койки. Когда мы, наскоро одевшись, выбежали из тьмы барака, два сосед-

¹ По всей видимости, имеется в виду налет британской авиации 8.10.1943 г. Начался в первом часу ночи и продолжился в течение 50 минут. Унес 104 жизни.

них блока уже пылали. Великолепными разноцветными фонтанами огня играли зажигательные бомбы, похожие на огромные граненые карандаши. Расчлененный на секции лагерный забор лежал на земле. А совсем недалеко одна за другой, сотрясая воздух, рвались бомбы. «А ты не трус, Леня», — сказал Иван, когда мы углубились в лес, в противоположную от рвущихся бомб сторону. Я рассмеялся в ответ, потому что те же самые слова в адрес Ивана готовы были сорваться и у меня с языка. Я понимал, что Иван подозревал во мне труса, после того как я отказывался от его планов бегства.

В ту осеннюю ночь основательно пострадал Штутгарт-Фейербах. А в начале 1944 года авиация союзников нанесла такой удар по городу, что утром полнеба до самого горизонта было закрыто густым черным дымом¹. На нашем Верк-1 как ветром сдуло большой одноэтажный цех, а наш восстановленный после предыдущей бомбежки лагерный забор оказался по ту сторону асфальтовой дороги, у края леса. Но был он отнесен не взрывной волной, а руками остарбайтеров. И много дней никто не принимался за восстановление забора, что было совсем не похоже на немцев.

С этим налетом совпало резкое похолодание. Температура опустилась до —6, выпал снег. Такого при нас в Штутгарте еще не бывало. Снег с морозом стал дополнительным бедствием в разбомбленном городе.

Когда рассвело, всех, кто был на заводе, заставили разбирать останки искореженного, сметенного взрывной волной цеха. На холодном ветру, под снегопадом работать было неуютно, но душу согревал вид застилающей полнеба завесы дыма над Штутгартом а также горячий эрзац-кофе, которым угощали нас наравне с немцами. Это было нечто невиданное: немка у всех на глазах раздаст кофе в бумажных стаканчиках иностранным рабочим и военнопленным французам!

¹ Имеется в виду более чем часовой налет на Фейербах и Бад-Канштадт, состоявшийся 21 февраля 1944 и унесший жизни 160 чел. Начался в 3.57 и закончился в 5.09. В налете участвовало около 1000 бомбардировщиков

От этой бомбежки больше всего досталось жилым кварталам, хотя пострадали и промышленные предприятия. Излюбленным приемом бомбежек союзников был метод квадратов, или «ковра». Бомбардировщики прилетали мощными армадами, по двести-триста самолетов, и с большой высоты, недостижимой для зенитного огня, высыпали свои бомбы над определенным квадратом города, так что там практически ничего не оставалось. А чтобы затруднить спасательные и другие работы, сбрасывали десяток-другой бомб замедленного действия, которые взрывались неожиданно, по одной, через несколько часов или несколько суток.

Бомбежки стали подлинным кошмаром Германии. Немецкие газеты называли американских летчиков не иначе как гангстерами, бомбящими не военные объекты, а лишаящими жизни и крова мирное, ни в чем не повинное гражданское население. При этом геббельсовская пропаганда, видимо, подразумевала, что массовое уничтожение ни в чем не повинных людей является исключительной привилегией немецкого вермахта и гестаповских людоедов в концлагерях, покрывших густой сетью Германию, Австрию и Польшу.

С весны 44-го года сирены воздушной тревоги завывали днем и ночью, по несколько раз в сутки, предприятия прекращали работу, весь персонал уходил в бомбоубежища. На всех предприятиях дежурили по ночам команды противовоздушной обороны, а у нас, на Верк-1, им в помощь на субботу и воскресенье назначалось по десять остарбайтеров, так как немцев для дежурств просто не хватало. Дежурить нам приходилось примерно раз в месяц. Для нас отвели большую, смежную с заводской проходной комнату. Приятно было ночевать вне лагеря, и просыпаться в понедельник на работу можно было значительно позже.

Раза два, когда наши дежурства совпадали, я встречал там своего «шефа» Глязера. Он являлся на дежурство, как на праздник, в лучшем своем костюме-тройке, темно-сером, в едва заметную полоску. В зубах у него была большая сигара (по будням он курил дешевые сигареты), а на животе поблескивала золотая цепочка карманных часов. У этого рабочего человека с умелыми мозоли-

стыми руками, в совершенстве владевшего специальностями слесаря, кровельщика, жестянщика, сантехника, сварщика, кузнеца, человека неглупого, наделенного чувством юмора, была забавная слабость: он любил изобразить из себя такого богатого господина с дорогими запонками, золотыми часами, пускающего в потолок кольца пахучего сигарного дыма.

После новогоднего налета американцы не бомбили Штутгарт до самого лета. Нам нередко приходилось наблюдать серебрищиеся высоко в небе, словно стаи рыбок в аквариуме, плывущие в недостижимости зенитных разрывов воздушные армады. И каждый раз новые населенные пункты принимали на себя их уничтожающие удары.

Весной нас перевели в небольшой лагерь, построенный специально для своих остарбайтеров фирмой «Юлиус Фридрих Бер» недалеко от Верк-II. Для нас это было радостное событие, лучше любого праздника; его можно было бы назвать «Избавление» — от клопов (а еще — от издевательств и мордобоя лагерфюрера Майера)! Клопы появились в наших блоках лагеря «Шлетвизе» весной 1943 года. Барак был деревянным, и клопов становилось все больше и больше, они были настоящим кошмаром. Летом администрация провела дезинфекцию, отселив нас на сутки (суббота—воскресенье) на территорию Верк-II, где организовала для нас баню и химическую обработку нашей одежды и всех личных вещей. Блоки барака заполнили густым едким синим дымом, остатки которого еще неделю раздражали наши носоглотки¹. Дезинфекция помогла, но совсем ненадолго.

В новом лагере бараки были шлакоблочными, чуть поприместей, без крылечек, оштукатуренные и побеленные изнутри известью. Во всем прочем комнаты ничем не отличались от покинутых нами. Лагерь состоял из трех барачных блоков для рабочих и пищеблока, был компактным, обнесен проволоочной сеткой с двумя выходами на разные улицы. Выходы охрана

¹ Весьма вероятно, что для дезинфекции использовался газ-инсектицид «Циклон А». Его разновидностью, газом «Циклон Б», умерщвляли людей в газовых камерах Аушвица-Биркенау.

не закрывала. Покидать лагерь запрещалось только с вечера до утра. Рядом с пищеблоком возле забора было устроено подобие летней кухни под открытым небом, где на кирпичном основании с незакрывающимися отверстиями для топок были уложены чугунные плиты с конфорками. Такая печь вполне устраивала тех, у кого изредка появлялась возможность что-либо приготовить для себя сверх скудного ежедневного рациона.

Теперь нам разрешали ходить на работу вне строя. Тем не менее никто не опаздывал, хотя никто и не предупреждал нас и не напоминал об этом.

Вместе с нами в лагере поселили человек около сорока поляков, мужчин и женщин, привезенных в Германию из Варшавы после подавления знаменитого восстания. Поляки возмущались невмешательством Сталина, позволившего немцам утопить в крови и сжечь город, под стенами которого за рекой стояли советские войска.

Неподалеку от лагеря немцы строили новое бомбоубежище, зарываясь в семидесятиметровую горку тремя параллельными штольнями. Горка была сплошь покрыта небольшими садами-виноградниками, обнесенными такими же сетками-заборами, как и наш небольшой лагерь. К концу лета штольни уже соединялись коридором, вдоль которого тянулись длинные деревянные скамейки. Коридор неярко освещался электричеством. Во время ночных налетов нам разрешалось пользоваться этим еще недостроенным бомбоубежищем.

А в одну из июньских ночей произошел последний налет на Штутгарт, самый мощный¹. Все началось с подвешенных самолетами осветительных бомб и пылающих в воздухе разными цветами фосфорных пластинок. Самолеты оказались

¹ В июне налетов на Штутгарт не было. По всей видимости, в виду имеется сложносоставной налет на центр города почти 2000 самолетов, состоявшийся 25—29 июля 1944. Число жертв этого налета приближалось к 10 000 чел. Бомбардировки Штутгарта продолжались до апреля 1945. (http://www.von-zeit-zu-zeit.de/index.php?template=bericht&media_id=1133).

над городом, когда еще не смолкли сирены воздушной тревоги, а жители не успели укрыться в бомбоубежищах. Особенно сильно досталось центральным районам города, которые превратились в сплошные руины, похоронившие под собой не менее десяти тысяч жителей. Город рушился и полыхал, а с неба градом сыпались все новые и новые бомбы.

Все это ужасающе-грандиозное зрелище я наблюдал с территории нашего лагеря. В районе лагеря взорвалось десятка два бомб, были пробиты и взорваны проходящие под уличной мостовой канализационные тоннели. Земля уходила из-под ног, мне жутковато было стоять на открытом пространстве, озаренном, как днем, среди сотрясающих землю и воздух мощных взрывов. С любой точки зрения то, чем я был занят в этот момент, стоя у лагерных ворот, не делало чести ни моему благоразумию, ни здравому смыслу. В бараках оставались считанные люди, кто хотел, давно уже укрылся в бомбоубежище.

Я весь оказался во власти эмоций: грудь мою распирала волна радости, подавившая все соображения, чувства и страхи. Конечно, с трехкилометрового расстояния я не мог видеть ни рушащихся кварталов в центре города, ни улиц, ни людей. Я мог только догадываться о масштабах разрушений и пожаров по величине и силе зарева, стоявшего над городом, и по мощности сотрясавших землю взрывов. О десяти тысячах погибших я узнал только утром, на заводе.

Я не испытывал тотальной ненависти к немцам, не жаждал их крови или поголовного истребления всех немцев в ответ на гитлеровское «окончательное решение еврейского вопроса». Я не смог бы на полном ходу врезаться на танке в немецкий домик, не мог бы и пальцем тронуть немецкого ребенка, даже из тех, кто бросал в нас камешками, когда наша оскорбляющая эстетическое чувство колонна двигалась по городу после работы. Дети оставались для меня просто детьми, достойными и любви, и жалости.

Но во мне было достаточно ожесточения и ненависти, чтобы пристрелить, не колеблясь, лагерфюрера Майера или

эсэсовца Освальда, имевшего на заводе свой кабинет и курировавшего все вопросы, касающиеся военнопленных и восточных рабочих, или некоторых других «сверхчеловеков», которых я уже не мог воспринимать как представителей рода человеческого. А число гибнущих на войне немцев я не воспринимал сердцем, но лишь как положительный показатель статистики.

Почему мою грудь распирало чувство удовлетворения, когда пылали и рушились немецкие города, отчего не сжималось сердце жалостью, когда я узнавал о гибели тысяч жителей этих городов? Видимо, потому, что в первую очередь во мне торжествовало чувство справедливого возмездия. Я полагал, что только так можно выбить из миллионов оболваненных и опьяненных угаром легких побед голов убежденность о правомерности войны, о праве высшей расы на господство в мире людей, о необходимости завоевания жизненного пространства, о жестокости и бесчеловечности по отношению к другим народам. Эти миллионы одурманенных преступной моралью голов должны были испытать на себе весь ужас войны, всю ее трагичность и недопустимость, бессмысленность и бесчеловечность, чтобы раз и навсегда отказаться от мысли о ее полезности или необходимости, от представления, что в ней нет ничего, с чем не могла бы мириться их совесть. Эти ковровые бомбежки как бы говорили каждому немцу: ты хотел войны — так получи ее на свою голову во всем ее великолепии и блеске.

А военных, пользовавшихся тактикой ковра, пожалуй, лишь в последнюю очередь занимали вопросы возмездия. Им важно было с наименьшими для себя потерями поставить немцев на колени, заставить их психологически капитулировать еще до того, как капитулирует военно-политическая система нацистского государства.

Американцев не очень-то волновали соображения справедливости. Мы убедились в этом впоследствии, когда наблюдали, как вела себя их военная администрация на оккупированной территории. В плену оказывались только не-

мецкие солдаты и офицеры (да и то не все), а всевозможные фюреры, ляйтеры, эсэсовцы, гестаповцы, мучившие и убивавшие, душившие и сжигавшие, разгуливали на свободе или прятались где-нибудь в неразбомбленных живописных уголках Германии, убрав подальше от людских глаз свои черные и коричневые мундиры со свастиками на рукавах и человеческими черепами в петлицах и на кокардах. Они боялись попадаться на глаза не чинам военной оккупационной администрации, а своим вчерашним жертвам, хорошо знавшим их подлинное звериное лицо. Они боялись нас, получивших свободу и еще не успевших покинуть Германию, тех, кто жаждал справедливого возмездия, и не «рано или поздно», а сегодня, сейчас!

Наиболее нетерпеливые и горячие головы организовали нечто вроде летучего отряда мстителей, выносивших смертный приговор тому или иному из лагерных эсэсовцев и приводивших его в исполнение. Подобные действия оккупационные власти никак не поощряли, и мстителям надо было проявлять максимум осмотрительности и изобретательности, чтобы себя не обнаружить.

Чтобы выманить из деревни, где он скрывался, лагерфюрера Майера, отрастившего для маскировки бороду, ему сказали, что многим обитателям лагеря требуются справки об их проживании в лагере Шлетвизе и что такие справки без его подписи недействительны. Майер поверил и отправился в Штутгарт на приехавшей за ним машине. По дороге его пристрелили те, кто за ним приехал.

«ВАГ ДАМ, ВАГ ДАМ, ВАГ ДАМ!»

Наступал 1945 год. По всему было видно, что он станет последним годом этой кошмарной войны, и все-таки не верилось, что счастливый день ее окончания уже близок и что я до него доживу.

А ночь, которой год начинался, никак нельзя было назвать радостной или веселой. Вместе с годом 1944-м кончался оче-

редной голодный день и вечер в долгой цепи подобных дней и вечеров.

И все-таки многое изменилось, если не в нашей жизни, то вокруг нас. Красная Армия была уже в Польше. Сотни немецких населенных пунктов были превращены в груды развалин и совсем не походили на те безмятежные ухоженные города, которые мы наблюдали осенью 1942 года в приоткрытую дверь товарного вагона. За все это, конечно же, полагалось выпить в эту новогоднюю ночь. Мы не спали, время близилось к двенадцати, когда Андрей Михайлец объявил, что у него есть бутылка шнапса. Но не было никакой еды, закусить шнапс было нечем, Андрей не предупредил нас вечером, чтобы мы не спешили проглотить свои пайки эрзац-хлеба. Почти все мы имели обыкновение съесть свою завтрашнюю пайку хлеба вместе со скудным ужином, потому что, во-первых, уж очень есть хотелось, а во-вторых, до следующего утра вполне можно было и не дожить, и тогда — не смешно ли? — пайка хлеба тебя переживет. Андрей и сам не знал, что раздобудет шнапс к вечеру. Он тоже съел свою завтрашнюю пайку хлеба перед тем, как собрался к немцу, которому еженедельно помогал гнать шнапс и у которого впервые получил за свои труды такой королевский подарок — бутылку шнапса в канун Нового года. (Немец гнал шнапс вполне легально и сдавал его куда-то за определенную плату.)

У кого-то из нас все-таки нашлась небольшая луковица. И когда время вплотную подошло к двенадцати, мы разделили поровну луковицу и шнапс и выпили за скорую победу и чтобы до нее дожить. Теперь об этом можно было уже всерьез пометать.

Бутылка шнапса, оказавшаяся у Андрея, была, видимо, не единственной в лагере в эту ночь. Во всех бараках горел свет, такое послабление режима (свет всегда выключался в наших комнатах общим рубильником в 23.00) исходило от дежуривших в ту ночь вахманов — двух молодых швейцарцев, недавно нанятых фирмой. Вскоре после полуночи эти швейцарцы появились на пороге нашей комнаты, не закрыв за собой дверь,

грубо нарушая тем самым правила светомаскировки. Были они изрядно под хмельком и пожаловали с самым добрым намерением: поздравить нас с Новым годом, для чего избрали очень простой способ — немудреную швейцарскую песенку, которая исполнялась под губную гармошку и смысл которой легко угадывался даже теми, кто не знал их языка:

*Ваг дам муш ту нихт трурих зин,
Ваг дам, ваг дам, ваг дам!*

*(Из-за этого ты не должен печалиться,
Из-за этого, из-за этого, из-за этого!)*

Повторив песенку троекратно, они в знак приветствия сняли свои вахманские фуражки, поклонились и ушли. С этим новогодним поздравлением швейцарцы заходили в каждую комнату. Поведение вахманов нас приятно ошеломило, при желании его можно было считать хорошим новогодним предзнаменованием. И мы уже напевали у себя в комнате: «Ваг дам муш ту нихт трурих зин...»

Та ночь запомнилась мне на всю жизнь. И на всю жизнь запомнился разговор, который состоялся между Андреем и мной, когда почти все уже улеглись. Подсевши ко мне поближе, Андрей сказал:

— А ты молодец, Леня, какой же ты молодец! — и при этом пристально и ласково поглядел мне в глаза. В словах его был такой многозначительный подтекст, что у меня не было ни малейших сомнений о тайном смысле сказанного.

Но в моих глазах он, видимо, ничего не прочел. Сказалась выработанная за годы привычка не выдавать себя даже взглядом. И Андрей добавил:

— Ты меня понимаешь, Леня, понимаешь?!

Я не решался произнести вслух даже самое короткое слово подтверждения, но теперь взгляд мой, видимо, что-то сказал ему. Андрей — тонкая душа, — не дав затянуться паузе, нашел выход из щекотливого положения:

— Если понял — дай пять! — торжественно заключил он, протянув мне руку. Рукопожатие выразило все, чего мы не могли сказать словами. В глазах у Андрея стояли слезы. Для меня это было великим мгновением и останется таким навсегда.

19 АПРЕЛЯ

После Нового года время побежало быстрее: все чаще приходили хорошие вести с фронтов, приближавшихся к нам с востока и с запада.

Но вместе с ними приближалась и очередная опасность: поговаривали о том, что немцы перед лицом наступающих советских войск перегоняют с востока на запад советских военнопленных и остарбайтеров. Говорили также, что эсэсовцы часто истребляют их, загоняя для этого во всевозможные шахты, тоннели и другие подземелья. Было о чем задуматься.

Для меня время покатило быстрее еще и потому, что с лета 1944-го мой шеф Глязер все чаще уводил меня с завода в город, где мы занимались ремонтом крыш и разного оборудования и сантехники. Необходимость в таких работах возникала, главным образом, в результате авианалетов. В качестве сантехников навещались мы также периодически на кухню, где готовили пищу для военнопленных французов и для остарбайтеров фирмы «Бер».

Однажды мы даже побывали на вилле хозяина фирмы. Было это после той грандиозной бомбежки, когда в городе за ночь погибло десять тысяч человек. На этот раз нам предстояло отремонтировать подъемный механизм, с помощью которого убиралась в подвал и поднималась на террасу тяжелая стеклянная стенка-окно первого этажа, отделявшее холл от открытой летней террасы.

Вилла «Бер», расположенная на отшибе, в одном из лучших уголков города, не пострадала. Попастъ сюда можно было в автомобиле, на велосипеде или минут за тридцать пешком от трамвая. Мы с Глязером добирались пешком.

Большую часть рабочего времени мы провели в подвале, где, между прочим, обнаружили внушительный погреб выдержанных марочных вин в бутылках, сложенных штабелями и отгороженных стальной решеткой, настолько частой, что извлечь оттуда бутылку было невозможно (напрасно Глязер пытался это сделать с помощью отверток).

Во дворе, сидя в шезлонге, загорала на солнце хозяйка виллы, раздетая до бикини и окликнувшая нас, когда мы оказались на гравиевой дорожке в поле ее зрения. Она одарила моего шефа улыбкой и короткой беседой, и мне забавно было наблюдать, как старик из кожи вон лезет, чтоб понаравится фрау Бер.

Удостоенный беседы, Глязер весь день пребывал в приподнятом настроении, выразившемся в чрезмерной болтливости и шутках, которые, главным образом, сводились к тому, как бы я поступил с молодой (она была мне ровесницей) фрау Бер, окажись она вдруг со мной наедине и без бикини.

Тем же летом мы с Глязером совершили путешествие в мебельном фургоне. Утром его куда-то вызвали, а возвратившись, он бросил все дела, приказал помыть руки, и я догадался, что мы собираемся в Штутгарт. Странно было, что на сей раз мы не взяли с собой никакого инструмента. Но я уже давно перестал удивляться, а вопросов вообще никогда не задавал. В городе, выйдя из трамвая, мы очень скоро оказались в каком-то дворе и через служебный вход зашли в ресторан, где нас встретил толстячок лет сорока, видимо, хорошо знакомый Глязеру. Втроем мы уселись за столик в пустом ресторанном зале с зашторенными окнами, где нам подали бутылку сухого красного вина и накормили супом и сосисками с картофельным пюре. Пили без тостов, под «прозит»¹, а то, что осталось в бутылке к концу обеда, было предложено допить мне одному. Я не отказался, стараясь поддержать сложившуюся о русских репутацию.

¹ «На здоровье».

Когда мы вышли из ресторана, нас уже ожидал большой мебельный фургон. Немцы уселись в кабину, а я забрался в кузов. Минут через десять езды мы вышли у двухэтажного флигеля, толстячок проводил нас на второй этаж, откуда мы с Глязером погрузили в фургон мебельный гарнитур, оказавшийся весьма громоздким и тяжелым. Было ясно, что кто-то спасает свою мебель от бомбежек.

Сидя в фургоне на диване, я не видел дороги, по которой мы ехали, а наблюдал лишь столбы и провода, мелькавшие в небольшом окошечке под самой крышей. Часа через полтора мы приехали в один из деревенских уголков Баварии. Особенно, в который мы носили мебель, ничуть не уступал Штутгартскому и, должно быть, принадлежал литератору или ученому, такая там была библиотека.

Дни, проведенные подобным образом, мелькали быстрее, и время ускоряло свой бег. Вскоре после памятной новогодней ночи французы сообщили, что союзные войска взяли Страсбург, т.е. вышли на границу Франции с Германией и находятся в ста километрах от Штутгарта. Однако на преодоление этого расстояния им потребовалось еще около трех месяцев.

С конца февраля до нас все чаще докатывались отзвуки артиллерийского гула, а через месяц завод был практически остановлен, почти всех рабочих-немцев мобилизовали в *фольксштурм* (что-то на манер ополчения)¹, а нас, по распоряжению Освальда, перестали кормить и выпускать из лагеря. На завод мы больше не ходили, но в апреле по утрам за нами стали приходить военные и водить нас на строительство укреплений: город готовили к обороне и уличным боям. На работе нами командовали офицеры, заставляли все делать обстоятельно, учитывали каждую мелочь, и было ясно, что укрепления эти они готовят для своих же подразделений, стараясь сделать их понадежней и поудобней для себя. Мы на голодный желудок рыли окопы, таскали и укладывали камни и шпалы, работа отнимала последние силы.

¹ Фольксштурм.

Весть о смерти Рузвельта¹ дошла до нас в теплый апрельский день, когда мы возводили укрепления в одном из многочисленных парков, раскинувшихся на высоком холме в районе Штутгарт-Фейербах. Сообщил нам об этом с великой радостью старший лейтенант, распоряжавшийся нами в тот день. Казалось, у него в связи со смертью американского президента появилась надежда на неожиданный поворот в ходе войны, но чуда, конечно, не произошло.

Через неделю нас перестали забирать на работу, и мы оказались запертыми в лагере, откуда даже не просматривалась проходящая рядом улица и железнодорожное полотно. Только Павлик Бриллиант и Вася Шумилов продолжали работать на кухне, куда их по утрам увозил грузовичок (военнопленных французов продолжали кормить). Вечерами они возвращались из Фейербаха и делились с нами своими небогатыми наблюдениями. Город опустел, на улицах редко встречались прохожие, трамваи и поезда не ходили, даже военные не часто попадались на глаза.

Утром восемнадцатого апреля ворота лагеря неожиданно оказались открытыми настежь и без охраны. Над крышами города на бреющем полете проносились американские самолеты. Можно было рассмотреть лица летчиков, преимущественно чернокожих. Самолеты постреливали из бортовых пушек, изредка сбрасывали бомбы на железную дорогу.

Охрану лагеря символически представлял самый старший по возрасту из вахманов, крепкий, высокий и широкоплечий старик, никогда не носивший форменной одежды, но по всем признакам профессиональный полицейский. Вахман предложил всем переселиться из лагеря в бомбоубежище, недавно вырытое в горе. Мы решили выполнить распоряжение вахмана лишь наполовину: лагерь покинули, но расположились не в бомбоубежище, а на просторной площадке перед ним.

Был теплый солнечный день. К бомбоубежищу тянулась пестрая процессия обитателей лагеря. Никто не опасался пролетающих над нами американцев.

¹ 19 апреля 1945.

По дороге в бомбоубежище я обратил внимание на железнодорожную насыпь, находившуюся по другую сторону улицы. Здесь не более десяти дней назад мы строили хорошо замаскированную огневую точку. Сейчас там не было видно ни одного солдата и никакой техники. Вполне можно было предположить, что немцы отказались от обороны города, что уличных боев не будет. Возможно, в городе даже не было сколько-нибудь значительного количества войск. Лишь изредка по дороге вдоль насыпи проносились военные авто, преимущественно легковые, на переднем крыле или на капоте которых располагался солдат с автоматом или ручным пулеметом, ведя наблюдение за «воздухом». Опасений, что вдруг появятся вооруженные эсэсовцы, загонят нас в бомбоубежище и уничтожат, с каждым часом становилось все меньше (такие опасения возникли не на голом месте: когда Восточный фронт пересек границы Германии, подобные операции по отношению к военнопленным и узникам концлагерей проводились на востоке страны). Взоры наши были обращены на дорогу, но американцы так и не появились. Ворота лагеря весь день оставались открытыми настежь.

Мы с Иваном твердо решили ночевать в лагере, на своих постелях, а не коротать ночь в бомбоубежище или под открытым небом на траве. Когда мы оказались в своей комнате, дверь открылась и вошел вахман, тот самый. Видимо, он так и не сменялся с самого утра. Он встал у стола, и фигура его освещалась сзади из двух незакрытых ставнями окон: на дворе было еще светло. Мы не сомневались, что рука его сжимает в кармане пистолет. Он спросил, что нам здесь надо. Мы спокойно ответили, что будем ложиться спать. Как бы в подтверждение наших слов захлопали двери других комнат. Люди возвращались в лагерь на ночлег. Вахман ушел, ничего больше не сказав.

На улице совсем стемнело, ставни были закрыты, включен свет.

Мне не спалось и не сиделось в душном бараке. Я вышел во двор. В полном одиночестве и тишине я прошел до ворот. Их никто так и не закрыл. Меня неудержимо тянуло на улицу. За полминуты я преодолел тропинку в траве и оказался на уличном асфальте. И тут затрещали две автоматные очереди и просвистело несколько пуль. Я оказался под прикрытием ствола огромного ясеня, росшего у самого асфальта. Выстрелы повторились — пули просвистели снова. Не желая наткнуться на шальную пулю, я вернулся в лагерь.

Шум и смех в соседней комнате привлек наше внимание. Оказалось, это возвратился из «разведки» Вася Цвинтарный. Его рейд из ворот в противоположном конце лагеря был более удачным, чем мой. Он побывал в немецкой казарме, которую уже заняли американские солдаты. Наглядным подтверждением его рассказа был кусок полученной от американцев колбасы, которой он уже успел с кем-то поделиться.

Голодные и счастливые, мы уснули только перед рассветом 19 апреля 1945 года — Дня нашего Освобождения.

ДЕСЯТЬ СУТОК СВОБОДЫ

Наутро я отправился в Штутгарт-Фейербах. Мне не терпелось своими глазами увидеть первый день свободы в городе.

Минут через двадцать я был уже на улице, где располагались большие магазины и кухня, готовившая пищу для нас и французов-военнопленных, где мы с Глязером иногда ремонтировали сантехнику и Глязер в благодарность получал рюмочку шнапса величиной с наперсток. По дороге я не встретил ни одного человека, хотя было уже около девяти утра. И еще меня поразила свежая зелень травы. Впервые за два с половиной года в Штутгарте я *увидел* траву.

Все магазины были закрыты, витрины пусты. У тротуара, загораживая половину неширокой дороги, стоял бронетранспортер с белыми пятиконечными звездами на броне. Такую машину я видел впервые, не знал ее названия, она была наглухо задраена и казалась предметом, забытым здесь инопланетя-

нами. Машина привлекла внимание еще двух любопытных, непонятно откуда возникших на улице. Сосредотачивающихся возле нереального предмета и ожидающих событий становилось все больше, некоторые постукивали по глухой броне костяшками пальцев. Нужно ли говорить, что среди собравшихся не было ни одного немца? На безлюдной улице мы выглядели уже как толпа, когда откуда-то появился вооруженный французский сержант. Меня удивила выструганная из дерева граната, которую он держал в руке. Громким восклицанием сержант приветствовал нас и тут же запустил деревянной гранатой в пустую витрину булочной.

Наша голодная толпа ворвалась в магазин, перед нами тут же возник перепуганный хозяин, быстро открывший застекленную дверь, чтобы и она не пострадала от запуска гранаты. Немец клялся и божился, что хлеба нет в булочной уже третий день. Посещение другого и третьего магазинов привели к тому же результату, с той только разницей, что хозяева открывали двери до того, как была пущена граната.

Наконец в одном из продовольственных магазинов удалось кое-чем поживиться. Мне достался полотняный кулек крупы с витрины. Ужасно хотелось есть, и я понес крупу в лагерь, чтобы сварить кашу.

А там уже успели разобрать из кладовой пищеблока хлеб. Ивану досталось несколько буханок. Когда я принялся за хлеб, кто-то увидел в окне человека, несущего на плече половину свиной туши. Оказалось, что совсем рядом французские солдаты, охранявшие холодильник, раздают русским свинину, по полтуши на брата. Через полчаса мы все уплетали свинину, очень вкусную и сытную.

Пьянящий ветер свободы кружил мне голову и гнал из-за осточертевшей лагерной проволоки. По улице уже двигались американские войска на автомобилях, больших и малых. Огромные открытые фургоны везли немецких военнопленных. С бешеной скоростью проносились «студебекеры», «джипы» и «виллисы». Среди американцев поражало

большое количество негров. Я шагнул к центру Штутгарта, но так туда и не попал, потому что внимание мое привлек железнодорожный пакгауз с небольшой дверью в верхнем углу громадной глухой стены, куда вела прямая металлическая лестница. У входа на лестницу стоял американский солдат в каске с широкой белой полосой и большими буквами MP, что расшифровывалось как Military Police — военная полиция. По мере того как выходили из дверей и спускались по крутой лестнице люди, груженные какой-то ношей, солдат пропускал желающих проникнуть в заветную дверь. Через несколько минут я тоже проник внутрь пакгауза, который оказался ничем иным, как винным складом, где, кроме больших стеллажей с лежащими на них бутылками вина, были еще и огромные бочки в нижнем помещении, куда я спустился было и откуда поскорей унес ноги, потому что там ходили по щиколотку в вине, а кто-то уже лежал на полу. Вернувшись к стеллажам, я положил в мешок столько бутылок разных размеров и конфигурации, сколько мог унести.

На обратном пути я отдыхал несколько раз, но ни от одной из бутылок не освободился. Помогли мне это сделать два французских солдата, заинтересовавшихся содержимым моего мешка. Выяснив, кто я такой, они стали пожимать мне руку, поздравлять с освобождением и благодарить за вино. Они же сообщили, что Штутгарт заняла 1-я французская армия при поддержке американцев и что городом распоряжается французский комендант. Теперь стало понятно, почему утром бил витрины деревянной гранатой француз, а рядом с нашим лагерем французы раздавали свинину.

В лагере мое вино ожидаемого впечатления не произвело, так как в углу у дверей стояла сорокалитровая бутылка спирта, настоящего на лимонах, а за столом уже не было ни одного трезвого человека. Через несколько минут я тоже не отличался в этом смысле от всех остальных.

С этого памятного дня ни за едой, ни за выпивкой мы больше никуда не ходили. И я не мог толком понять, откуда

появляется все это в изобилии на столах, за которыми ни днем, ни ночью не прерывался пир, не смолкали бесконечные разговоры и песни. Кто-то сидел за столом, кто-то спал, кого-то иногда приходилось укладывать, а проснувшийся присоединялся к компании, бодрствующей в любое время суток при закрытых ставнях и свете электричества, так что никогда нельзя было определить, утро сейчас или вечер, день или ночь. Проснувшись в очередной раз, я почему-то захотел узнать, какое сегодня число и время суток. Из сидевших за столом никто не смог удовлетворить моего любопытства.

Я вышел из барака. На дворе был прекрасный солнечный день. У каждого, кто попадался мне на глаза, я спрашивал, какое сегодня число. Некоторые отвечали неуверенно, называя разные цифры, иные, как и я, не имели об этом никакого понятия. Наконец, удалось установить: сегодня 29 апреля. Прошло десять суток свободы.

Вернувшись в комнату, я отказался садиться за стол, мотивируя свой отказ почему-то тем, что послезавтра — Первое мая. Речь моя не произвела впечатления на сидевших. У меня же возникла идея отпраздновать Первое мая, хотя как это осуществить, я не очень-то себе представлял.

С ФЛАГОМ И С ПЕСНЯМИ

Взор мой наткнулся на стоящую между торцом барака и оградой грузовую автомашину. Выяснилось, что на ней уже вторую неделю возят продовольствие, которым нас аккуратно снабжают оккупационные власти, и что бóльшую часть суток грузовик простаивает. Идея отпраздновать Первое мая сразу же получила развитие: набрать полный кузов желающих, на дверцах кабины нарисовать красной краской пятиконечную звезду и буквы СССР и проехать с флагом и с песнями по улицам города.

Из картонной коробки (в таких коробках нам доставлялись продукты) я вырезал трафарет, при помощи которого нарисовал красной краской звезды и буквы «СССР» на обеих дверцах

кабины грузовика. Краску и кисть где-то раздобыл водитель машины. Красный флаг сшили из чего-то девчата, нашлась и подходящая палка для древка.

Когда утром мы собрались у машины, нас оказалось не более десяти человек. Решили никого не собирать и не ждать. Выехали ровно в десять.

По мере приближения к центру на улицах стали попадаться редкие прохожие, на перекрестках стояли американские солдаты-регулировщики в касках с белой полосой и буквами «MP». Все они приветствовали нашу импровизированную демонстрацию, улыбались, махали руками, а некоторые даже отдавали честь.

После прошлогодней летней бомбежки я не бывал в центре города и не знал, что целые его кварталы превращены в сплошные развалины с зияющими окнами немногих уцелевших каркасов домов. Это произвело на нас угнетающее впечатление, хотя мы что-то выкрикивали, пели...

Когда в начале двенадцатого мы возвратились в лагерь, возле машины собралось такое количество желающих проехать с красным знаменем по улицам Штутгарта, что в кузове поместились далеко не все. Решено было, что машина будет возвращаться в лагерь каждый час, и рейсы продолжались почти до вечера.

Несмотря на все, что мы пережили, мы все же оставались советскими людьми.

НОЧЬ ПОБЕДЫ

А 8 мая мой земляк авиатор Женя раздобыл где-то радиоприемник, и мы с ним немедленно занялись сооружением антенны на крыше барака. Лично я не слушал радио с лета 1941 года (если не считать тех нескольких раз, когда мне приходилось слышать марши и обрывки немецкого дикторского текста из радиоприемника на проходной Верк-1 во время наших воскресных дежурств в команде противовоздушной обороны).

Первое сообщение, которое мы услышали, звучало на русском языке. Мы даже решили, что слушаем Москву, но это была радиостанция «Свободная Европа» из Люксембурга. Диктор сообщал, что сегодня, 8 мая, в 23 часа в Берлине будет подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Я впервые услышал фамилии Де-Латра и Де-Тасиньи, Эйзенхауэра, Монтгомери, а также многих советских генералов и маршалов, о которых не имел ни малейшего представления. Я был доволен, что приемник появился именно в этот день, когда считанные часы отделяли мир от долгожданного мира: сегодня гитлеровские генералы, пролившие моря крови и слез сотен миллионов людей, признают себя, своего фюрера и чудовищную авантюру поверженными. А я все-таки дожил до этого дня и знаю, что все оставшиеся у меня впереди дни или годы, как бы мало или много их ни было, буду считать бесценным подарком судьбы. Я не обольщался насчет своего будущего, смутно ожидая ударов судьбы, не знал еще, живы ли мои родные и что ждет меня на Родине. Но в тот вечер будущее представлялось мне светлым, прекрасным.

Затем из многоголосия непонятной речи, музыки и шумов выкристаллизовался и голос Москвы, которая подтвердила сообщения европейских радиостанций. Было только непонятно, почему Москва, сообщая о подписании акта о капитуляции, называет другую дату: 9 мая. Потом сообразили, что когда в Берлине будет 23 часа, в Москве уже наступят новые сутки.

Я уже улегся спать, когда ночную тишину над городом взорвали залпы из всех видов оружия. Выбежав во двор, мы увидели и услышали устроенный гарнизоном в Штутгарте грандиозный салют из всего, что способно стрелять, в честь Победы над Германией. В темное небо взлетали ракеты и тысячи разноцветных траекторий трассирующих пуль. Сами звезды показались мне выстреленными только что из автоматов и ракетниц, а свет их вдруг расплылся у меня в гла-

зах. Я и не пытался сдерживать слезы, они, никем не видимые, текли у меня по щекам в ночь Победы. Да и никому не было до меня дела: все смотрели в небо, где бушевал вихрь торжества и радости, и никому не казалось странным, что тысячи взлетов человеческой радости образованы в небе теми же пулями, назначение которых сеять смерть.

«В ЭТОМ ПОВИННЫ ВЫ ВСЕ»

Сразу после праздника мне предложили работу. В Штутгарте был создан Центр по репатриации советских граждан. Центр находился в тех самых казармах (тоже в Цуффенгаузене), где обнаружил американцев Вася Цвинтарный в ночь на 19 апреля. Руководили Центром четверо бывших военнопленных офицеров, которые работали в Штутгарте-Цуффенгаузене на предприятии «Порше», принадлежавшем известному немецкому автоконструктору. Предприятие было небольшим, но важным: там конструировались и изготавливались первые образцы автомобилей, в том числе и для армии. Режим его был секретным, поэтому перед вторжением в город войск союзников служба безопасности СС решила на всякий случай расстрелять работавших на этом предприятии наших пленных офицеров. Этому помешал главный инженер завода, устроивший офицерам побег из-под самого носа эсэсовцев и, конечно, рисковавший при этом собственной жизнью.

Бежавшие офицеры благополучно добрались до Парижа, разыскали там резиденцию генерала Голикова, занимавшегося по поручению Сталина репатриацией советских граждан. Генерал имел большие полномочия, восстановил беглецов в их офицерских званиях, выдал им табельное оружие, обмундирование, снабдил всеми необходимыми документами и приказал вернуться в уже освобожденный Штутгарт, организовать там репатриационный Центр и возглавить его работу.

У новоиспеченного Центра сразу же возникли транспортные проблемы: необходимо было свозить в Штутгарт военнопленных и остарбайтеров со всех прилегающих к городу территорий, развозить продукты питания по Штутгартским лагерям и пр. Поэтому Центр организовал на базе того же завода «Порше» «Советский авторемонтный завод», где ремонтировались брошенные на дорогах автомобили. Вот на этом заводе я и стал работать. Пригласил меня туда инженер Виноградов из нашей комнаты. Ему Центр поручил руководство заводом.

Трудились мы все добровольно и бесплатно, хорошо и добросовестно. Все мы жили и кормились на заводе, где был великолепный пищеблок: полностью электрифицированная кухня, соединяющаяся с большим, светлым и нарядным залом-столовой, и погреб для мясных продуктов. Американское интендантство выдавало нам, бывшим военнопленным, по договору с правительством СССР, продовольственный рацион, такой же, как и своим военнослужащим. Сюда входили всевозможные мясные консервы (свинина, говядина, курятина), консервированные супы, бульоны, овощи, сухое молоко и яичный порошок, засахаренные фрукты, шоколад, кофе, лимонный сок, консервированная колбаса и фарши, бекон, варенья, джемы, пудинги, масло, сахар, белый хлеб, сигареты «Кэмел» и пр. Кроме того, заводское начальство снабжало нашего завхоза Сашу Похителюка наличными марками, и он периодически покупал хорошо откормленного бычка, которого доставлял к мяснику-колбаснику в Штутгарте, а тот бычка забивал и возвращал нам в виде свежего мяса, вареной колбасы и прочего. У входа в столовую всегда стоял бочонок холодного безалкогольного эрзац-пива, прекрасно утолявшего жажду. К ужину в разумных количествах подавалось сухое красное вино в графинах. Этим вином нас регулярно снабжала французская комендатура.

Времена круто изменились: теперь немцы сидели на голодном пайке. И я решил сделать сюрприз Глязеру, который иногда делился со мной куском хлеба, парой поношенной

обуви и закрывал глаза на то, что я ремонтирую ее в мастерской и в рабочее время, используя для этого кусочки приводных ремней или резиновых шлангов. Получив вместе с Похителюком в очередной раз продукцию у мясника, я попросил шофера остановиться у дома, где жил Глязер, и отнес ему на 4-й этаж кусок вареной колбасы и килограмма три мяса. Немец был потрясен такой лавиной обрушившихся на него благ. Потом он еще приходил ко мне за крупой, которая осталась у меня со дня освобождения. Я так и не успел сварить из нее каши.

В июле французскую администрацию в Штутгарте сменили американцы. Это, видимо, было связано с упорядочением и разграничением зон оккупации. Наше благополучие от этого не пострадало, разве что прекратилось регулярное снабжение вином. Впрочем, французы, уходя, позаботились довести наши запасы до пятисот литров.

В Центр начали наведываться американские офицеры. Поводом для таких посещений стали участвовавшие случаи гибели бывших эсэсовцев, лагерфюреров и прочих нацистских изуверов. А руководство нашего Центра искусно уклонялось от оказания помощи в расследовании этих фактов.

Однажды, явившись в Центр по поручению Виноградова, я оказался случайным свидетелем одного из таких посещений, а заодно и необычной сцены. Не успели удалиться ушедшие из Центра ни с чем, но с дружескими рукопожатиями и вежливыми улыбками американцы, как в кабинет вошла симпатичная парочка: вернувшийся на службу французский офицер из вчерашних военнопленных и красавица-украинка — вчерашний остарбайтер. Офицер по-военному четко отдал честь, поздоровался по-французски и обратился к старшему лейтенанту (переводила зардевшаяся красавица). Офицер просил отпустить с ним в Париж пришедшую с ним девушку, которую сегодня же обвенчает с ним полковой священник; они познакомились на предприятии в Штутгарте и уже два года любят друг друга. При этом на стол руко-

водителя Центра легла бумага — разрешение французского командования на этот брак и заявление офицера.

Как официальный представитель СССР и просто советский человек старший лейтенант был в явном замешательстве. Он стал расспрашивать невесту, хорошо ли она подумала, не пожалеет ли она потом о своем решении, и т.д., и т.п., и вскоре у девушки потекли по щекам слезы. А что скажут родные, — продолжал офицер, — и те, и другие? А если будущий муж тебя разлюбит и бросит и ты останешься одна в чужой стране, где некому будет встать на твою защиту?.. А если... а если... Тогда тебе будет только одна дорога!..

Теперь покраснел от волнения француз, а его темпераментная речь, протест и возмущение стали столь выразительными, что не нуждались в переводе (впрочем, к этому моменту переводить невеста все равно уже не могла, поскольку пребывала в полуобморочном состоянии). Француз заявил, что удивлен поведением советского офицера, ущемляющего свободу личности, берущего на себя ответственность решать судьбу другого человека! Что он — Господь Бог?! Впрочем, все это — в любезно-ироничных интонациях, не повышая тона...

После долгих пререканий, восклицаний и слез невесты старший лейтенант вынужден был уступить. Он выдал разрешение на брак и выезд во Францию гражданки Советского Союза. К этому моменту в кабинете собрался весь личный состав Центра (четыре офицера), а тут еще и мое присутствие — еще один нежелательный свидетель дипломатического ремиза...

Единственным заметным шагом американской администрации, показывавшим ее отношение к недавнему прошлому, были большие плакаты, обращенные к немецкому народу и озаглавленные примерно так: «В этом повинны вы все». На плакатах,

изготовленных весьма небрежно, были помещены нечеткие фотографии и тексты, повествующие о лагерях смерти и их миллионных жертвах.

А наш завод, до которого американцам, в общем-то, не было никакого дела, собирал первый десяток новых образцов «фольксвагенов» — новой марки автомобиля, созданной на заводе «Порше» его главным конструктором и владельцем, имя которого и было присвоено этому предприятию. Эти автомобили должны были отправиться своим ходом в Париж, в ставку генерала Голикова. Руководил работой бывший главный инженер завода, тот самый, который устроил побег нашим пленным офицерам. Чтобы ускорить дело, он предложил пригласить ранее работавших на заводе четырех высококлассных специалистов-немцев. Им стали платить зарплату и кормить в заводской столовой. Дело пошло вдвое быстрее, а немцы были довольны и очень старались. Когда их в обеденный перерыв усадили за отдельный столик, они попросили разрешения сесть за общий стол «с русскими коллегами и товарищами по классу». Просьбу удовлетворили.

Главный инженер завода «Порше» был невысоким симпатичным человеком лет семидесяти. Однажды в воскресный день он повел меня по заводу, чтобы показать свое предприятие. Особой гордостью немца было его детище: отлично оснащенное и оборудованное конструкторское бюро. Показывал он мне все это не хвастовства ради, а чтобы внушить мысль: Германия — не только государство извергов и коричневой чумы, но и культурная, цивилизованная страна, земля талантливого и трудолюбивого народа, обманутого и оказавшегося в преступных руках. Он тактично намекал, что и моя родина оказалась в подобных же руках, и он не хотел бы, чтобы в наших сердцах оставалась только ненависть к немцам и чтобы слова немец и нацист были для нас синонимами. Он так и сказал мне об этом во время нашей экскурсии.

В июне пришел к нам работать Дмитрий Маркелович Брицкий, классный автомеханик и симпатичный человек и собесед-

ник. В начале войны он был личным шофером академика Богомольца, президента Академии наук УССР. Кто-то всерьез занимался качественным пополнением наших кадров, потому что вскоре появился на заводе и бывший начальник Брицкого Григорий Ефимович Кохан. Встреча друзей-коллег была теплой и радостной, хотя и не явилась для них полной неожиданностью: их пути уже пересеклись намного раньше в одном из лагерей военнопленных. Кохан, скрывавший свою национальность, хоть и не верил, что Брицкий может его выдать (оба были еще и коммунистами), сделал так, чтобы они «случайно» потеряли друг друга из виду. Все-таки он изрядно насмотрелся, как, казалось бы, порядочные люди выдают немцам евреев. Кохан при встрече на заводе смущенно объяснял свое обидное для Брицкого поведение весьма правдоподобно, но видно было, что друга эти объяснения не убедили. Конечно, Брицкий простил Кохана, понимая жестокость обстоятельств.

В те июльские дни 1945-го стали изредка приезжать на завод из советской зоны старшие офицеры Красной Армии. Один полковник приехал, чтобы забрать ящик с технической документацией, собранной Виноградовым на заводе и, видимо, представлявшей определенную ценность для наших автомобилистов; другой полковник — чтобы получить отремонтированный для него автомобиль «Форд-8», принадлежавший ранее недоброй памяти генералу Власову и найденный нашими ребятами на дороге близ Штутгарта. Автомобиль после ремонта блеснул, как игрушка. Держались полковники официально и отстраненно, как инопланетяне, и всегда смотрели мимо нас, будто мы не существуем вовсе.

И все-таки с одним из нас полковнику, приехавшему за власовским «Фордом», пришлось познакомиться, поскольку тот уезжал вместе с ним в советскую зону оккупации в качестве водителя. Этим избранным оказался Гриша Курочкин, отличный механик и первоклассный шофер. Им предстояла дорога почти что через всю Германию. Я очень хотел узнать

дальнейшую участь Курочкина, которая во многом зависела и от полковника, но как сложилась его судьба, осталось для меня неизвестным.

Короткий и яркий период моей жизни с момента освобождения до дня репатриации оставил в моей памяти еще один эпизод, о котором я не могу не рассказать поподробней. Это было путешествие с приключениями.

ПУТЕШЕСТВИЕ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

Есть на юго-западе Германии небольшой университетский городок Тюбинген. Вряд ли я узнал бы о его существовании, если бы в находившийся там госпиталь не угодил в результате автомобильной аварии Андрей Михайлец, тот самый, который угостил нас шнапсом и с которым произошел у меня незабываемый разговор в новогоднюю ночь. У Андрея было три серьезных перелома и сотрясение мозга. Я решил непременно его проведать, но среди наших шоферов не оказалось никого, кто бы знал Андрея, а нужно было уговорить кого-нибудь из них совершить ничем не интересную поездку по незнакомой дороге в воскресный день на расстояние более ста километров в один конец. Такой добрый человек нашелся, память моя не удержала его имени. Помню только, что воевал он подо Ржевом и был сам из тех мест. Узнав о причине и цели поездки, он согласился сразу, без всяких уговоров. День был жаркий, решили ехать на «БМВ» старого выпуска, с убирающимся верхом. Набрали побольше еды, хотя и собирались к вечеру вернуться. По пути прихватили с собой Ивана Доронина.

День был погожий, дорога живописная, настроение безмятежное. Часа через полтора показался в долине старинный городок Тюбинген. Поубавили скорость, въехали в город. Не успели мы проехать по нему и километра, как из боковой улицы неожиданно выскочил на полном ходу роскошный зеленый автомобиль. Пытаясь избежать столкновения, наш водитель свернул на тротуар и, тормозя, зацепил колесом

фонарный столб и сломал себе руку, стараясь удержать руль. Зеленое великолепие затормозило сзади нас. Из него вышли французский майор и дама. Еще через минуту неизвестно откуда появились два высоких красавца в форме французской военной жандармерии. Убедившись, что мы в надежных руках, виновник аварии и его спутница, как ни в чем не бывало, умчались на своем зеленом чуде техники.

Если в результате столкновения чугунный фонарный столб ничуть не пострадал, то у нашего «БМВ» были повреждены бампер, правое переднее крыло и частично рулевое управление. Но кое-как машина руля слушалась. Все это с нашей помощью весьма оперативно установили жандармы, не менее оперативно вскочили на подножки нашего авто и приказали ехать по указываемому ими пути. Через две-три минуты мы подъехали к нарядному двухэтажному особняку — резиденции французской жандармерии. Прежде всего стало ясно, что шоферу, у которого распухла и болела рука, требуется медицинская помощь. Выяснилось также, что майор в зеленом авто был не кто иной, как начальник местного гарнизона (вот почему с такой прытью и так странно действовали жандармы!). Выяснилось также, что мы — русские, а вовсе не немцы, и приехали в Тюбинген проведать в госпитале друга, и эти обстоятельства изменили к нам отношение жандармов, которые сразу заулыбались, а сержант, нами занимавшийся, в смущении сообщил, что майор мечет громы и молнии и потому они не могут нас отпустить сразу, а лишь завтра, после соблюдения необходимых формальностей. Впрочем, мы можем свободно передвигаться по Тюбингену, поспешил добавить сержант, но только пешком.

Когда мы с Иваном появились в палате хирургического отделения, Андрей оторопел от неожиданности, а затем на глаза его навернулись слезы. Незаметно промелькнуло часа полтора, мы успели пообщаться с приятелем, а также познакомиться с санитарями-вьетнамцами — солдатами французской армии (Вьетнам был тогда Французским Индокитаем). До тех пор мы не имели представления об этом народе.

Во дворе госпиталя нас дожидался шофер с уже загипсованной рукой. Рука у него болела, но он не унывал, уверяя, что сам поведет машину в Штутгарт, когда нас отпустят.

Когда мы вернулись в жандармерию, нас пригласили на обед за празднично накрытый воскресный стол, где собралось более двадцати человек военных разных званий. Тем самым французы старались загладить незаконность того, как поступает с нами майор: ведь мы ничего противоправного не совершили, а вынуждены дожидаться следователя по транспортным делам до завтра, потому что сегодня воскресенье, выходной.

Ночевали мы на диванах в общем зале, а до вечера наблюдали, как являлись в жандармерию вызванные повестками немцы. Иных приводили под конвоем. В руках у них были сумки или баулы, в которых, видимо, находилось то, что человек берет с собой из дому при аресте. Было ясно, что прибывают они сюда на допрос, а потом их куда-то отправляют, а некоторых отпускают. Можно было предположить, что французы, не в пример американцам, активно интересуются преступлениями вчерашних нацистов.

Впрочем, мы успели убедиться в этом еще в Штутгарте сразу после освобождения. Как-то французы привезли нашего вахмана из лагеря в Шлетвизе, которому в свое время нравилось показывать над нами свою власть всевозможными издевательствами и рукоприкладством. Его случайно опознал в городе среди немцев, разбиравших развалины — результаты бомбежек, кто-то из наших товарищей. Расправа была быстрой: вахмана увезли избитого, но живого.

В понедельник мы явились к следователю. Им оказалась женщина лет тридцати, с легким акцентом свободно говорившая по-русски. Она была дочерью русского офицера-эмигранта. Выяснить обстоятельства дела не составило особого труда: они были очевидны, так как майор просто нарушил правила движения, а пострадавшими оказались только мы. Но отпустить нас француженка не могла, не позвонив

предварительно майору. Ей было не просто отстоять перед начальником гарнизона справедливую точку зрения, и все-таки сделать это она сумела.

Через полчаса мы уже ехали по той же улице мимо того же фонарного столба, но в обратном направлении. Шофер не брюзжал, не ныл, а даже посмеивался и шутил, хотя рука у него болела, а машина плохо слушалась руля. Домой мы возвратились без всяких приключений, а я в продолжение всего пути помогал ему за рулем.

А вскоре появилась возможность съездить в Париж. Туда отправлялась первая пятерка собранных на заводе «фольксвагенов». Поехал с ними наш завхоз Саша Похителюк — посмотреть Париж, а в следующий раз обещали взять меня. Съездили благополучно и возвратились с девушкой-француженкой, которую захватил с собой прогуляться Дмитрий Маркелович Брицкий.

Но следующего рейса я так и не дождался: очень хотелось узнать, остался ли кто-нибудь в живых из моих родных. Так что Париж я так и не увидел. 5 августа я навсегда покинул Штутгарт.

РЕПАТРИАЦИЯ

С тех пор я больше не видел Андрея Михайлеца и ничего о нем не знаю. Я писал ему в Чарджоу по адресу, который он мне оставил, но ответа не получил и письма мои не вернулись. В середине июля четвертым или пятым эшелонем уехал из Штутгарта Иван Доронин. Мы нежно с ним простились, обменялись домашними адресами, хотя я и не был уверен, что по этому адресу он меня найдет. А еще он передал мне свой пистолет «ТТ», который ему, не знаю где и как, удалось раздобыть. Пистолетом тогда обзавелся не он один, но в дело оружие не пускал почти никто. Не воспользовался им и я и передал перед своим отъездом Саше Похителюку. Мои письма Ивану остались без ответа, а я от него получил одно, где он сообщал, что восстановлен в звании и призван на службу, а обещанные

подробности следующим письмом до меня не дошли, хотя я и ответил на его письмо еще из Штутгарта перед самым отъездом.

7 августа 1945 года эшелон прибыл в советскую зону оккупации, на станцию Галле.

Всех прибывших мужчин сразу же построили у самой железнодорожной колеи. К нам обратился полковник, произнесший всего две фразы: в первой содержалось поздравление с возвращением, а во второй — предложение сдать оружие, если оно у кого-либо имеется. Оружия не имелось ни у кого, но полковник в этом сомневался и снова предложил сдать оружие. Прошло несколько минут напряженного молчания. Полковник поинтересовался, будем ли мы сдавать оружие или так и будем стоять и думать. Церемония встречи явно затягивалась, а всем стало ясно, что теперь уже никак нельзя признаваться и сдавать оружие, если это не было сделано с самого начала. Так и не дождавшись от нас оружия, полковник удалился. Явился старший лейтенант и через весь город провел нас на асфальтированную трассу, по которой через несколько часов пути в пешем строю мы достигли аэродрома близ города Цербст, где располагался фильтрационный лагерь. Здесь предстояло пройти фильтр-проверку армейской контрразведкой, по результатам которой одни получают почетное право продолжить службу в Красной Армии, а другие окажутся где-нибудь за колючей проволокой.

В лагере был военный распорядок, нас разбили на роты и взводы, а в ожидании допроса-проверки мы занимались строевой подготовкой, изучением устава, политзанятиями и пр.

Допроса я ожидал с каким-то нетерпением, наивная вера в торжество справедливости оставалась во мне вопреки всему. Скрывать мне было нечего.

...В палатке за столом сидел капитан средних лет. Он смотрел на меня умными, понимающими глазами, и у меня сразу же пропало ощущение допроса. Казалось, я просто рассказываю о себе человеку, которому все это очень интересно.

Он предложил мне коротко рассказать о своей службе в армии, начиная с того, как я был призван 8 декабря 1940 года, и до того момента, как я попал в плен. И я рассказал о том, как началась моя служба, как я провалился в ледяную воду и был уволен в запас второй категории, как 11 июля по второй мобилизации был вновь призван в армию, как порвал свою справку, чтоб попасть на фронт, и дней через десять уже воевал в составе 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии в селе Казачьи Лагери и был рядовым взвода связи 1-го батальона, когда попал в плен под Каховкой, где наш батальон прикрывал отступление дивизии 9 сентября 1941 года.

Когда дело дошло до анкеты и моей национальности, я впервые за эти годы заявил, что я еврей. Это не вызвало никаких «поворотов» в допросе. Капитан лишь поинтересовался, не допрашивало ли меня гестапо, а затем спросил, кто у меня остался в Киеве, когда я уходил на войну, и знаю ли я, что немцы расстреляли в Бабьем Яру 125 тысяч евреев. Я этого не знал. Затем капитан сообщил, что евреям при репатриации предоставлено право выбора, и я могу, если захочу, ехать из Германии не в Советский Союз, а в Польшу. Такая возможность меня удивила, но не заинтересовала.

Впоследствии я сообразил, что такое предложение могло быть обыкновенной провокационной ловушкой, которую капитан обязан был мне расставить по долгу службы, а уж мое дело было угодить в нее или не угодить и стать или не стать узником ГУЛАГа (этого слова я тогда, конечно, еще не знал). Затем последовал предпоследний вопрос: кто может подтвердить, что я, находясь в Германии, не скомпрометировал себя предательством или иными неблагоприятными поступками прислуживания немцам. Я перечислил не менее десяти человек, проходивших вместе со мной проверку в фильтрационном лагере.

Наконец, следователь предложил мне назвать тех, кто сотрудничал с лагерным начальством, предавал товарищей, вел

себя недостойно или добровольно вступил во власовскую армию. Я назвал троих: Михаила Криждера, выдававшего себя фольксдойчем и добровольно взявшего на себя полицейские обязанности, Николая Медведева, польстившегося на сытую жизнь и ради этого вступившего во власовскую армию, и Сергея, фамилии которого сейчас уже не помню, провокатора и предателя.

Этот Сергей каким-то образом обосновался в больничном бараке лагеря Шлетвизе. Я на два дня стал пациентом этого барака в связи с тем, что заболел ангиной. Там я попал к врачу, который лечил остарбайтеров от всех болезней при полном отсутствии медикаментов. Врач этот еще мальчишкой эмигрировал из России и не по своей воле попал в Германию из Французской Африки уже во время войны. Вот здесь я и познакомился с красавчиком Сергеем. Очень трудно было определить его должность в больничном бараке, но ясно было одно: живется ему там хорошо, и работа у него не очень тяжелая, да и непонятно какая именно. На немцев это было совсем не похоже — просто так держать человека на привилегированном положении.

Вскоре после этого Иван Доронин пригласил меня прогуляться по лагерю и, между прочим, сообщил, что в лагере есть подпольная организация, куда ему предложили вступить. Некоторые подробности этого сообщения меня насторожили, и вдруг меня осенило: не тот ли это Сергей из больничного барака предложил ему участие в подполье? Иван был потрясен моей догадливостью. А я после этого уже несколько не сомневался в том, что Сергей — провокатор.

Прошло еще некоторое время, и сказались результаты «работы» Сергея: нам стало известно, что в концлагерь угодили три человека из нашей фирмы. Полагаю, что та же участь постигла и многих других, о которых мы просто не знали. А Сергей через некоторое время исчез из лагеря навсегда.

В тот же день, после допроса, я узнал об атомной бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки. Началась атомная эра земной цивилизации.

АБРАША

А через день в фильтрационном лагере появился старший лейтенант, принявший под свое командование человек двести репатриантов, прошедших допрос в лагере и не угодивших под арест. Он вывел нас на неширокую асфальтовую дорогу, довольно пустынную, по бокам которой росли фруктовые деревья.

Через несколько часов движения в пешем строю мы достигли лагеря с несколькими блоками стандартных бараков, где нам предстояло провести несколько суток. Здесь мы прошли полную санобработку, переоделись в красноармейское обмундирование, в ботинки с обмотками; но шинели получили английские, короткие, зеленовато-желтые; а в дополнение — погоны и звездочки на пилотки. Еще подшили белые подворотнички и стали дожидаться распределения по воинским частям. Распорядок был военным, но нестрогим, а свободного времени — хоть отбавляй. В этом лагере я сразу же заметил одну деталь, совсем не свойственную лагерям военного времени: кем-то сооруженную лавочку-скамейку под окном барачного блока.

И еще: в первые минуты нашего пребывания в этом ничем не примечательном лагере, выйдя из комнаты, где разместился наш взвод (численность — по комплекту коек), я услышал громко произнесенное слово «Абраша». Оно меня оглушило, ошарашило, я не поверил своим ушам. Здесь?! На этом пространстве?! В этом воздухе, среди барачных блоков оно прозвучало так неожиданно, как мог бы прозвучать голос кукушки в тундре. Не успел я обернуться на звук этого слова, как оно прозвучало вновь — это еврейское имя, произнесенное по-русски. Абраша?!

Нет, я не ослышался: Абраша, в гимнастерке с погонами, в пилотке со звездочкой, в ботинках с обмотками, сидел прямо против меня с большим аккордеоном на коленях в обществе нескольких солдат, его товарищей. И весь лагерь — обычный лагерь с асфальтовыми дорожками и проволочной

сеткой-оградой — стал для меня другим, совсем не таким, как прочие лагеря-близнецы, он преобразился, когда в руках Абраши ожил аккордеон.

Исполнялась незнакомая мне песня «На позицию девушка провожала бойца...». Конечно, я не знал этой песни, как и многих других, рожденных войной, замечательных песен, которые до сих пор волнуют мне душу и сердце. Нет, Абраша не был массовиком-затейником, откомандированным сюда политотделом дивизии или армии, — он был одним из нас, репатрированным, как все мы, остарбайтером, а скорее всего, военнопленным, прибывшим сюда за два дня до нас. Уже на следующий день в числе других он покинул лагерь для дальнейшего прохождения службы в Красной Армии после фильтрационного лагеря в городе Цербст.

Меня до глубины души тронула душевная, искренняя симпатия, адресованная ему его товарищами по плену, которые вместе с ним вышли из черного тумана гитлеровской ненависти к еврею совсем не антисемитами, как и Андрей Михайлец или Дмитрий Маркелович Брицкий, надписавший мне свое фото на заводе «Порше» и обидевшийся на Кохана за то, что тот в плену мог допустить вероятность предательства Брицкого по отношению к себе, еврею.

Конечно, мне хотелось поближе пообщаться с Абрашей, чтоб хоть в общих чертах узнать подробности его пребывания в Германии. По всей вероятности, его товарищи по оружию, которые попали вместе с ним в плен, не выдали его немцам, так же как не выдали и меня 9 сентября 1941-го. Но приобретенная за годы плена непредрасположенность к откровенности, привычка избегать беседы по душам помешала мне это сделать.

СНОВА В СТРОЮ

Здесь же, отобрав нужное количество вновь призванных красноармейцев, в которое попал и я, сформировали Отдельный учебный батальон (школу сержантов), вошедший в состав

185-й ордена Суворова стрелковой дивизии, дислоцированной в районе города Потсдам, и дней на десять разместили в двух километрах от Потсдама в огромном фанерном бараке-палатке, где я даже успел отличиться, будучи дневальным: когда учебный батальон находился вне расположения, а дежурный по батальону тоже отсутствовал, у входа в палатку внезапно оказался генерал-майор. Скомандовал: «Батальон, смирно!», я доложил зашедшему в барак генералу, что батальон находится на занятиях и ответил на несколько заданных мне вопросов. Генерал поблагодарил за службу, попрощался и ушел. Все это стало событием: после вечерней переключки командир батальона объявил мне благодарность перед строем и добавил: «Молодец! Не растерялся». Надо сказать, что от таких пустяков в армии часто многое зависит.

Через неделю батальон поселился на территории завода «Юнкерс» в Битерфельде. Наша рота занимала обширный двухэтажный особнячок с уютными светлыми комнатами, где разместились наши койки, и с красивым просторным вестибюлем, где у самого входа дежурил дневальный. На заводе немцы полным ходом демонтировали оборудование цехов и ангаров, которое отправлялось в Советский Союз в счет репараций. А мы занимались боевой и политической подготовкой, ходили в караулы и должны были дослужиться до сержантских лычек. К территории завода примыкал массив фруктовых садов, обнесенных сетчатой проволокой и принадлежавших, видимо, работникам завода. Стояла теплая осень, ветви деревьев ломались от фруктов, а мы по мере сил старались их облегчить.

Я был вполне счастлив, службой не тяготился, в учебном батальоне у меня появился друг — Саша Костромов. А когда я оказывался на улицах и в других людных местах, — везде, где мне попадались на глаза советские воины, искал среди них своего младшего брата Рому. Почему-то я был уверен, что если из нашей семьи кто-либо уцелел, то это, конечно, он. Письма, которые я отправлял на домашний адрес, оставались без ответа.

ЛЕЙТЕНАНТ БОРИСОВ

Конечно, я мог обратиться к моим командирам с просьбой помочь получить сведения о моей семье. Но меня останавливало отношение к нам нашего взводного командира лейтенанта Борисова, который откровенно нас ненавидел, весь свой взвод. Он видел в нас нераскаявшихся трусов, которые, единожды предавши, снова в любой момент могут стать на путь предательства, а пока затаились, воспользовавшись доверчивостью и добротой товарища Сталина. Малейший промах, упущение или нерасторопность с нашей стороны он расценивал как саботаж и нежелание предателей служить своей Родине.

И надо же было случиться, что один из курсантов нашей роты по ошибке надел чужую шинель и очень удивился, обнаружив в кармане фотокарточки хозяина шинели в форме танкиста войск СС рядом с немецким танком, в компании своих сослуживцев. Конечно, хозяин шинели был арестован. Курсанту же, обнаружившему предателя, объявили благодарность перед строем батальона. Лейтенант Борисов торжествовал, что разоблачили хотя бы одного из нас. Правда, разоблачил его не Борисов и даже не СМЕРШ, а такой же, как и все мы, вчерашний пленяга, да к тому же разоблаченный предатель был не из нашего взвода. И справедливости ради лейтенант мог бы изменить свое мнение хоть о ком-нибудь из нас, ну хотя бы в виде исключения. Но Борисов только утвердился в своей подозрительности и враждебности. Он тяжело страдал из-за того, что ему так не повезло по службе — командовать взводом предателей. А потому у нас были все основания полагать, что и многие другие офицеры батальона относятся к нам тоже предвзято или враждебно, но просто не позволяют себе откровенных проявлений своих чувств. Так что лично я старался избегать контактов с ними, когда дело не касалось службы.

Почти весь взвод питал к Борисову взаимную ненависть. Я тоже не был в состоянии его по-христиански возлюбить и

часто ловил себя на желании разубедить его, доказать ему всю безосновательность его ненависти к нам. Останавливало меня только ясное понимание: Борисов не способен ни слушать, ни размышлять, ни спорить, ни понимать — он безнадежно глуп. Но тем не менее мысленно я часто возражал ему, когда он поносил нас последними словами.

Так, аргумента ради, я хотел бы поведать Борисову об одном военнопленном, с которым мы познакомились в Цербсте. Его допрашивал тот же капитан, что и меня, и он признался капитану, что скрывал от наших на фронте, что он немец, чтобы ему не запретили воевать и не отправили в тыл, а затем в плену опять скрыл свою национальность и знание немецкого языка, но теперь уже от немцев, чтобы не стать фолькс-дойчем, а разделить участь военнопленного со своими товарищами по оружию до конца. Я рассказал немцу о своих злоключениях — еврея, попавшего в плен, — и мы от души посмеялись над выкрутасами судьбы двух советских солдат, которых она еще и столкнула носом к носу, чтобы каждый из них мог, как никто другой, оценить ее тонкую иронию. Но обо всем этом я рассказал не Борисову, а своему товарищу по службе Саше Костромову. И уже с ним посмеялся над тем, что я мог предположить, будто смысл этой истории дойдет до лейтенанта Борисова.

И еще один анекдот о Борисове: он считал, что, оказавшись на фронте в 1945 году после училища, за свои военные заслуги непременно получит на гражданке ни больше ни меньше как пост секретаря обкома партии, и хотел поскорее демобилизоваться. Об этом лейтенант не стеснялся говорить прямо при нас.

АРМЕЙСКИЕ ЗАБАВЫ

Все мы — курсанты стрелковой роты Отдельного учебного батальона (бывшие военнопленные и прощенные Сталиным «предатели») — отлично понимали, что лейтенант Борисов, оскорбляя нас, своих подчиненных, демонстративно

выражая нам свою ненависть и презрение, не имел на это права как должностное лицо, нарушая и устав Красной Армии, и советские законы. Формально мы даже имели право жаловаться на своего командира (правда, не коллективно, а поодиночке). Но никому это не приходило в голову всерьез, хотя бы потому, что знали: нам же будет хуже, и не стоит на это тратить ни времени, ни сил. А терпеть его выходки нам было не так уж и трудно. Не такое пережили, не такое протерпели на войне, а особенно в плену, в унижительном и бесправном положении рабов, принудительно работающих на ненавистного врага. Для меня, например, да и, уверен, для большинства из нас возвращение в строй, в Красную Армию было счастьем, несмотря ни на каких Борисовых.

Но все-таки ощущение того, что кто-то может, если захочет, просто так, беспричинно или шутки ради куражиться, самоутверждаться, тешиться своей властью над ближним благодаря своему служебному положению, нарушало душевное равновесие, а порой даже приводило к ложным умозаключениям. Поэтому я недолюбливал армию (любую, вообще) за то, что она всегда таила подобные возможности для нетребовательного к самому себе человека.

Взять хотя бы майора Спицына, командира нашего батальона, моего ровесника. Дай бог всем командира не хуже, на майора грех было жаловаться. Но бесенок власти вселялся порой и в него. Однажды его внимание привлек бассейн, хранивший кубометров триста воды для тушения пожара в результате бомбардировки, на случай если иссякнет вода в гидранте (таких бассейнов в последний период войны возникло на предприятиях Германии великое множество). Майор велел спилить в лесу высокую сосну и доставить ее на завод, отрубив ветки и оставив нетронутой кору. Это бревно легло поперек бассейна на высоте полутора метров над поверхностью воды. Получился бум со скользкой цилиндрической поверхностью.

Забава начиналась, когда роты шли строем на обед и старшина обязательно давал команду «запевай». Ту из двух

рот (стрелковая и пулеметная), которая хуже поет, майор останавливал у «бума» над водоемом. И по команде майора курсанты по одному преодолевали препятствие. После первого, очутившегося в воде, рота продолжала движение в столовую. Комментарии, как говорится, излишни.

А как-то в начале октября наш взвод под командой лейтенанта Борисова был направлен в село (добирались по железной дороге) для погрузки на железнодорожные платформы спрессованной в тюки соломы. За селом, у распаханной полосы шириной в полкилометра прессовали солому, а по другую сторону полосы на железнодорожную ветку подавались платформы. Перед нами стояла задача: взять на плечи тюк у прессовочной машины, нести через пахоту и сваливать на платформу. Два человека на платформе укладывали тюки. Распоряжался работой капитан, начхоз дивизии, — всегда подшофе, — и наш помкомвзвода сержант Филатов. Возвратившись с обеда, мы увидели рядом с машиной, прессующей тюки, трактор с прицепом-платформой. Филатов обрадовался: теперь можно грузить тюки на прицеп, а затем трактор, сделав небольшой крюк по дороге, огибавшей распаханную полосу, будет подвозить их к железнодорожным платформам. И быстрее, и легче!

Филатов обратился к трактористу-немцу. Но тот повторял одно: «Гер капитан...»

Через минуту появился на дороге капитан. Филатов двинулся ему навстречу:

— Разрешите обратиться, товарищ капитан?!..

Но тот, сразу оценив ситуацию, скомандовал:

— Кругом! Не разрешаю.

Можно было, конечно, обратиться к лейтенанту Борисову, однако все понимали, что он и пальцем не шевельнет. Да и не было его рядом, он целыми днями где-то пропадал.

И мы снова взялись за тюки.

И еще одна история — смешная (на то и забавы!).

Подошел ноябрь, погода испортилась, и командир роты начал регулярно по понедельникам утром проводить политинформацию. Рота строилась в вестибюле, который освещался единственной электрической лампочкой над входом, где у небольшого столика дежурил дневальный, и заполняла все пространство. На свободном пятачке под лампочкой размещался старший лейтенант с газетой «Правда» в руках.

Интрига заключалась в том, что наш командир роты абсолютно не владел техникой чтения, перевирал политические термины, а малознакомые ему иностранные слова и названия пытался прочесть дважды, что еще более затрудняло их понимание. Например, словосочетание «посол СССР в Лондоне товарищ Майский» у него звучало так: «посёл сэсэрэ в Лондóне товарищ Майский».

Наконец, раздраженный своими неудачами, он прерывал чтение и требовал к себе старшину.

— Старшина Сиротенко по вашему приказанию прибыл! — четко докладывал старшина, отдавая честь.

— Вот ты мне скажи, старшина, что это у нас за освещение?! — и требовал заменить лампочку.

Но и при новой лампочке качество чтения не улучшалось.

И даже когда к следующей политинформации мощность лампочки увеличилась вдвое, дело все равно не ладилось, и виноватым остался старшина, вновь получивший публичный нагоняй и обещавший улучшить качество освещения к следующему разу.

Чтобы сдержать обещание, старшина, взяв с собой помощника, отправился в пустующий самолетный ангар, где из-под самой крыши, забравшись туда по железным конструкциям и проявив при этом акробатическую ловкость, они вывернули из патрона лампу в 500 ватт.

Однако и эта лампа, конечно, не улучшила качества политинформации.

А ведь ту же самую газету безо всяких проблем мог бы прочитать вслух почти любой из курсантов. Не говоря уже о том, что самый образованный и самый старший из нас по возрасту и по званию капитан Грибанов, замполит роты, мог и даже обязан был сделать это; но просто не хотел нарывать на конфликт со своим непосредственным начальником, который был младше его по званию. В конце концов ситуация разрешилась сама собой: батальон был передислоцирован в немецкие армейские казармы, находившиеся в городе Виттенберг, где располагался и штаб дивизии, куда мы потом по два раза в месяц ходили в караул. Водил нас туда и был начальником караула новый командир взвода, совсем юный младший лейтенант, сменивший на этой должности Борисова. А политинформации в составе роты прекратились вообще.

Надо сказать, что впервые армейскими забавами я был ошеломлен еще перед войной, в Риге, куда прибыл по призыву перед самым Новым годом, 11 декабря 1940-го. После бани мы облачились в новенькое армейское обмундирование, в ботинки с обмотками, в серые солдатские шинели и шлемы-буденовки с голубыми звездами из байки (на них следовало еще прикрепить выданные каждому красные металлические звездочки). У выхода из бани нас, человек около ста пятидесяти, построил в колонну высокий сержант, объявивший, что на время карантина мы, стоящие в этом строю, считаемся ротой, которой будет командовать он, сержант, и что по уставу приказ командира — закон для подчиненного.

В новенькой казарме, просторной и светлой, на цементном полу стояли в два ряда двухэтажные койки с тугими матрасами и подушками, покрытые белоснежными простынями и наволочками и теплыми шерстяными одеялами. Ввиду отсутствия вешалок шинели и шлемы мы аккуратно сложили в ногах своих коек.

После обеда сержант объявил:

— Завтра воскресенье — выходной день. Кто хочет в кино — записаться у меня.

Желающие сразу окружили сержанта тесным кольцом. Были среди нас и такие, для которых кино вообще являлось редким развлечением. Бойцы громко называли свои фамилии, сержант записывал, но очень скоро, не записав и десяти человек, запись почему-то прервал.

После ужина мы тренировались в выполнении команды «отбой»: разуться, раздеться, сложить обмундирование полагалось за две минуты. Особенно задерживали обмотки, которые надо было аккуратно скатать. Затем, согласно расписанию прозвучала команда на вечернюю переключку. После переключки прозвучала долгожданная команда «отбой», которую не успевшим раздеться за две минуты пришлось выполнить еще несколько раз. И когда, наконец, все улеглись, затихли и рота начала погружаться в сон, тишину нарушил зычный голос сержанта:

— Иванов — подъем!

— Сидоров — подъем!

— Петров — подъем!..

Так были подняты и оделись успевшие записаться в кино. Сержант выдал им ведра и тряпки и приказал мыть цементный пол.

Неужели такое возможно в Красной Армии?! — недоумевал я. Неужели сержант, даже если он совсем глупый, не понимает вреда своих действий?! Ведь он разрушает то, что было свято в душе если не каждого, то большинства из нас, комсомольцев, патриотов страны, впервые водрузившей знамя коммунизма на одной шестой части Земли!.. Так был низвергнут еще один «нимб» в моей наивной душе.

После, во время службы в учебной батарее, ничего подобного не происходило, и впечатления карантина почти стерлись из памяти. Наш помкомвзвода старший сержант Гринчук — самый необразованный из нас (7 классов сельской школы) — пользовался нашим полным уважением, а командир батареи старший лейтенант Скорик при всей своей строгости и бескомпромиссности вызывал у меня восхищение и глубокую

симпатию. И все же неприятный осадок оставался надолго. В плену и в Германии я остро завидовал тем, кто служит в армии и воюет с фашистами. А все-таки никак не мог вообразить себя профессиональным военным; армейские забавы сделали свое дело.

Эта же причина мешала мне и обратиться за помощью в поисках своей семьи к моим командирам, даже к капитану Грибанову.

ГЛАВА III. СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ

КАПИТАН НА МОТОЦИКЛЕ

Получить весточку от моей семьи мне удалось только в мае 46-го года.

Из Германии в Советский Союз мы уехали 13 февраля. Нас все еще не произвели в сержанты.

По пути мы вволю насмотрелись на следы, оставленные войной. Особенно запомнились мне пепелище и черные коробки домов дотла выгоревшей Варшавы и развалины Минска. А еще — мальчишечка на одной из станций в Белоруссии, где наш поезд простоял больше часа. Ребенок был не старше шести лет и занимался привычным для него делом: попрошайничал. Чтобы честно заработать подаяние, он пел озорные похабные частушки, бывшие таким же ужасным порождением войны, как и он сам. До сих пор помню две частушки из его богатого репертуара:

*Старшина, старшина, хромовы сапожки,
Если девки не дают, попроси у кошки.*

*Боевая фронтовая ППЖ¹
Просидела всю войну у блиндаже.
За улыбку, за конфетку, за...
Получила орден Красную Звезду!*

Конечным пунктом нашего следования в поезде из Германии стала Кострома. Когда 4 марта мы вышли из вагонов, я

¹ ППЖ — полевая походная жена.

услышал разговор между курсантами и дедом, дожидавшимся кого-то на платформе. Курсанты стали расспрашивать у него о жизни в Костроме и о том, что дают в магазинах по карточкам, кроме хлеба. Он отвечал:

— Вот как на Октябрьскую давали тюльку, и так с тех пор никаких жиров не было.

От Костромы до Песочного, лагерь в лесу, куда постепенно переехала из Германии вся наша дивизия, мы прошагали 25 километров по глубокому снегу, перейдя по льду через Волгу. В лагерь пришли уже ночью и поселились всем батальоном в бараке, очень длинном, отличавшемся от конюшни наличием двухэтажных нар на земляном полу и несколькими высокими, цилиндрической формы печками, обшитыми жостью и похожими на большие бочки. Был март, еще трещали морозы, и никаких признаков весны заметить было нельзя.

А в мае зазеленели деревья, мы праздновали День Победы. Главным праздничным мероприятием в дивизии был десятикилометровый марш-бросок по пересеченной местности с преодолением специально сооруженных препятствий. Мероприятие проходило в режиме соревнования, в котором участвовали команды частей дивизии — всех, за исключением нашего батальона, из подразделений которого были образованы бригады судей-наблюдателей на каждом из препятствий. Каждую такую бригаду должен был возглавить один из офицеров штаба дивизии. Задолго до начала соревнований мы во главе с командиром отделения прибыли в назначенное нам место в лесу. Сюда же должен был явиться и возглавить нашу команду кто-то из офицеров штаба дивизии.

Мы грелись на солнышке, лежа на траве. Через полчаса подъехал к нам на мотоцикле капитан, начальник разведки — при полном параде, весь начищенный и надраенный, от орденов и медалей до своего трофейного мотоцикла. Наш сержант Василий (его фотография у меня сохранилась), житель Винницкой области, одержимый поисками земляков, попросив разрешения обратиться, сразу завел разговор с капитаном на любимую тему. Выяснилось, что капитан —

житель Киева. «Из самого Киева?» — переспросил сержант. Оказалось, что из самого. Далее стало известно, что в Киеве капитан проживает на бульваре Шевченко, через дорогу от моего дома. Тут уж в разговор вступил я, любопытствовав, не знает ли капитан кого-нибудь из дома № 62 и уцелел ли этот дом. И выяснилось, что капитан недавно вернулся из отпуска, побывав в этом самом доме в гостях у своей одноклассницы, а моей соседки Любы Горенштейн, которая вместе с матерью и сестрой вернулась из эвакуации; что фамилия капитана Лабковский; что мы с ним встречались у Любы 1 мая 1940 года на ее дне рождения и еще раза два до этого при сходных обстоятельствах; что Люба окончила мединститут и живет в той же 21-й комнате, в бывших мебелирашках на 4-м этаже, где жил и я в 13-й комнате и откуда ушел на войну. Теперь уже все отделение с любопытством слушало разговор и разглядывало нас: возвышающегося на трофейном мотоцикле капитана, героя войны во всем блеске демократичности и недосыгаемости, в невыносимо надраенных сапогах, в орденах и медалях — и меня, сирого и неудалого, едва уцелевшего. Впрочем, я не завидовал капитану, я был ему только благодарен: теперь родной дом после долгих лет снова становился для меня реальностью. Стоило написать письмо Любе — и многое может проясниться.

СУДЕБНЫЕ МЫТАРСТВА

Ответ на свое письмо я получил очень скоро, сначала от своего отца, а затем и от Любы. И вот что выяснилось.

Отец, вернувшись с остатками нашей семьи из эвакуации, никак не мог отсудить свою комнату у поселившегося в ней во время оккупации человека. Квартиры возвращались эвакуированным лишь в том случае, если они могли документально подтвердить, что хоть кто-нибудь из членов их семьи, проживавших на данной площади, был участником Великой Отечественной войны.

Мой отец был призван в армию в начале июля 1941 года, но на фронт не попал по состоянию здоровья (в 1939-м он пере-

нес тяжелую операцию), а в тылу армия почему-то не могла найти ему эффективного применения, хоть и удерживала на службе. После победы под Сталинградом, когда наступил перелом в ходе войны, его отпустили (но не демобилизовали) и прикрепили к одному из военкоматов в Узбекистане, где жили в эвакуации две его сестры с детьми и вторая его жена, а моя тетя Таня с дочерью (предварительно они нашли друг друга по переписке со справочным пунктом в городе Зеленодольске). Теперь отец работал в колхозе вместе с женой и сестрами, а по требованию военкомата его отпускали для выполнения служебных заданий — например, ловить дезертиров в горах. Общим жильем для четверых взрослых и четверых детей служила незавершенная постройка, собственность колхоза — стены под крышей, два окна без рам и дверной проем, которые завешивались одеялом и рогожками. Спали на тюфяках, а питались заработанными в колхозе продуктами. Затем еще прибавилось денежное довольствие отца (старшего лейтенанта). В январе 1945-го отца демобилизовали, и все отправились в освобожденный Киев.

У отца было письмо командира стрелкового полка, в котором сообщалось, что младший лейтенант Котляр Роман Исаакович, комсорг 1-го батальона, был тяжело ранен 26 января 1945 года и эвакуирован в госпиталь. Здесь его след терялся. Ни в один из госпиталей он доставлен не был. Но жилец, занявший нашу комнату, подкупил дворника и с помощью его лжесвидетельств оспаривал подлинность предъявленных отцом документов. А мои письма уничтожал. Действительность справки о том, что я в 1941-м году пропал без вести на фронте, тем более была поставлена под сомнение, так как перед войной я был уволен в запас второй категории, а значит, воевать не должен был. Убитый горем, потерявший, как он полагал, двух сыновей на войне, оказавшийся без жилья, а значит, без прописки и без работы, отец ютился с женой и дочкой у своей младшей сестры, в одной комнате с ее семьей, и мыкался по судебным инстанциям (сестре кварти-

ру возвратили: ее муж — лейтенант, участник войны — уже вернулся домой). Отец дошел до генерального прокурора Украины Руденко. Но и здесь ничего не добился. Хотя, кроме упомянутых документов, он предъявил прокурору коротенькое письмо командира части, в которой воевал Рома (отец получил это письмо в ответ на свое, которое отправил, не дождавшись никаких известий от недавно раненного сына). Командир сообщал, что младший лейтенант Котляр Р.И., не успев поближе познакомиться ни с кем из офицеров батальона, никому писем из госпиталя не присылал. Круг замкнулся.

Все представленные отцом документы издевательски игнорировались генеральным прокурором Руденко, будто их вовсе не существовало. Объяснить это можно было лишь усиливавшимся государственным антисемитизмом первых послевоенных лет и стократно повторявшейся нелепостью, будто жида не воевали, а отсиживались в Ташкенте. В разных инстанциях обычно задавали идиотский вопрос: «А где же этот ваш тяжело раненный и эвакуированный в госпиталь младший лейтенант Котляр Роман Исаакович?!» Суду почему-то недостаточно было документа, что младший лейтенант был тяжело ранен в бою за Родину. Суд требовал *предъявить* тяжело раненного в 1945 году воина, который по дороге в госпиталь вполне мог погибнуть и, вероятнее всего, погиб.

Отец был в полном отчаянии, судебным издевательством не видно было конца.

Тут и явилась Люба с моим письмом. Меня все давно считали погибшим, и письмо в руках Любы выглядело даже не как послание с того света, а как некое недоразумение. Читая ответ отца, я понимал, как он страшится поверить, что судьба смилостивилась над ним и готова вернуть ему одного из двух погибших на войне сыновей. Он осторожно писал, что верит и не верит, просит прислать ему подробное письмо и, если можно, фотокарточку. Я поспешил сделать это и за-

верил, что никакой ошибки нет, что я и в самом деле жив, вопреки всякой логике, здравому смыслу и всем прочим вещам, которыми люди привыкли руководствоваться в жизни. И лишь во втором письме отец попросил выслать ему и в Сталинский райвоенкомат соответствующие справки.

В начале июня 1946 года справки были получены и отцом, и военкоматом. Но прошло еще почти полгода и потребовалось вмешательство все того же генерального прокурора УССР, которому отец предъявил теперь уже и мое фото, и справку, выданную мне в штабе дивизии, где я продолжал службу с августа 1945 года, чтобы лишь 4 декабря наша семья могла наконец вселиться в свое довоенное жилище.

И ЕЩЕ О РОМЕ

И еще о Роме — комсорге батальона. Люди, не участвовавшие в боевых действиях (в том числе и мой отец), нередко читали в газетах о комсорге, который призывом «За Родину! За Сталина!» поднимал в атаку солдат, первым поднимаясь на бруствер из окопа. И в коротких отчетах, и во фронтовых очерках корреспондентов эту романтическую фигуру комсорга батальона читатель воспринимал как действовавшую по зову сердца, выполнявшую свой патриотический долг и святую обязанность комсомольского вожака всегда быть впереди.

Далеко не все знали, что это было его единственной обязанностью по службе. Комсорг не избирался комсомольцами батальона. Это был младший офицер, который, прибыв на фронт и явившись в штаб армии для дальнейшего прохождения службы, получал назначение в политотделе штаба армии и даже числился там на денежном довольствии. Так что если вместо выбывшего из строя командира взвода новый взводный назначался приказом командира полка (или дивизии) из числа подчиненных ему офицеров, то на комсорга батальона это не распространялось.

Рома прибыл в штаб армии перед самым началом очередного наступления и явился в полк сразу комсоргом. Вот почему

офицеры батальона не торопились сближаться с новым комсоргом: он скорее всего погибнет в первом же бою, как только окажется на бруствере. Легче терять человека, которого почти не знаешь, чем того, кто уже успел завоевать твои симпатии. А Рома, несомненно, тоже все это знал и, я уверен, вполне был готов к выполнению своего долга и обязанности; и на бруствер окопа поднялся вовремя и решительно — как это подобало комсоргу.

Примерно это имел в виду командир полка, когда сообщил отцу, что младший лейтенант Котляр Р.И. еще не успел ни с кем из офицеров подружиться.

А генеральный прокурор Руденко всех этих тонкостей не мог не знать. Потому не должен был цинично разводить руками и спрашивать отца, куда же делся после тяжелого ранения эвакуированный в госпиталь комсорг Котляр Роман Исаакович. Это, если угодно, было служебным преступлением против человечности генерального прокурора, который, кстати сказать, незадолго до того вернулся с Нюрнбергского процесса, где выступал как представитель обвинения нацистских преступников Германского рейха от Советского Союза.

Любопытно, что если бы моя семья возвратилась в Киев не в январе 1945-го, а месяца на полтора-два раньше (что вполне могло бы быть) и сразу бы поселилась в своей комнате, Рома побывал бы дома и повидался бы с родными по дороге на фронт в декабре 1944-го. Эшелон, в котором он ехал, двое суток простоял в Киеве. На войну Рому проводили немногочисленные одноклассницы, которые собрались на Пироговской улице, в двух кварталах от вокзала и недалеко от нашего дома, у одной из одноклассниц, отец которой принадлежал к высокому начальству и жил в новом доме, построенном перед войной.

КОМНАТА № 13

5 декабря 1946 года около полудня сформированный из теплушек железнодорожный состав подошел к станции Киев-пассажирский, не дотянув нескольких метров до перрона.

В этом составе среди прочих демобилизованных находился и я. Как только поезд остановился, я выскочил из вагона, «ссыпался» по откосу железнодорожного полотна — и до моего дома оставалось минут пятнадцать быстрой ходьбы. Я старался не бежать, идти шагом. Найду ли я кого-нибудь дома, удалось ли отсудить нашу комнату, я еще не знал.

А потом я проделал то, что много раз делал в своем воображении за эти страшные годы: поднялся на 4-й этаж дома № 62 на бульваре Шевченко и открыл дверь комнаты № 13. Прямо передо мной, у окна, стоял незнакомый мне старик и со страхом смотрел на меня. Это был мой отец. Невозможно было поверить, что этому человеку с измученным изможденным лицом и седыми волосами нет еще пятидесяти лет. Он тоже не узнал меня. Только накануне он вселился в нашу отсуженную комнату, и человек в форме, возникший на пороге, означал для него милиционера, явившегося оспаривать право на жилище, выселять, притеснять, приостанавливать решение суда... Моя тетя Таня и сестренка Циля тоже не сразу узнали меня.

В комнате не было никакой мебели, ее заменяли большая фанерная коробка — в таких коробках привозили в магазины спички — и несколько ящичков поменьше вместо стульев. На вбитых в стену гвоздях висели какие-то одежки, возле обложенной кафелем печки в коробках находилась посуда, а у окна были расстелены на полу верхняя одежда и одеяло — одна общая постель.

«ТАШКЕНТ»

Сегодня даже трудно вообразить, где и как жили эвакуированные, которых, вероятно, затрудняясь произнесением трудного слова, жители тыла на Урале называли «выкавыриванные» (слово «беженцы» тогда не употреблялось — как и слово «отступление», как и многие другие слова, называвшие вещи своими именами). Трудно вообразить, какие лишения испытывали они сверх того, что досталось всему населению тыла. Трудно

также представить себе сегодня ту муку и ту надежду, с какими ожидали и фронт, и тыл конца этой невысказанно жестокой и кровавой войны. В отличие от жителей тыла у беженцев была еще дополнительная причина для великой радости в День Победы: они получали надежду вернуться домой, вновь обрести собственный кров, не ютиться в чужом углу, не быть надоевшими и стеснявшими хозяев квартирантами без своей кровати и своего стула; они получали надежду вернуться в свой город или поселок, надежду посетить могилы родных и близких. Ведь, кроме большой Родины — Советского Союза, у каждого была еще своя малая родина. Однако для многих тысяч страдальцев-беженцев радость эта оказалась ох какой преждевременной: если из твоей семьи никто не был на фронте, то ты, хоть и страдал, хоть и трудился в тылу для Победы, хоть и внял призыву товарища Сталина покинуть территорию, подвергшуюся нашествию, — ты вовсе не обязательно мог вернуться в свое жилье.

Что касается тех жителей Киева, кто эвакуировался, работал в тылу, испытывал лишения беженца, то эти киевляне по возвращении в родной город не имели права вселиться в свою квартиру (а чаще всего в комнату в коммуналке), если хотя бы кто-нибудь из их семьи не был на фронте. А то, что вернувшемуся беженцу теперь некуда податься, что, не имея жилплощади, он и его семья будут лишены прописки, а без прописки их не возьмут на работу, — это решительно никого не интересовало. Любопытно, что такие люди почти не вызвали сочувствия окружающих — общественное мнение в подобных случаях выражалось одним словом: *Ташкент*.

Еще находясь в Германии, в учебном батальоне, я услышал это слово, когда речь заходила о тех, кто эвакуировался в тыл с захваченных немцами территорий. Употреблялось это слово с презрением и даже с ненавистью к тем, кто «отсиделся» в тылу, пока шла война. И уж как-то само собой разумеется, что слово *Ташкент* касалось в первую очередь евреев, так как все они не воевали, а прятались от участия в войне в

глубоком тылу. И если в армии я слышал это слово не так уж часто, то в Киеве оно звучало на каждом шагу. Оно помогало утвердиться распространенному мнению, что *жиды не воевали*. И даже те, кому совестно было слышать (не то что повторять) эту выдумку, кто легко мог бы ее опровергнуть, не торопились возражать, а скромно отмалчивались, как бы не желая ввязываться в бесполезный спор и придавать значение всякой болтовне (мало ли что говорят!). А процесс возвращения евреев из армии и эвакуации продолжался, жилье их было занято, и они вынуждены были его отсуживать, имея на руках неоспоримые документы, подтверждающие их правоту, — о своем участии в войне или о гибели на войне мужей, сыновей, братьев, сестер... И если в судах и прокуратурах их встречали без восторга, но жилье все же возвращали, то в коммуналках, занятых новыми жильцами, их часто ожидала неприкрытая враждебность, оскорбления и даже откровенное хулиганство. В городе разжигалась атмосфера антисемитизма вокруг «жидов, занимающих квартиры по липовым документам, которые они покупают так же, как и военные награды, а людей выгоняют на улицу».

Любопытная история в этом плане произошла с моим соседом по коридору-мансарде, товарищем детства Изей Барским. Демобилизовался он раньше меня, сравнительно быстро отсудил свою комнату и поселился в ней один, хотя был к тому времени женат на медсестре из своего медсанбата, тоже киевлянке. Отец Изи погиб на фронте, а мать с младшим братом — в Бабьем Яру. Примерно таким же образом осиротела и его супруга, тоже отсудившая свою комнату на соседней улице.

— Жиды хитрые, — говорили завистники, — теперь у них две комнаты!

Считая две комнаты на двоих непозволительной роскошью и стремясь к торжеству справедливости, Изин сосед-милиционер, занимавший свою комнату без риска ее потерять (потому что ее прошлые жильцы оказались все в Бабьем

Яру), как-то вечером ворвался к Изе, когда тот был один, и с помощью своего сослуживца силой увел Изю и запер в камере отделения милиции, в котором служил. Теперь соседом милиционера стал его друг и сослуживец. Все было сделано так тихо и оперативно, что никто ничего не заметил и не смог объяснить Изиной супруге, куда исчез ее муж.

Впрочем, примитивная операция приятелей-милиционеров была быстро расшифрована Изиной женой. Она быстро вызволила мужа из кутузки и вселила в его же комнату с помощью родного начальства милиционеров, не усмотревшего, впрочем, в действиях своих подчиненных особого криминала. Ничего не узнала об этом и районная прокуратура. Зная советские порядки и понимая, что замахиваться на честь милицейского мундира небезопасно (тем более что жена Изи была беременна), чета Барских и не пыталась добиться наказания для стражей закона.

Спустя годы, в эпоху хрущевской «оттепели», с Изей Барским произошла еще одна любопытная история. Вызвали его в КГБ. Конечно, бессонная ночь, всевозможные мысли (с чего бы это?) и твердая уверенность: ничего хорошего от такого приглашения ожидать не следует! Наутро — ожидание под дверью, приглашение в кабинет... Оказывается, ничего страшного: в Соединенных Штатах Америки умер мамин двоюродный брат и одна из юридических контор отыскала наконец-то единственного оставшегося в живых наследника покойного, коим и является Изя Барский.

Изина мама когда-то рассказывала об этом родственнике-американце, изредка получала от него письма, и даже как-то получила посылку из Америки, но с тех пор прошла целая вечность, довоенная жизнь канула в небытие, не было даже могил отца, матери и младшего брата, а любимый город стал каким-то неродным. Известие о наследстве было ошеломляющим, не вписывалось в рамки реальных вещей, сопровождалось недомолвками и тайнами, в него вообще невозможно было поверить в этом кабинете, как и словам сидящих в

нем людей, которые в любой момент могли придать своему потрясающему сообщению самый неожиданный и нежелательный для Изи поворот. Но кагебисты были если не приветливы, то во всяком случае миролюбивы и даже любезны, хотя и не сообщили, что именно досталось в наследство Изе Барскому от двоюродного дяди, не назвали даже денежной суммы (ни в рублях, ни в долларах), в которой выражалось это наследство, и уж, конечно, не предложили съездить в Штаты, чтобы вступить во владение наследством родича. Однако Изе великодушно обещали, что в счёт этого наследства он получит все, чего пожелает, в виде разных материальных ценностей и советских рублей одновременно и всю жизнь будет ежемесячно получать определенную сумму, которую сам назовет. А для того чтобы у Изи не вскружилась голова и чтобы он не вообразил, что поймал золотую рыбку, ему напомнили о разумных пределах его пожеланий, намекнув на разбитое корыто из сказки о той самой рыбке. После чего Изя получил лист бумаги, ручку и чернила, чтобы четко зафиксировать свои желания, не выходя из кабинета и «за пределы разумного».

Можно только догадываться о сумятице чувств и мыслей, свалившихся на него вместе с известием о наследстве. Но несомненно одно: чувство страха и мысль о том, как бы его чем-нибудь здесь не спровоцировали и не упекли за решетку, весьма способствовали сведению количества и масштабов его желаний, зафиксированных на листке бумаги, к минимуму. Ведь могли же здесь его аппетиты признать непомерными и в наказание не дать ничего!

А у него уже было двое мальчишек, прошло более десяти лет после войны, семья с трудом сводила концы с концами, хотя они с женой честно и много трудились. Изя не мог похвастать приличным костюмом, не бог весть как были одеты его жена и дети, не говоря уже о мебели, посуде и прочей домашней утвари, не достигавшей даже уровня необходимого. Жили скромно, от получки до получки, нечасто позволяя

себе взять в рассрочку даже очень нужную вещь. У них и холодильника не было.

...Максимальная пожизненная ежемесячная сумма, которая пришла ему в голову сходу, — тысяча рублей. Конечно, потребовалась известная смелость, чтобы написать это число на бумаге, но Изя все же решился. Пожелал он получить и хорошую отдельную квартиру, а из вещей — новую мебель, телевизор, холодильник, определенное количество обуви, одежды и постельного белья, а, кроме того, не помню уж какую сумму сразу на всевозможные расходы. У него дрожала рука, когда он составлял этот список, с замиранием сердца следил он за выражением лица капитана КГБ, читавшего его. Но тот и глазом не моргнул: Изе было обещано, что он получит все это безоговорочно. Вполне понятно, что сначала он подписал бумагу, согласно которой отказывался от каких бы то ни было дальнейших притязаний на причитавшееся ему наследство, передавая его в полное распоряжение любимому государству.

ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ

Как ни странно, вопрос о последней пуле и почему я ею не воспользовался, задал мне не капитан контрразведки, допрашивавший меня в Цербсте, а мой друг детства Аарон Бабиченко, которого я помнил и знал с тех пор, как помнил себя. Произошло это тогда же, в День моего возвращения, 5 декабря. Впрочем, кто же, как не друг, и должен был задать мне этот вопрос?! И перед кем, как не перед другом, следовало мне держать ответ по всей строгости при первой же встрече?!

Когда Аарон перешел в десятый класс (а я в девятый), медицинская комиссия признала его негодным к службе в армии и ему выдали белый билет, дававший право поступать в институт, когда у всех остальных выпускников такого права не было. Впрочем, Арончик никогда не болел, обладал отличным здоровьем, прекрасно питался в голодном

1933 году. Разве что зрение у него было неважным, он с детства носил очки. Но по этой причине давали в крайнем случае нестроевую. Всем соседям было ясно, что белый билет купил ему отец, который крупно спекулировал всевозможными дефицитными товарами, а в дефиците было тогда почти все. Специализировался он на клеенке и тканях, которые у него деревенские спекулянты скупали оптом. Официально Бабиченко-старший числился вахтером на заводе им. Артема и получал мизерную зарплату. Но еще в 1929 году был нэпманом и торговал на Евбазе тканями.

Весной 1939 года Арончик по рекомендации комитета комсомола был принят в кандидаты в члены ВКП(б) — тогда устав партии разрешал принимать комсомольцев с восемнадцатилетнего возраста. Строго говоря, мне, члену комитета комсомола, следовало дать ему отвод, потому что никто лучше меня не знал Аарона Бабиченко и его спекулянта-отца. Но такой отвод предполагал, что я обязан привести доказательства. А привести доказательства — означало посадить Бабиченко-старшего в тюрьму. Но доносчиком я никогда не был и стать им не хотел. Вот и промолчал.

Промолчал я и тогда, когда Аарон задал мне вопрос о последней пуле. Я, конечно, мог сказать ему, что, воспользовавшись купленным белым билетом, он сидел в глубоком тылу, когда гибли его товарищи, но я этого не сказал. Так, молчанием, и закончилась наша дружба. Больше я не хотел его ни видеть, ни знать.

И это было тем более обидно, потому что нас многое связывало. Мы росли вместе: учились в одной школе, сотрудничали в редколлегии общешкольной стенгазеты и были соседями по коридору-мансарде.

ДЕТИ МАНСАРДЫ

Я уже несколько раз упоминал о коридоре-мансарде. Там прошло мое детство, оттуда я ушел на войну и туда возвратился в декабре 1946-го. Там я и родился 28 января

1922 года — на 4-м мансардном этаже углового дома, выходившего окнами на бульвар Шевченко и Дмитриевскую улицу, т.е. на Евбаз (Еврейский базар, называвшийся еще Галицким). Можно сказать, пользуясь стереотипами советского времени, что наша семья жила в коммунальной квартире, если считать квартирой 28 комнат, расположенных по обеим сторонам коридора, растянувшегося по всей длине дома. До 1919 года здесь помещались меблированные комнаты, сдававшиеся в наем, как номера в гостинице. В революционное время меблирашки эти снимали проститутки и уголовники, а когда в Киеве установилась советская власть, они ненадолго опустели. Но вскоре стали стихийно заселяться беженцами, уцелевшими от еврейских погромов и оказавшимися в Киеве без крова и средств к существованию.

Бежали тогда из Тетиева, местечка в Киевской губернии, осиротевшие в результате погрома дети — две сестры шестнадцати и четырнадцати лет и семилетний братик. Бежали они в Киев, поскольку надеялись отыскать работавшего там еще с 1912 года своего старшего брата, а моего будущего отца, которого мачеха четырнадцатилетним выжила из родительского дома. В Тетиеве они оставили, считая их погибшими, еще четырехлетнего братика и шестилетнюю сестренку. Малыши выжили, спрятавшись на чердаке, где кормились несколько суток найденным там в мешке сахаром-рафинадом, а пили собственную мочу.

Старшего брата (моего будущего отца) дети отыскиали. Он работал шорником на заводе «Арсенал». Нашлись со временем и считавшиеся погибшими самые младшие братик и сестричка. Вскоре старший брат проведал о пустовавших на бульваре Шевченко (тогда еще Бибикивском) меблирашках, и они поселились там все вместе в двух комнатах, а семилетнего Юру и четырехлетнего Сему отдали в детдом, открытый советской властью.

Сестры стали зарабатывать на жизнь продажей древесного угля на Подоле. Уголь привозили в город на телегах

крестьяне. Девочки покупали у них уголь мешками, а затем продавали небольшими мерками домохозяйкам, прислуге и портным. Древесный уголь был ходким товаром: им разогрели утюги и самовары, имевшиеся в каждом доме.

Коридор заселялся очень быстро беженцами, среди которых была и моя будущая мама, бежавшая от еврейских погромов из местечка Макаров вместе со своей старшей сестрой Таней. Маму мою звали Рахиль. Здесь она и познакомилась со своим будущим супругом, а моим отцом.

Когда я родился, у меня не было ни дедушек, ни бабушек, хотя матери моей было всего 19 лет, а отцу — 24. В комнате с нами жила и старшая мамина сестра Таня. 20 июля 1924 года родился мой брат Рома. К этому времени папины сестры, которые жили в другой комнате в той же мансарде, уже не торговали углем, а обучились ремеслу: у них была небольшая цилиндрическая вязальная машина, на которой они вязали чулки и носки и продавали их на Евбазе.

Входила в силу новая экономическая политика — НЭП. Отец зарабатывал на «Арсенале» 90 рублей (девять червонцев) в месяц. Таня работала в привокзальной столовой. В получку иногда покупалась необходимая одежда, мы нормально питались. Мебели, правда, купить не могли, а имевшуюся у нас обстановку мебелью в полном смысле этого слова можно было считать с большой натяжкой.

На площади перед базаром, куда выходили наши окна, красовалась и услаждала слух своим мелодичным звоном колоколов церковь (ее разрушили уже после войны).

Мансарда была электрифицирована: каждая из 28 комнат освещалась одной электрической лампочкой — и никаких розеток! Потребленное количество энергии регистрировал единственный счетчик, и плата взималась по его показаниям дифференцированно, пропорционально мощности каждой лампочки, по тщательным подсчетам. При этом строго контролировалось соответствие фактической и заявленной жильцами мощности каждой лампочки. Ни о каких электро-

приборах или настольных лампах не могло быть и речи, а коридор не освещался. Считалось, что свет в коридор должен проникать сквозь остекленные над каждой дверью фрамуги, большая часть которых была забита фанерой. Способствовали освещению также горящие точки керосинок и примусов возле каждой двери. Начавшие с конца тридцатых годов проникать в быт электроутюги, кипятильники и даже бывшие большой редкостью радиоприемники вызывали у обитателей мансарды бурю негодования, потому что количество потребляемой ими электроэнергии учету не поддавалось и к тому же старая электропроводка при перенапряжении грозила пожаром.

В пять лет я научился читать по книге Ленина «Шаг вперед, два шага назад», вернее, по заголовкам нескольких книжек Ленина, которыми снабдила отца для повышения его политической грамотности партийная организация. К этому времени в нашей 28-комнатной мансарде насчитывалось до пятнадцати детишек, а в каждой комнате, в среднем, — более четырех жильцов. И на всю эту ораву было всего два водопроводных крана с чугунными с облупившейся эмалью раковинами и ни одного туалета, и ни одной кухни. Пища варилась прямо в коридоре, а в уборную спускались с четвертого этажа во двор. Мне уже было двенадцать лет, когда соорудили первый туалет с одним унитазом, а через год на другом конце коридора появился и второй. Начало этой сантехнической революции состоялось в 1934 году и лишний раз подтвердило знаменитое сталинское изречение тех дней после голода 1933 года: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей». Возле туалетов всегда кто-нибудь дожидался своей очереди.

Учеба в школе началась для меня в сентябре 1930 года, когда мне уже было полных 8 лет (семилеток, даже родившихся в январе, в школу не принимали). Я учился в 46-й школе на Святославской улице (которую затем переименовали в улицу Чапаева), довольно далеко от дома, и часто болел ангиной.

К этому времени от рака желудка умерла моя мать (1929), оставив сиротой, кроме меня, моего брата Рому. Наша мама болела долго, и все заботы о нас с братом взяла на себя наша тетя Таня. На всю оставшуюся жизнь она заменила нам маму, а со временем они с отцом поженились. А мы с Ромой по-прежнему называли ее просто Таней.

Зимой 1933 года я не видел на улице трупов людей, приехавших в город, чтобы обменять золотые или серебряные вещи на еду, но умерших на снегу от голода, так и не добравшись до заветного «торгсина». Я не видел этих трупов потому, что их успевали убрать, прежде чем я выходил по утрам из дому в школу. А соседи, выходявшие на работу пораньше, видели и рассказывали об этом. Говорили, что на базаре продают котлеты из человеческого мяса.

Аббревиатура «торгсин» расшифровывалась просто: торговля с иностранцами. Но торговали главным образом с соотечественниками. Помню, как однажды, задолго до рассвета, отправилась в «торгсин» Таня, завернув в узелок несколько серебряных ложек и рюмочек — все, что осталось после смерти ее родителей, а моих бабушки и дедушки. Чтобы обменять эти «драгоценности» на еду, надо было еще много часов отстоять в очереди (магазин был один на всю Киевскую область). Возвратилась она только к вечеру и принесла килограмма четыре белой муки, столько же рафинированного сахара-песку и шесть буханок черствого пшенично-кукурузного хлеба. К этому времени Таня зарабатывала перематыванием ниток с мотков на шпули трикотажных машин для папиных сестер и еще для кого-то, получая за это гроши. Работа отнимала уйму времени и сил, но имела то преимущество, что ее можно было выполнять дома и в любое время, даже по ночам, и нас не надо было оставлять одних дома, а деньги платили сразу. По карточкам выдавали только хлеб, а на базаре на заработанные Таней деньги удавалось купить немного картошки (зачастую подмороженной) или стакан горьковатой кукурузной крупы, из

которой раз в день варилась каша без жира. Но даже такой каши мы не могли поесть вдоволь. Чем-то нас еще, кажется, подкармливали в школе.

Со смертью матери из нашего дома стало уходить благополучие, наступили времена отмены НЭПа и первой пятилетки, и хоть после 1933-го года мы не голодали, нужда нас ни на минуту не покидала и мы едва сводили концы с концами. Пережили мы и карточную систему распределения продуктов питания, и научились кормиться кое-чем раз в день, и стоять в длинных очередях за «коммерческим» хлебом, жить без денег (по три-четыре месяца не давали зарплату), и привыкли к тому, что в домах ежедневно по несколько часов отключают электричество.

После голода 1933 года в городе началась борьба с поразившим население педикулезом. В школах всех стригли «под машинку», и мальчиков, и девочек. Эта кампания совпала с выдачей талонов на одежду самым нуждающимся ученикам. Мне дали талон на хлопчатобумажный костюмчик цвета хаки. В нем я был запечатлен на фото, сделанном в школе для «доски почета». На фотографии я — в пионерском галстуке, остриженный наголо под машинку и в костюмчике, купленном по талону несколько дней назад. После Октябрьских праздников нас принимали в пионеры, мы уже учились в 4-м классе.

Очень трудно было достать хоть немного кумача, чтобы изготовить пионерский галстук. Тетя Таня раздобыла лоскут бордового цвета, но он не понадобился: в последний момент в школе сказали, что галстуки для всех есть, нас будут принимать в театре Красной Армии, на улице Меринговской, в самом центре города.

Нас построили в одну шеренгу перед занавесом во всю ширину сцены. Театральный зал был полон, добрую половину присутствующих составляли военные, здесь проходил всесоюзный съезд Осоавиахима. Членом этой полувоенной структуры, называвшейся обществом, мог стать каждый, кто

исправно платил членские взносы. Возглавлял Осоавиахим командарм Эйдеман, который после нашего «торжественного обещания юных пионеров» сам повязал нам пионерские галстуки, а затем пригласил в отдельную комнату за кулисы, где угостил нас бутербродами (полфранцузской булочки с краковской колбасой) и заварными пирожными, что было для нас фантастическим пиршеством, недоступным даже в праздники. Пока мы поедали угощение, он с нами беседовал, а потом мы с ним все вместе сфотографировались на память. Я хранил это фото до самого начала войны, даже после того как Эйдеман был объявлен врагом народа и расстрелян (1938). Эйдеман объявил, что с этого момента он берет шефство над нашей 46-й средней школой. И по его распоряжению из Москвы летом на Сырце, в пригороде Киева, в лесу был открыт для нас бесплатный пионерский лагерь на базе военизированного лагеря Осоавиахима, где проходили переподготовку уволенные в запас бойцы и командиры Красной Армии. Мы спали в армейских палатках на армейских койках, кормились в армейской столовой (для нас готовили отдельно), а пионервожатым у нас был студент художественного института Николай, который называл нас «гнусными халтурщиками», когда бывал нами недоволен.

Очень мне запомнились пионерские костры (хворосту в лесу было сколько угодно), а еще теплый душ в кабинках под открытым небом, где вода нагревалась на солнце в металлических бачках прямо над головой.

В 1934 году правительство Украины переехало из Харькова в Киев. Начали асфальтировать бульвар Шевченко, с Крещатика убрали трамвайные пути, и он был переименован в улицу Воровского, над магазинами стали появляться остекленные вывески, светящиеся изнутри, и вместо привычного слова «СОРАБКОП»¹ на них появилось непонятное — «гастроном». Теперь мимо нашего дома два раза в день проезжал в автомобиле (летом — в открытом) глава правительства

¹ Союз рабочих кооперативов.

Любченко, а нам к осени 1937-го построили в Чеховском переулке новую четырехэтажную школу-дворец с огромными залами, куда выходили двери классных помещений. И залы, и классы сияли паркетом.

Как и все мои сверстники, я был беззаветным советским патриотом, гордился тем, что страна строит ХТЗ, ДнепрогЭС, Магнитку и социализм, несмотря на козни мирового империализма и капиталистического окружения, готовых задушить единственную страну в мире, строящую справедливое общество на 1/6 части земных континентов; и безоговорочно был убежден, что и голод, и очереди, и «торгсины», и невозможность купить в магазине штаны или пару обуви, что все это — следствие капиталистического окружения и необходимости подготовиться к неизбежной войне с ним, превратив отсталую аграрную страну в передовую индустриальную в течение двух-трех пятилеток. А что это непременно будет сделано, я ни чуточки не сомневался, так как «нет таких крепостей, которых не могли бы взять большевики» (Сталин). Нужда и лишения не снижали и не расслабляли моего патриотизма и веры, что мы постоянно должны быть благодарны партии и правительству за наше счастливое детство. Правда, когда я читал восторженные строки Льва Толстого о его детстве, у меня смутно возникали какие-то совсем другие мысли, я понимал, что почему-то не могу разделить чувств Толстого применительно к детству собственному.

Наш патриотизм в большой мере подогревался советскими праздниками и революционными датами, которые торжественно отмечались всевозможными докладами, собраниями, концертами, пионерскими сборами, демонстрациями и парадами. В любой школе непременно был зал, а в нем — сцена с занавесом, столом для президиума, красной скатертью и трибуной для докладчика. При любых нехватках и бедности всегда находился кумач, на котором смесью зубного порошка, воды и клея трафаретной кистью писались лозунги с восклицательными знаками. А ко Дню 1 Мая и Октябрьской

революции уважающие себя люди обязательно устраивали хотя бы небольшую иллюминацию, венцом которой был обтянутый кумачом деревянный каркас пятиконечной звезды со светящимися внутри лампочками, а также торжественное заседание с обстоятельным докладом и тематическим концертом (вот и попробуйте обойтись без сцены!). Мы же, дети мансарды, старались копировать виденное в городе и в школе и по возможности обильней воспроизвести все это у себя на стенах коридора, хотя там было темно и с трудом можно было рассмотреть и оценить по достоинству наши старания «украсить к празднику коридор» — именно так это у нас называлось.

Никто из моих друзей не верил в то, что у нас в Советском Союзе столько врагов народа (да еще среди них такие люди!), но считалось, что НКВД зря никого не сажает и что партия не ошибается.

Членом этой партии стал еще в 1926 году и мой отец. Ему, как и многим другим честным людям, и в голову не приходило, что, вступая в эту партию, он берет на себя ответственность за все беззакония и разбой ее руководства, которые оно именует диктатурой пролетариата. А в начале 1931 года отец стал, по терминологии тех лет, «выдвиженцем»: партия, остро ощущая недостаток в государственных служащих, выдвигала на эти должности коммунистов из рабочего класса.

КОЗЕЛЕЦ

После «выдвижения» отец работал в кабинете с телефоном на четвертом этаже шестизэтажного дома на Крещатике. Однако в материальном плане жизнь наша несколько не улучшилась.

Отец, видимо, остро ощущал недостаток своего образования, но когда партия куда-то направляла, отказываться было не принято. А в 1932 году его направили на курсы «райснабов» с «отрывом» от обязанностей по службе, но сохранением зарплаты. Учеба давалась ему нелегко. Я это замечал, хотя был еще третьеклассником. В детстве мой отец учился в хедере — еврейском учебном заведении, принадлежащем синагоге и еврей-

ской общине. Там он научился читать и писать по-еврейски и по-русски, но в знаниях математики имел серьезные пробелы. Однако курсы райснабов все же закончил и в порядке партийного поручения был направлен на должность председателя райторготдела в Козелец — райцентр Киевской области, вскоре перешедший под юрисдикцию Черниговской. Отец явно пошел не в тот семафор: коммерческая жилка в нем отсутствовала, а воровская — подавно. Честность не позволяла ему использовать свою должность, чтоб мы хотя бы не голодали в 1933 году. Тогда районная номенклатура учредила для себя закрытый спецраспределитель, снабжавший ее продовольствием, но моего отца в список «тридцатки» не включили. Райком партии вполне резонно полагал, что смешно включать в список председателя ведомства, через которое «проходило» продовольствие: он и так возьмет, сколько сочтет нужным. Но отец не брал ничего.

В Козелец мы приехали летом 1932 года. Именно приехали, а не переехали. Моя тетя Таня, заменившая нам мать, сразу учуяла недоброе в этом «выдвижении» отца из Киева и окончательно покинуть наше городское жилье наотрез отказалась. Поэтому в Козельце мы снимали небольшую комнатку в собственном доме Рутштейна — механика и бывшего агента по продаже швейных машин «Зингер». Он постоянно трудился, ремонтировал машинки жителям Козелецкого района, хотя был уже болен и стар. Можно было только удивляться, как устояла его приватная мастерская в штормовое время ликвидации НЭПа, всеобщей коллективизации сельского хозяйства и построения «основ социализма».

Жили мы в Козельце до Октябрьских праздников, а потом возвращались в Киев. А отец оставался без нас до мая следующего года. Эта кочевая жизнь на два дома длилась четыре года и оборвалась самым неожиданным и неприятным образом, но об этом речь впереди.

Летом 1932 года голод в Козельце еще не очень ощущался, но в 1933-м уже действовал закрытый распределитель.

И я, хоть нас и не было в вышеупомянутом списке, молоко все-таки получал «неофициально», отправляясь по утрам с литровой бутылкой в пункт, где его выдавали. Мне отказывали не так уж часто, но было очень неприятно протягивать бутылку, когда другим дают, а тебе могут и не дать.

Зима 1932—1933 годов в Киеве без отца была для нас трудной и голодной, еще тяжелей оказалась следующая. Отец, оставшийся на зиму в Козельце, почти не мог оказывать нам материальной поддержки, потому что тратил свою небольшую зарплату на пропитание и оплату комнаты. Он ни разу не смог к нам приехать хоть на день, и всю зиму мы не получали от него ни писем, ни вестей и не знали, что и думать. Потом выяснилось, что он чуть не погиб в автокатастрофе и долгое время пролежал в больнице. Нашего адреса в Киеве козелецкое начальство могло и не знать, чтобы прислать нам о нем недобрую весть.

Начальство постоянно упрекало отца в том, что он сидит на чемоданах и требовало, чтобы интересы партии были для него выше семейных. И они были выше. Даже летом по многу дней отец не бывал дома, выполняя в селе, где он был уполномоченным райкома партии, всевозможные поручения, считавшиеся важней основной работы.

В 1933 году мы приехали в Козелец 28 мая. Отцу не удалось раздобыть для нашего переезда грузовик-полуполторку, и мы добирались по Десне пароходом до пристани Остер, а оттуда 18 километров лошаадьми. И хоть с опозданием, все-таки посадили огород. Кроме картошки, кукурузы и подсолнухов, в огороде была еще посеяна полоска проса, но необычного. Зерно его росло подобно камышу на высоком и могучем стебле. Из этого проса мы получили великолепное янтарное зерно. Больше никогда я подобного проса не видел и каши из такого пшена не ел. Летом 1933-го мы не голодали, но досыта стали есть только осенью. Начало сытой жизни ознаменовалось у нас в конце лета сваренным во дворе коллективным (вместе с соседями, снимавшими у Рутштей-

нов половину дома) кондёром — густым пшеничным супом с картошкой нового урожая. Кажется, это был первый день за все лето, когда я поел досыта.

Я учился работать в огороде, у меня были хорошие товарищи. Козелец мне нравился. Это был живописнейший уездный городок Черниговщины с большим количеством прекрасных, но бездействующих храмов и удивительной красоты собором, построенным по проекту Растрелли. До сих пор помню своих друзей-товарищей по козелецкой жизни: Жора Лазарец — сосед, живший на противоположной стороне улицы, его приятель Володя Иванов и мой одноклассник Шурик Ярошенко. У Шурика была младшая сестра Липочка, необыкновенной красоты и обаяния девочка (такой во всяком случае она мне тогда казалась), одноклассница моего брата Ромы. Шурик и Липочка жили в небольшом опрятном домике на территории единственного действовавшего в Козельце православного храма, сторожем которого служил их отец. В компании с Шуриком я впервые переступил порог церкви, впервые увидел и услышал праздничное богослужение (пионерские галстуки мы спрятали в карманы).

ПРО ЧИСТКУ, КОСМОПОЛИТИЗМ И ПОТЕРЮ БДИТЕЛЬНОСТИ

Лучшие воспоминания детства связаны у меня с Козельцем. Но и одно, очень неприятное, тоже связано с ним. Осенью 1935 года, почти через год после убийства Кирова, началась чистка партии. В Козелецком районе она происходила публично, в клубе, переоборудованном из церкви, при большом стечении любопытствующих, независимо от партийной принадлежности. Чистка продолжалась несколько дней, и пройти ее должны были все коммунисты района. Комиссия во главе с первым секретарем райкома, латышом, товарищем Рыниксом, сидела на сцене за столом, покрытым красной скатертью. «Чистившиеся» вызывались на сцену по одному, кратко излагали свою биографию, затем отвечали на вопросы. Даже самые не-

винные вопросы звучали так, будто человека желали непременно в чем-то уличить или обвинить. Во всяком случае мне, сидящему в зале, так казалось. Пришел я туда потому, что в тот день назначено было явиться на чистку моему отцу. Мне шел уже четырнадцатый год, трудная жизнь помогала быстро взрослеть, я интересовался всем, что происходило в стране. В непогрешимости коммунистической партии и ее генеральной линии я не сомневался, как и в том, что мой отец честный коммунист. Но все-таки я волновался, понимая, что, наверно, и его ожидают такие же каверзно-враждебные вопросы, и заранее был уверен, что как бы ни старались те, кто будет их придумывать и задавать, они ничем не смогут повредить отцу.

Действительность опрокинула все мои ожидания. Сначала его пытались обвинить в том, что он брал масло на подконтрольном ему маслозаводе. Я точно знал, что обвинение это ложно: я этого масла никогда не видел и даже не подозревал о существовании такого завода. И у обвинителей ничего не получилось — отец отверг ничем не доказанные выпады. Но их отвратительный привкус все-таки остался, повис в атмосфере зала. И тут был извлечен из папки и оглашен документ-донос, гласящий, что Котляр Исаак Моисеевич торговал тайно в Киеве сахаром, доставляя его туда вагонами. Донос, как водится, также ничем не подтверждался. И обвиняли моего отца даже не в том, что он торговал вагонами сахара в 1919—1920 годах, а в том, что он скрыл этот факт своей биографии от партии. И хотя партия ничем доказать это не могла, да и не пыталась, именно за это отец из партии был исключен.

Лишившись партбилета, отец автоматически лишился и руководящей должности. Теперь наше возвращение в Киев стало делом ближайших дней. Вот когда была оценена прозорливость Тани, не пожелавшей окончательно переезжать из Киева. Что бы наша семья теперь делала в Козельце без работы и крыши над головой?!

Все складывалось, в общем-то, к лучшему, но решение комиссии, «вычистившей» отца из партии, необходимо было обжаловать, то есть доказать документально и неопровержимо беспочвенность и ложность выдвинутых против него обвинений. Наплевать на всю эту нелепость и остаться вне партии, которая так несправедливо поступает со своими членами, было невозможно. Это означало бы молчаливо признать свою вину, а значит, оставить несмываемое пятно на биографии, писать об этом всю жизнь во всех анкетах при поступлении на работу и т.д. Не говоря уже о том, что можно было и загреметь в места, откуда не идут ни письма, ни телеграммы. Так что коммунисту на партию обижаться не полагалось. И, вернувшись в Киев, отец первым делом обжаловал в ЦК ВКП(б) свое исключение из партии. А на работу устроился по своей старой специальности.

Восстановили его в партии только в 1938 году. К этому времени мне исполнилось уже шестнадцать лет, а я все еще не был комсомольцем. На вопросы школьного комсорга Николая Никифоровича Овчаренко, почему я так долго откладываю вступление в комсомол, мне приходилось отвечать уклончиво. И только теперь я смог объяснить комсоргу: я ждал восстановления в партии моего отца. При поступлении в комсомол необходимо было рассказывать свою биографию на общешкольном комсомольском собрании и надо было сообщить о том, что мой отец исключен из партии, а там еще будут задавать разные вопросы, почему и за что... Николай Никифорович моим объяснением удовлетворился и на стандартном бланке заявления поступающего первым написал мне рекомендацию.

К этому времени закончил Текстильный институт в Харькове мой самый младший дядя Сема (он был старше меня всего на восемь лет). Его назначили главным инженером трикотажной фабрики в Прилуках. Сема (Самсон) первым в нашей семье получил высшее образование, но в партию не вступил, потому что считал Сталина бандитом, а Политбю-

ро — его бандой. Он часто бывал в Киеве и часами спорил с отцом, объясняя ему, какой «социализм» строит Сталин и во что он превратил народ Советского Союза.

Я иногда бывал свидетелем дискуссий отца и дяди Семы, слушал неубедительные возражения отца, которому просто не хватало духу согласиться с младшим братом и посмотреть в глаза горькой и страшной правде. Но, соглашаясь мысленно с аргументацией моего дяди, я оставался патриотом Страны Советов и верил в построение социализма, считая диктатуру Сталина временным явлением, которое раньше или позже удастся преодолеть.

Вторично отец был исключен из партии в 1949 году, в разгар борьбы с космополитизмом. На этот раз его обвинили в потере бдительности, которая выражалась в том, что он имел неосторожность ответить на письмо своего брата из Америки, уехавшего туда вместе со старшей сестрой от преследований мачехи еще до революции. Старший брат-американец очень хотел знать, уцелел ли брат Исаак и его семья после Холокоста и страшной войны в Европе. Естественно, не ответить на такое письмо было невозможно. И отец снова провинился перед партией «в ответственный период борьбы с космополитизмом». Правда, горком партии его сразу же восстановил в ее рядах, видимо, потому, что абсурдность выдвинутого против отца обвинения была очевидной. Однако все это исключение и восстановление, вероятно, было так и задумано с самого начала, потому что восстановили его, не отменив абсурдного решения райкома партии, — отца как бы помиловали, простили «потерю бдительности», зато взяли с него обещание переписку с Америкой немедленно прекратить и никогда впредь не возобновлять. Отец обещание сдержал, как бы заживо похоронив брата и сестру.

Жизнь на два дома — в Козельце и Киеве — в течение трех с половиной голодных лет довела нас до уровня полной нищеты даже по тогдашним советским понятиям. Тем более что наша семья пополнилась: отец и тетя Таня поженились,

и осенью 1935 года мы уезжали в Киев с девятимесячной сестренкой.

В самом начале этих записок я упомянул о том, что смолу моей мечтой, целомудренной и страстной, был театр. Возникла эта мечта не на голом месте. Я уже писал о детях мансарды — моих соседях и друзьях, вместе с которыми мы, отмечая советские праздничные даты, «украшали к празднику коридор». Во всем этом я принимал самое активное участие, корпел над изготовлением наглядной агитации, потому что наш лидер Боря Гусовский и мой друг Аарон Бабиченко (см. главу «Последняя пуля») более склонялись к генерированию идей, общему руководству и прибавлению этой агитации к стенам коридора.

Так вот, одной из самых гениальных идей Бори было создание в коридоре («на коридоре», как мы говорили) собственного театра.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ОТРАВА

Предполагалось, что играть в спектакле будем мы все, кто уже может чувствовать себя на сцене действующим лицом и осознать, что от него требуется. Текста пьесы не было — мы должны были довольствоваться сюжетом, устно и с большим темпераментом изложенным Борей (при этом глаза его горели, он становился значительней и даже выше ростом).

Вот этот сюжет. Из какого-то порта какого-то континента отправляется в Америку океанский пароход «Луиза». Пассажиры корабля — сплошь богатые буржуи, а капитан угнетает интернациональную команду матросов, среди которых — и негры, и китайцы. Один из матросов (Боря Гусовский) объясняет команде, что на земле существует Россия — свободная страна — и нет больше причин терпеть унижения и гнет несправедливого капитана (Аарона Бабиченко). Под руководством матроса-революционера команда взбунтовалась, подняла на мачте красный флаг, выбросила за борт (см. фильм «Броненосец “Потемкин”») капитана и всех буржуев и взяла

курс на Советский Союз. Торжествующие матросы на палубе поют:

*«Там в заливе,
Где море сине
И голубая даль,
Есть Россия —
Свободная страна,
Всем примером
Служит она...»*

Сильнее всех театральная идея воспламенила меня, потому что я был болен театром чуть ли не с младенческого возраста. Мне исполнилось всего четыре года, когда родители взяли меня с собой в театр на вечерний спектакль. Запечатлела моя душа, как долго родители умоляли билетершу пустить их в зрительный зал с маленьким ребенком, как под аккомпанемент родительских обещаний, что я буду сидеть тихо, я молча утирал слезы, катившиеся у меня по щекам и ставшие, быть может, последним веским аргументом в нашу пользу. Я не запомнил названия спектакля, помню только, что на сцене были настоящие кони, красочные декорации, яркие костюмы на украинских казаках и сабли, которые казаки то и дело пускали в ход или решительно за них хватались и обнажали в момент драматического напряжения. Спектакль шел в помещении нынешнего театра им. Франко, домой мы возвращались на извозчике, в быстроходных санях, укрытые медвежьей шкурой, увлекаемые стройной лошадкой в красивой упряжи по сверкающим под фонарями заснеженным белым улицам между рядами снежных сугробов. Мне совсем не хотелось спать и не хотелось выходить из волшебных санок, когда они остановились у нашего парадного и отец взял меня на руки.

А летом по соседству с нами за кирпичным забором на пустыре соорудили стадион и летний театр клуба «Пищевкус», принадлежавшего профсоюзу пищевиков. По вече-

рам, каждую субботу и воскресенье, в кирпичном заборе открывалось манящее ярким светом окошко с лаконичной надписью «касса», где продавали билеты на спектакль, объявленный в афише. Я же, видевший афишу еще днем (случалось, я видел, как ее прикрепляли к забору), загорался неистовым ожиданием, сравнимым со страстью влюбленного. Мне казалось, что время остановилось, что солнце никогда уже не приблизится к горизонту, а день никогда не кончится. У меня пропадал аппетит, нервы напрягались до предела: я боялся, как бы чего-нибудь не случилось. А вдруг пойдет дождь (театр был под открытым небом, и только сцена, хорошо оборудованная, была под крышей), а вдруг папа поздно вернется с работы (никогда такого не случалось!) или не откроется касса... Театр стал моей мечтой, моей самой волшебной сказкой, моей болезнью.

Поэтому легко себе представить, как загорелся я идеей поставить на коридоре спектакль. Идея эта умерла бы, едва родившись, если бы не я. Ей просто суждено было угаснуть, как и многим другим идеям, рождавшимся в горячей голове Бори Гусовского. Спектакль требовал сцены, освещения, декораций, костюмов... Но ничего этого не было, и невозможно было представить, откуда все это возьмется; хотя бы даже — где отвести место для сцены в коридоре, ширина которого не достигает и трех метров в самом широком месте? Если учесть постановочные возможности, которые, с любой точки зрения, равны были нулю, а также амбиции Бори и Аарона, обратно пропорциональные этим возможностям, то нетрудно вообразить, сколько изобретательности, энергии, трудов и убеждений нужно было употребить, чтобы давать все новые и новые импульсы многократно замиравшему процессу осуществления постановки. Мне было «больше всех надо». Поэтому я был основным и почти единственным художником-постановщиком, и художником по костюмам, и заведующим постановочной частью... Не подумайте, что мои старшие товарищи, Боря и Аарон, были бездарными людьми.

Наоборот: они уныло и придирчиво критиковали мою работу, всякий раз обнаруживали все новые препятствия на пути к премьере и готовы были в любой момент отказаться от затеи. Я же и подумать не мог, что спектакль не состоится. А потому, скрепя сердце, часто сдерживая готовые брызнуть слезы (а иногда и со слезами), переделывал нарисованное, исправлял критикуемое, изобретал выходы из абсолютно тупиковых ситуаций.

Начал я все-таки с пьесы, а вернее, с текста, который действующие лица будут произносить на сцене. Особых мук творчества я не испытывал. Писать текст для Бори Гусовского не требовалось вообще, так как он все равно будет говорить на сцене, что захочет. Начало спектакля явилось моему мысленному взору еще до того, как я взялся за перо: на авансцене появляется матрос-негр — зазывала пассажиров с таким текстом:

— Билеты! Билеты! Берите билеты! Через двадцать минут отправляется океанский пароход «Луиза»! Он плывет в Америку, где доллары валяются на земле! Спешите! Спешите! Берите билеты!

Самым остроумным местом в пьесе был текст, сочиненный моим дядей Юрой, уже отслужившим в армии и работавшим клепальщиком котлов на заводе «Большевик». Он сочинил монолог для моего брата Ромы, отличавшегося некоторой полнотой и способностями комика, а потому подходившего на роль одного из пассажиров «Луизы». Выходя на палубу, Рома говорил:

— Уважаемые лорды и леди, я — король самоварной меди, председатель треста сдобного теста, любитель всевозможных наук — сам Кук Бук Джук...

В последний момент Люба Горенштейн, которая исполняла роль единственной на корабле дамы и танцевала танго с деспотом-капитаном, играть в спектакле отказалась, и меня не оставалось иного выхода, как сыграть эту роль самому, не отказываясь от роли зазывалы-негра, которую, кроме меня, тоже играть было некому.

И премьера состоялась, успех был полным, а театр навсегда остался для меня светлым праздником и заветной мечтой.

О театре я думал как о своей будущей профессии, хотя никому в этом не признавался. Несмотря на все превратности моей военной «карьеры», театральная отрава никуда из меня не ушла, но в 1946 году мне уже было ясно, что театр как профессия навсегда остался для меня за пределами доступного, и моя подпорченная биография стала тому причиной.

С ПЯТНОМ НА БИОГРАФИИ

Возвратившись в Киев после всего, что со мной произошло за пять с половиной лет, я на следующий же день, 6 декабря, отправился в свою родную 91-ю школу и был приятно удивлен, найдя там того же директора Приймачка. Встреча была теплой и радостной, чуть с грустинкой. Узнав, что я был в плену, Приймачок не очень удивился, но очень огорчился и уж, конечно, не произнес ни слова упрека, разве что — в адрес моих угасших, как он выразился, глаз. Что-то из меня невосвратно ушло, что-то надломилось и погасло, и он понимал, что причиной тому была не война, а плен. Он тут же восстановил мой аттестат зрелости взамен зарытого на краю воронки под Каховкой.

О возможности моей педагогической работы Приймачок не заикнулся, а предложил мне работу кассира и уполномоченного по продовольственным карточкам. А ведь когда по окончании школы я ждал призыва в армию, он сразу взял меня на должность старшего пионервожатого школы и говорил о перспективах преподавательской работы. Заподозрить Приймачка в забывчивости было никак нельзя. И это еще раз подтверждало, что педагогическая работа мне не светит.

Кто б мог подумать, что 1 сентября 1947 года я стану студентом Учительского института? На этом настояла моя жена Белла (6 июля 1947 года я женился), о которой я уже упоминал в начале своих мемуаров.



Леонид Котляр. Конец 1940



*Леонид Котляр.
Штуттгарт-Фейербах. Лето 1944*



*Леонид Котляр.
Штуттгарт. 21 мая 1944*



*Леонид Котляр.
Витенберг. 3 февраля 1946*



*Мама (справа) с сыновьями Леней и Ромой и Таня (слева).
Киев, Святошино. 1927*



Исаак Моисеевич Котляр (слева)



Леня Котляр



*Рахиль Лазаревна Рисман со своим
женихом, который погиб, не став ее
мужем. Местечко Макаров
Киевской губернии. 1918*



Леня и Рома



*Лазарь и Цивья Рисманы со своим
сыном Рувимом. Местечко Макаров
Киевской губернии. 1916*



СОРАБКОП



Евбаз. 1930



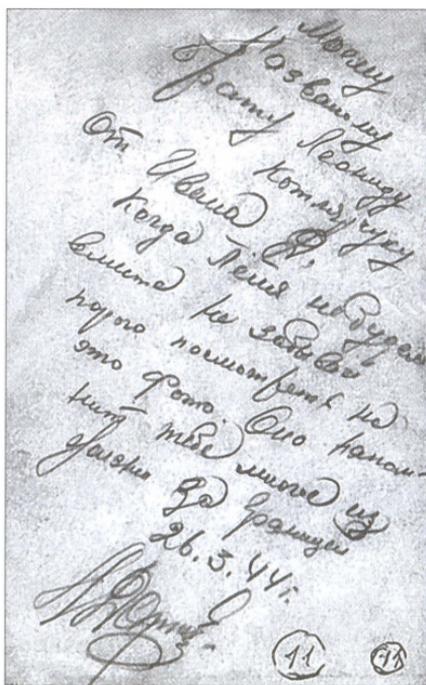
Евбаз. 1930-е годы



Дом на углу бульвара Шевченко и Дмитриевской улицы. 1934



Дети мансарды. Крайний справа — Леня Котляр



Иван Доронин с предметами роскоши
(И подпись на обороте этой фотографии)



Иван Доронин. Февраль 1943



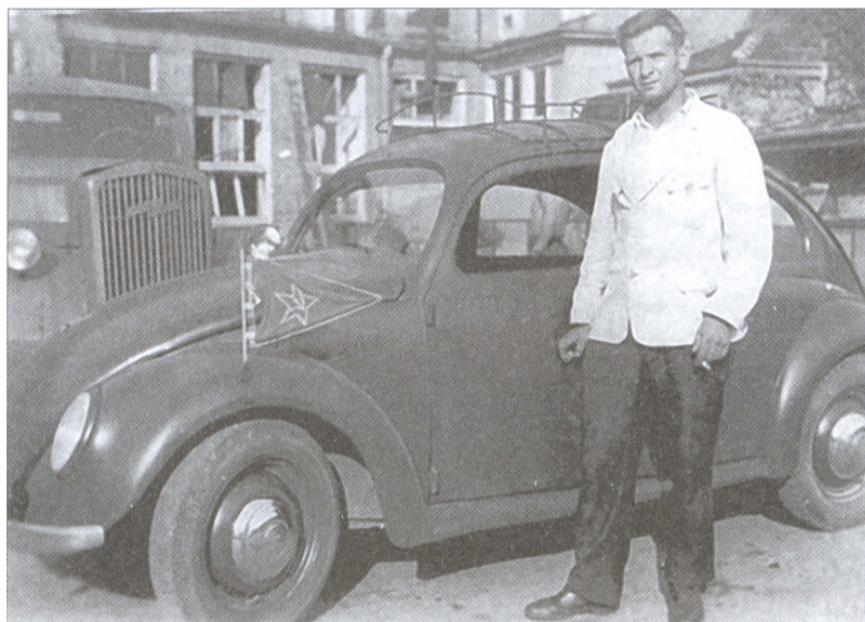
*Справа внизу, в пилотке —
Григорий Курочкин. Июль 1945*



Андрей Михайлец



Павел Бриллиант. 21 мая 1944



Дмитрий Брицкий. 1945

г. Киев, ул. Свободного дома 143 кв. 4
гр-ну КОТЛР И.М.

Ваше письмо получили. Сообщаем Вам, что в части, где служил Ваш сын КОТЛР Роман Иванович никто не имел переписки с ним после того как он ушел по ранению.

В настоящее время нами сделан запрос в военно-медицинский музей г. Ленинград / архивное учреждение, по поводу ранения Вашего сына.

О результатах Вам сообщим.

Начальник воинской части
Полковник Печев 48927
гв. подполковник
/ П. П. ПЕЧЕВ /

Второе письмо командира части, в которой служил Роман Котляр, его отцу

Сов. Авторем. Завод
Штутгарт-Цуффенгаузен
1945 г.

Штутгарт, 4.8.1945 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Предъявляется свидетельство

Котляр Леонид Иванович

действительно работал на русском авторемонтном заводе "ПОРШЕ" в гор. Штутгарт-Цуффенгаузен от 6 мая до 3 августа 1945 г. в качестве зав. цехом производства



Начальник авторемонтного завода

Роговой
/ Роговой /

Удостоверение Леонида Котляра

12 июля 1946
Литера Писемная, Котляр
22, 23. 24 год осекая педду
Тамой. Тамой обрзом пед
сбодена педвудидаете.
Тамой, то сарлициваете
о педрбидетих педд невальних
ей в отиски Тамойсоду
всего в одном педоме не
отиски, а скарте обвети
не твои сарлик педд не
окальки не педоблетворит
напудрой, педоблет еще бод
не сарлик. Тамой об
рзом, педором еще кетомо,
когда я педду. Мд кем
ного ботиски, педурки и
я педкенту, педд тамд
всего по-педорду (если тамд
то всеи тамд ботискино
педкентать по-педорду).

М.
От любви я получаю письма
очень теплые и дружелюбные.
По этим письмам видно,
что мне остается жить, так
как печалют человека, ут-
радившего руку или ногу.
Когда ему Нельва помочь
в его горе, его все-таки
утешают, приговаривая, что
оба руки еще можно
проткнуть и др. Мне не
попихает, что меня не надо
и не надо педать. Конечно
ее письма приятно читать
от них свет исподдель-
ной, а искренней дружелю-
бия и расположением. Там,
что Тамой не хочет мне
писать. Ну! что пед?

Фрагменты письма Л. Котляра

Привет, Белька! 5/июль
 Я существую. М.Н. тоже
 Я в Бозрке М.Н. тоже
 Я сейчас еду в Киев
 М.Н. возможно, тоже.
 Санаторий ликвидирует
 ся и я остаюсь безработ-
 ным М.Н. тоже
 Я отменно себя чувствую
 Думаю, что М.Н. тоже
 Постараюсь в ближай-
 шие дни зайти М.Н. освяд-
 но, не тоже
 Ну и все!
 С прив. Белле!
 Твой Ассин

ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА
 CARTE POSTALE

Куда: г. Киев
Наименование места, где находится почта, и области или края, а так же станция-наименование железной дороги.

ул. Красноармейская №18 кв.5
Район, село или деревня.

Кому: Каплунович Б.
Улица, № дома и квартира.
 Подробное наименование адреса.

ОТПРАВЛЯЙТЕ СВОЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ С УВЕДОМЛЕНИЕМ О ВРУЧЕНИИ

Адрес отправителя
 Adresse de l'expéditeur } Киев, Бульв. Шевченка 62/13
Котляр Д.И.

Открытка Белле Каплунович, будущей жене. 5 июля 1941



Письмо Романа Котляра отцу



Роман Котляр. 1944



*Офицеры вермахта проводят осмотр пленного красноармейца
на предмет наличия обрезания*



«Отобранного» еврея-военнопленного выводят из строя



В некоторых лагерях процедура поиска евреев сопровождалась оркестровой музыкой



Несчастных, однозначно опознанных как евреев, помечали Звездой Давида и, перед тем как уничтожить, изолировали от основной массы военнопленных



*Пленные, избежавшие немедленного уничтожения,
обрекались на долгие муки,
которые для большинства закончились смертью*

Жена училась в консерватории и была пианисткой. Каждое лето начиная с 1939 года она приезжала в Боярку, в противотуберкулезный санаторий, заменить тамошнего музработника на время отпуска. Там летом 1940 года я и познакомился с ней и с ее женихом, который потом погиб на войне.

Формально, по закону, никто не лишал меня права поступать в институт. Более того, участники войны принимались вне конкурса. Учительский институт давал возможность получить диплом через два года, которые мы надеялись просуществовать на заработки жены, мою стипендию и на то, что мне, быть может, удастся подзаработать во время учебы и летних каникул.

На вступительных экзаменах я сразу же получил двойку за диктант, так как сделал тринадцать ошибок. Это меня очень удивило: ведь в школе я получал по русскому языку в основном пятерки. Сказалось отсутствие практики письменной речи на протяжении всей войны. Провалив диктант, я не допускался к следующим экзаменам, но комиссия сделала для меня как для участника войны снисхождение: на устном экзамене мне показали мой диктант, где красными чернилами были подчеркнуты, но не исправлены, мои ошибки, и сказали, что если я их исправлю и объясню и сдам устные экзамены, мне за диктант поставят тройку. С этой задачей я справился и был допущен к следующим экзаменам, которые сдал на четверки.

Учился я лучше всех на курсе, но Сталинскую стипендию получал комсорг института, мой сокурсник и ровесник. А мне бы она ох как пригодилась: в мае 1948 года у меня родился сын и надолго заболела жена. Положение наше было просто бедственным, и вся надежда была на то, что хотя бы по окончании института у меня появится постоянный заработок.

Гром грянул в июне 1949-го: когда я уже сдал два госэкзамена из четырех, меня из института исключили. В приказе значилось: «по причине сокрытия факта биографии при поступлении в институт».

Инициатором этого приказа стал завкафедрой марксизма-ленинизма Бабенко. Майским утром 1949 года за несколько минут до начала занятий я поднялся по лестнице в плотном потоке студентов, когда он оказался рядом со мной. Слегка придерживав меня за локоть, он обратился ко мне по фамилии (я был уверен, что он вообще не замечает меня среди прочих, поскольку у нас не преподает и за все время учебы я ни разу с ним не общался). Бабенко руководил чем-то вроде политического клуба и спросил, почему я ни разу за два года туда не заглянул. В нескольких словах я перечислил ему столько уважительных причин, что он мне даже посочувствовал. Но все-таки настоял на том, чтобы я прочел доклад перед студентами и назвал тему, заметив, как важно нашим студентам, большинство которых проживало на временно оккупированной территории, слушать подобные доклады. Я поспешил с ним согласиться и, к слову, сообщил, что и сам я был в плену и жил на оккупированной территории. Такое ему и в голову не приходило по отношению ко мне, еврею, еще и умудрившемуся при этом выжить. Потерю бдительности человек этот вряд ли мог себе простить, а мне — тем более. Я понял, что даром мне это не пройдет и надо ожидать неприятностей. И они не заставили себя ждать.

Мне пришлось долго доказывать, что факта своего пребывания в плену я не скрывал (это было известно и письменно зафиксировано с моих слов в спецчасти института), а заодно объяснять, как это могло случиться, что еврей, пробывший в плену почти всю войну, остался жив. Беседа с директором института длилась три часа, была отпущена секретарша, заперта дверь кабинета. Директор не скупился на самые каверзные вопросы и придумывание самых невероятных ситуаций, в каких я мог бы оказаться, хотя безвыходней тех, в каких я побывал на самом деле и о которых рассказал ему, вряд ли можно было представить. В результате директор заявил, что лично он против меня ничего не имеет, но обстоятельства...

В институте я был все же восстановлен, помог в этом, как ни странно, парторг института, который повел меня в Министерство просвещения УССР и почти продиктовал текст заявления. Диплом мне выдали, но мытарства мои не закончились: мне было отказано в назначении на работу. «Мы вам политически не доверяем», — объяснили мне в Управлении кадрами. Я подал жалобу в Министерство госконтроля. Вряд ли бы я поступил так, если бы до конца сознавал, на каком тонком лезвии балансирую и как легко могу очутиться в ГУЛАГе. Тем более что в это время уже набирала обороты кампания по борьбе с космополитами, а попросту говоря, с евреями, работавшими в сфере культуры и искусства.

Все лето я «ходил по инстанциям», добиваясь назначения на работу, как вдруг, выйдя из очередного кабинета в Министерстве просвещения и спускаясь по лестнице, встретил человека, остановившего меня задиристым вопросом:

— Ты чего, солдат, обиваешь пороги министерства? Не хочешь уезжать из Киева в село?

Я сразу определил в нем директора, явившегося «выбирать кадры» для своей школы, и ответ мой был полушутливым: уезжать из Киева не хочу, но к нему поеду, потому что он мне понравился. Через полчаса мы были в отделе кадров киевского ОблОНО, а 24 сентября я прибыл на работу в Кагановичский район Киевской области. (Сам я в ОблОНО обращаться опасался, чтобы нечаянно не обнаружилась позиция, занятая по отношению ко мне Министерством просвещения. Вмешательство директора школы почти исключало такой вариант, и потому я на это решился.) Так неожиданно и победно разрешилось мое «запутанное дело». Я стал преподавателем русского языка и литературы в семилетней школе села Варовичи.

А тяжба моя с Министерством просвещения закончилась, когда истек первый месяц моей работы в школе. Министерство госконтроля решило дело в мою пользу, и мне позвонила из Киева в Варовичи жена и попросила срочно выслать

ей справку с места работы: ей надлежало получить невыплаченные мне подъемные и еще какие-то суммы после окончания института. С моей справкой жена явилась к директору Учительского института, который поздравил ее с благополучно завершившейся эпопеей моего трудоустройства, и получила причитающиеся мне деньги. Голодное время для нас кончилось, нашему сыну шел уже второй год. И дни замелькали быстрее.

Я не ставлю перед собой задачи описывать подробности своих педагогических будней. Скажу только, что, кроме Варовичской школы, успел поработать и инспектором РОНО, и учителем русской словесности в Кагановичской средней школе № 1, и чуть не стал завучем в детдоме; а к началу 1953 года преподавал в Стещинской средней школе того же района. Мое появление в селе Стещина совпало с открытием в местной школе 10-го класса — впервые за все время ее существования — и впервые русскую словесность там начал преподавать специалист с дипломом института (в моем лице).

Работать в сельской школе было трудно по многим причинам. Во-первых, начинала входить в силу процентомания, разъедавшая впоследствии многие годы школу и подрывавшая уважение к учителю, на котором школа, по сути, и держится. Во-вторых, сказывалась слабая подготовка детей и суровые условия деревенской жизни, в семьях царил послевоенная нищета. В-третьих, игнорировались и замалчивались достижения возрастной психологии. В-четвертых, на учителя были повешены многочисленные общественные поручения чисто формального характера, требовавшие затрат времени и сил и не дававшие ни морального удовлетворения, ни эффективных результатов. А всевозможные советские праздники, апофеозом которых явилось семидесятилетие Сталина, требовало участия в бесчисленных мероприятиях, окончательно отрывавших от работы.

Об учителях в Стещине утвердилось мнение, что «воны ничего не робляют», и в этом заключалась еще одна, допол-

нительная трудность учительского положения. Завистливая враждебность к учителю подогревалась и тем, что он получал ежемесячно 8 килограммов муки, бесплатное топливо (пусть и в недостаточном количестве), керосин для лампы и зарплату. А колхозник — не более 100 граммов зерна на трудодень, а вместо денег — облигации внутреннего займа. Впрочем, я хоть и был одним из немногих учителей — непостоянных жителей села, не мог пожаловаться на плохое отношение лично ко мне, оно было уважительным. А дети в школе даже симпатизировали некоторым из нас, а кого-то просто любили.

Не почувствовал я враждебности и тогда, когда до Стещины докатилась возникшая в 1952 году волна антисемитизма в связи с «делом врачей».

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ»

В селе Стещина не было ни радио, ни электричества, а газеты приходили на третий день и вывешивались в застекленной витрине возле сельсовета, где их почти никто не читал. Однако и в это глухое село волна «дела врачей» докатилась. Волну поднял прибывший с районного инструктажа председатель сельсовета, выступивший на расширенном его заседании, куда были приглашены (явка обязательна) все учителя и должностные лица села. Свое выступление председатель читал по выданному в райкоме тексту, стараясь придать голосу соответствующее теме звучание. Конечно же, он не мог спокойно говорить о преступной деятельности врачей-евреев, поставивших перед собой целью уничтожить советский народ путем неправильного лечения, губительных лекарств и прямого отравления. Село загудело. Впрочем, я не почувствовал, чтобы отношение ко мне в селе ухудшилось хоть на йоту.

Но в то же время я не мог не понимать, что к лету антисемитская кампания наберет обороты, по сравнению с которыми накал борьбы с космополитами 1949 года покажется детской забавой. А затем грянут показательные суды, процессы, ко-

торые сорвут маску честных граждан-патриотов с оголтелых преступников, перед которыми даже фашистские изверги покажутся невинными младенцами; а затем — и расправа над советскими евреями, которая будет вполне сопоставима по своим характеристикам с гитлеровским «окончательным решением еврейского вопроса». И расправу эту Сталин преподнесет миру как защиту всего советского народа от преступников-врачей, а в первую очередь — самих евреев от «справедливого гнева» народа, поскольку не все же евреи виноваты в заговоре врачей-сионистов; но и советский народ не виноват, что нет возможности отличить невинных евреев от преступников-заговорщиков. В сложившейся же ситуации невинных можно будет уберечь от справедливого гнева, только переселив всех евреев куда-нибудь подальше, скажем, в тайгу. А эшелоны-товарняки, топоры и пилы, чтобы соорудить себе жилища в глухом лесу, Родина предоставит им в нужном количестве и бесплатно. И окажется, что валить лес и обживать новые места (ну, скажем, где-нибудь в районе Биробиджана) придется в самое неподходящее время года...

Уверенность в том, что Сталин такую расправу готовил, окрепла у меня после случайного разговора с моим близким родственником, бывшим майором-фронтовиком. Летом 1952 года он работал шофером на одном из киевских хлебозаводов и возвращался из очередного ночного рейса (иногда ему поручали доставить машину черствого хлеба в один из районов области, где этот хлеб, черствевший в магазинах Киева, моментально раскупался). В машину к нему подсел попутчик, который доверительно сообщил ему новость, пока еще никому не известную: очень скоро Советский Союз будет очищен от жидов, и тогда, наконец, жизнь по-настоящему улучшится, поскольку раскрыт заговор евреев-врачей (профессоров и академиков), которых уже посадили, и т.д. и т.п. Пассажир был весьма словоохотлив, отрекомендовался работником НКВД и поделился секретом с водителем только потому, что сразу по орденской планке на гимнастерке определил в собеседнике бывшего фронтовика.

Нетрудно было догадаться, что ночной разговор был не случайной болтовней, а организованной «утечкой информации».

Маховик антисемитской пропаганды был раскручен настолько, что сельскими агитаторами становились даже самые ленивые, никогда не желавшие заниматься агитацией в период выборов учительницы, как, скажем, жена директора 1-й Кагановичской средней школы. Забросив свое домашнее хозяйство и школьные тетрадки, она вечерами напролет «открывала глаза» своим безразличным к политике односельчанам на то, какую опасность таит для них коварный заговор врачей-сионистов против советского народа.

Только чудо могло спасти евреев от массовой расправы. И чудо произошло. В один из первых весенних дней 1953 года умер Сталин. Не могу сказать, что, узнав о его кончине, я с облегчением вздохнул: у меня не было уверенности в том, что дело врачей автоматически умрет вместе с ним и сидящие в тюрьмах светила медицины будут тотчас отпущены на свободу. Но слабая надежда появилась.

В Стещине, лишенной электричества и радиоточек, было два радиоприемника, бездействовавших по причине отсутствия батареек. По случаю смерти вождя батарейки экстренно раздобыли, один из приемников был поставлен на сцене сельского клуба рядом с портретом Сталина в траурном оформлении. После уроков я пришел в клуб, сел поближе к радиоприемнику, слушал симфоническую музыку и сообщения о важнейших политических событиях, происходящих в Москве накануне похорон «вождя всех народов». Я стремился уловить хоть слабый косвенный намек на то, что власть, быть может, намечает какие-нибудь перемены в своей политике. Сидел я в течение нескольких часов один в компании приемника и портрета вождя и окончательно убедился в том, что народ Сталина никогда не любил и ничего хорошего от власти не ждет, поскольку совершенно не интересуется тем, что происходит в Москве.

Уже после похорон Сталина меня включили в бригаду по распространению облигаций нового государственного займа 1953—1954 годов, обязательного для всех трудящихся. Из зарплаты в течение десяти месяцев удерживались десять процентов заработка, в счет чего выдавались облигации, погашавшиеся затем в течение многих лет тиражами выигравшей. Я отказался работать в комиссии по подписке на заем, так как считал неприемлемыми для себя принудительные методы распространения облигаций среди колхозников, изо всех сил противившихся подписке, отбиравшей у них последние заработанные в колхозе гроши. Мне, как беспартийному, это сошло с рук.

Умер Сталин, был расстрелян Берия, сменялось руководство и состав Политбюро, но антисемитизм оставался неизменной политической составляющей этой разбойничьей «руководящей и направляющей» силы, именующей свою партию коммунистической.

ХОЛОКОСТ ПО-СОВЕТСКИ

Сказать, что эту составляющую я ощущал на протяжении всей своей трудовой биографии, — все равно что не сказать ничего. Именно антисемитизм (как государственный, так и бытовой, личный) в сочетании с пятном на биографии (немецкий плен) определил мою участь на долгие десятилетия.

Мне исполнилось 27 лет, когда я, наконец, добился права работать преподавателем русской словесности, и я твердо знал, что не стоит рассчитывать на нечто большее в плане собственной карьеры. Но даже эта карьера, едва начавшись в Варовичской семилетней школе, неожиданно сделала новый поворот.

В конце октября 1949 года (еще продолжалось теплое бабье лето) в Варовичскую школу приехал заведующий РОНО Федор Антонович Овсиенко в сопровождении учителя немецкого языка Василия Васильевича Калистратова. Миссия зава РОНО в Варовичской школе на этот раз была постыдно-неблагодарной: ему предстояло пристроить упомянутого Василия Васильевича

в эту школу преподавателем немецкого языка, хотя школа в таком не нуждалась, так как на этой должности уже много лет успешно работала учительница Лидия Федосеевна, коренная жительница села Варовичи, жена завуча школы. А чтобы не оставить ее без работы, предполагалось передать ей мою нагрузку преподавателя русского языка и литературы, а меня перевести на другое место — конечно, против моего желания.

Василия Васильевича, проштрафившегося с начала учебного года в соседнем селе на почве пьянства и «аморалки», переводили в Варовичи, видимо, в наказание, а главное, — в надежде, что на новом месте он не допустит ничего такого, а будет вести себя надлежащим образом. Преподавал немецкий язык Василий Васильевич на том основании, что вплотную с ним соприкоснулся в поверженной Германии в качестве одного из отважных летчиков-истребителей, принесших на алтарь Победы немалый вклад своей отвагой и не однажды пролитой в небесных сражениях кровью. Правда, теперь он заочно изучал немецкий язык в институте.

По поводу прибытия гостей в доме у Лидии Федосеевны был накрыт стол, приглашены директор школы (на то он и директор) и я, поскольку дело касалось в равной степени и меня, как и хозяев застолья.

В доме у Лидии Федосеевны я, оказавшись там впервые, познакомился с ее старушкой-матерью, сразу завязавшей со мной беседу-дискуссию о новом романе Ажаева «Далеко от Москвы». Я был приятно удивлен, даже слегка ошарашен манерами, эрудицией, правильной русской речью и молодым блеском глаз этой немолодой женщины, прожившей всю жизнь в глухом селе, владельцами которого были некогда ее предки-дворяне.

Удивился я и поведению зава РОНО Федора Антоновича и его протеже, которые держались так, будто их «миссия» не наносит никому никакого ущерба, будто замена опытного специалиста дилетантом-недоучкой, оскандалившимся в

соседней школе, не требует от них ни объяснений, ни извинений (хотя бы) перед теми, кого они подвергают неожиданным и нежелательным рокировкам. На лицах прибывших невозможно было заметить ни тени смущения. Почему?.. Вероятно, потому что Федор Антонович выполнял поручение райкома партии и, таким образом, совесть его была чиста. Что касается Василия Васильевича, то у него, видимо, угрызений совести и быть не могло, так как он все происходящее воспринимал как должное, полагая, что его боевые заслуги дают ему право не очень утруждать себя самоанализом и не задумываться по поводу чувства ответственности за свое поведение всю оставшуюся жизнь. Он, видимо, был убежден, что Родина перед ним в неоплатном долгу, а зарплата, им получаемая, — всего лишь частичное погашение этого долга, даже если он позволяет себе время от времени расслабиться и не особо напрягается, выполняя то, чего требует от него работа в школе. Для него все еще продолжалось начатое в мае 1945 празднование Победы и того, что эту Победу он встретил живым, здоровым и ни перед кем не в ответе. Был он холост, молод, невежествен и беззаботен; ни дня не обходился без бутылки, которую по-фронтовому называл гранатой, и продолжал воспринимать жизнь как нескончаемый и честно заработанный праздник. На него невозможно было обидеться или рассердиться: его взгляд и душа были безмятежны и наивны.

Взамен отнятой у меня работы Федор Антонович предложил мне должность инспектора РОНО. Я предпочел не бунтовать, не жаловаться, не иметь дела ни с райкомом партии, ни с ОблОНО, так как уже лишился к этому времени многих иллюзий. Тем более что из глухого села меня переводили в райцентр, и Федор Антонович обещал мне компенсировать потери в зарплате догрузкой в школе и обеспечить работой в райцентре мою жену, чтоб я мог забрать свою семью в Кагановичи. Я тогда еще не знал, что этот милый человек и бывший фронтовик не выполнит ни одного своего обеща-

ния, поскольку он их вообще никогда не выполнял (это было известно всем, кто с ним соприкасался).

Приехав в Кагановичи с двухлетним сыном, моя жена стала руководить школьным хором, танцевальным кружком и хором в Пионерском клубе — все это за чисто символическую плату. С ее появлением было открыто пианино, стоявшее в пионерской комнате школы и запертое на ключ многие годы, был вызван настройщик из Киева. Дети приходили в пионерскую комнату не то чтобы послушать — хотя бы посмотреть, как играют на пианино. Был куплен большой аккордеон — на случай выступлений вне школы.

С этим аккордеоном связан курьезный случай. Через некоторое время после его приобретения мою жену вызвал второй секретарь райкома партии и отчитал ее за то, что она... в корыстных целях использует школьное имущество (аккордеон) для работы по совместительству в Пионерском клубе. «Если подобная преступная практика не прекратится, — предупредил секретарь, — вы, Белла Абрамовна, будете привлечены к уголовной ответственности». Те обстоятельства, что Белла Абрамовна — единственный человек в Кагановичах, который умеет на этом аккордеоне играть, что ее общий заработок на двух должностях не достигает даже половины ставки учителя младших классов, что, наконец, в Пионерский клуб ходят те же самые дети из той же школы, в расчет приняты не были.

Память моя сохранила еще один курьез, ярко характеризующий нравы тоталитарной эпохи и связанный уже с моей деятельностью. Преподавая русский язык и литературу в Кагановичской школе, я стал вести там (разумеется, абсолютно бесплатно) кружок художественного чтения — дала-таки себя знать «театральная отравка»! Через некоторое время школа (а точнее, наша с женой деятельность) вытеснила Дом культуры из районных мероприятий, посвященных знаменательным и праздничным датам. Поэтому сценарий литературно-музыкальной композиции, посвященной 80-летию со дня рождения Ленина, райком партии потребовал от школы. Уже

к февралю сценарий был готов, представлен директором школы в райком и вскоре возвращен — всего с одним замечанием.

— Как же это мы с вами так опростоволосились, Леонид Исаакович?! — сказал директор, вызвав меня к себе в кабинет.

— Забраковали? — спросил я.

— Нет, — ответил директор, — но сценарий готов только наполовину. Поймите, там ведь нет ничего о товарище Сталине. А товарищ Сталин — это Ленин сегодня. Нужна вторая часть, которая по объему и значению будет равна первой части.

Могли ли быть здесь возражения?

Между тем мы едва сводили концы с концами, и полная неустроенность на протяжении трех лет вынудила нас вернуться в Киев, где мне осенью 1953 года удалось устроиться на должность заведующего библиотекой 55-й средней мужской школы (в то время школы в Киеве еще делились на мужские и женские). Вечерами здесь работала единственная на Украине заочная школа глухонемых и слепых для взрослых, где со следующего учебного года мне удалось догрузиться по совместительству преподавательской работой по специальности. А еще через год я уже занимал должность методиста в этой школе (по штатному расписанию должности завуча в заочной школе не было, а выполнявшему обязанности завуча методисту платили гораздо меньше). И только в 1956 году директриса Катерина Денисовна добилась для школы должности завуча.

Катерина Денисовна считала, что должность эта по праву принадлежит мне, но у зава РОНО Молотовского района Семена Никитича Ермоленко оказалась своя кандидатура, и меня он вынудил уволиться.

Случай все-таки помог мне оставить библиотеку и получить учительскую должность в 55-й школе. В это же время я заочно закончил Киевский пединститут им. Горького (ставка учителя с дипломом Учительского института была на 10 % ниже).

Каждый учебный год начинался для меня с того, что под сомнением оказывалась моя учительская нагрузка. В такой ситуации выход был один: идти на поклон к Семену Никитичу. И приходилось идти.

В советских школах в эти годы проходила очередная реформа: одни превращались в неполные средние (восьмилетки), в других — полных средних — открывались одиннадцатые классы. А в Шевченковском (бывшем Молотовском) районе строился новый микрорайон — Сырецкий жилмассив. Туда быстро переселялась часть жителей центра, и в связи с этим таяла наполняемость и сокращалось количество классов в «старых» школах. В этих школах возник избыток учителей, и в первую очередь эта проблема, конечно, коснулась меня. Тем временем новые школы Сырца пополнялись новыми кадрами, как будто проблемы старых кадров в центре не было вовсе.

В довершение ко всему 55-ю школу, где я работал, совсем закрыли, а классы «растолкали» по другим школам. Я оказался в соседней — 155-й, а мой заработок от этого чувствительно пострадал. Когда же директриса 155-й школы попыталась компенсировать мне эту потерю, назначив меня и. о. завуча младших классов (на полставки), то все тот же Семен Никитич Ермоленко тут же передал эту должность бывшему директору другой школы, которого сняли со скандалом за развал работы и растрение малолетних. Его как коммуниста и участника Великой Отечественной войны не судили, а перевели в школу рабочей молодежи на ставку преподавателя истории. А Семен Никитич Ермоленко пожалел своего дружка и добавил ему еще полставки завуча, отобрав ее у меня.

Я решил, что разговора с Ермоленко мне не миновать.

Он оказался у себя в кабинете и принял меня сразу, и сразу же, не дав мне сказать ни слова, поспешил заверить меня, что в кратчайший срок найдет для меня дополнительную работу. Но я все же сказал ему примерно следующее. Если бы вы, —

сказал я, — были вынуждены отобрать у меня половину зарплаты, чтобы трудоустроить человека, совсем лишившегося работы, я, возможно, отнесся бы к этому с пониманием. Но вы оставили мне полставки, чтобы другому досталось полторы. Где же тогда элементарная справедливость?!

— А ї не було і не буде! — перебил меня Ермоленко.

— Значит, все, что вы говорите в своих публичных выступлениях, взобравшись на трибуну, следует понимать как пустые слова? — спросил я.

Не знаю, что собирался ответить мне Семен Никитич, поскольку в этот момент зазвонил телефон. Он снял трубку, послушал и совершенно неожиданно выпалил, что я остаюсь на прежней должности и могу отправляться на работу. А сам выскочил из кабинета и стал на кого-то орать в соседней комнате. Из его крика я понял одно: приказ о назначении на мое место недавно уволенного директора отменяется, об этом приказе необходимо забыть, как если бы его вообще не было!

А произошло следующее. Моя жена (без моего ведома) отправила телеграмму на имя первого секретаря горкома партии Бойченко о несправедливых и незаконных действиях зава РОНО. Она не знала при этом, что первый секретарь горкома запретил назначать проштрафившегося бывшего директора на какие бы то ни было должности в школах для детей. Семен Никитич нагло нарушил запрет. На момент получения телеграммы Бойченко в горкоме не было. Кто-то телеграмму уничтожил, а Семена Никитича сразу же предупредил о нависшей над ним угрозе. Тот очень испугался и тут же дал отбой.

Сразу же после этого Семен Никитич по телефону пригласил мою жену к себе на разговор. Он был с ней чрезвычайно любезен (она тоже работала под его началом — руководила хором в 28-й и 138-й школах), заверил, что больше меня дергать не будут и дадут возможность спокойно работать, а я понял, что уж теперь он меня в покое не оставит и приложит все усилия, чтоб работа стала для меня сущим адом.

Между тем буря улеглась, я продолжал трудиться. Завуч 155-й школы собрался уходить на пенсию, и директриса плани-

рвала передать эту должность мне. И хотя я предупреждал ее, что Ермоленко этого не допустит, она уверяла, что своего добьется. Небо над моей головой в самом деле казалось безоблачным, но я понимал, что это до поры до времени. И когда мне неожиданно представилась возможность перейти на работу в другой район (пригласила к себе в школу ставшая директрисой знакомая учительница), я решил этим шансом воспользоваться. Закавыка была в том, что любое оформление на новое место происходило исключительно с разрешения и через отдел кадров ГорОНО. Там этими делами ведал некий чиновник по фамилии Однолько. Когда я пришел к нему с просьбой, он даже не взглянул на меня, а лишь швырнул в меня коротким «ні!», похожим на пощечину или плевков в лицо.

И Семен Никитич, конечно, обо мне не забыл. Выждав некоторое время и убедившись, что секретарь горкома о его шалостях ничего не узнал, он сделал все, чтобы создать для меня совершенно невыносимую обстановку в школе. Так, например, он прислал с проверкой инспектора, которая объявила, что я занимаюсь очковитирательством, скрывая неуспеваемость учащихся, которых не способен обучить грамматике. Секретарь райкома партии во всеуслышание объявил об этом на районной учительской конференции. Но я выстоял. А когда Ермоленко и в самом деле, кажется, оставил меня в покое, я сам решил уйти из школы и подыскал себе другую работу. «Доконали» меня и Семен Никитич, и, может быть, еще больше — школьная процентомания. Учителя изо дня в день заставляли заниматься обманом, очковитирательством, выдавая «на гора» стопроцентную успеваемость, независимо от того, как на самом деле учатся дети. Надо было быть полнейшим невеждой и дураком, чтобы не видеть, какой огромный вред приносит такая практика: вред детям, развращая их, приучая к безответственности и получению незаработанного; вред школе; вред государству и, наконец, вред личности учителя, унижая его, втаптывая в грязь. На эту тему часто публиковала серьезные статьи «Литературная газета», но процентоманию остановить было невозможно, ее изо всех сил поддерживала партноменклатура — все эти ермоленки, бойченки и однольки. Пропадало всякое желание

продолжать бессмысленную деятельность, угнетало сознание того, что соучаствуешь в преступлении, длительном и ежечасном, влекущем за собой тяжкие долговременные последствия.

19 февраля 1969 года я оставил школу, полагая, что уже никогда больше туда не вернусь, и взялся за неинтересную, низкооплачиваемую работу. Но даже такую оказалось очень нелегко получить. Наступили времена, когда еврею устроиться на работу стало практически невозможно. Это было связано с волной эмиграции. Райкомы КПСС наказывали руководителя любого предприятия, если его работник уезжал на постоянное место жительства в Израиль. И руководители просто старались не брать на работу евреев. (Замечу в скобках, что выехать было не так просто. Каждый, обратившийся к властям за разрешением на выезд, на следующий же день лишался работы. А разрешение затем предоставлялась в лучшем случае через шесть-восемь месяцев. Жить без зарплаты так долго могла далеко не каждая семья.)

Шесть лет спустя, в декабре 1974 года я все-таки вернулся в школу, но уже в Новосибирске, куда мы уехали (а не в Израиль) после того, как мой сын в течение восьми месяцев не мог найти себе работу в Киеве по окончании института. Вернее, это была не школа, а ГПТУ, где я преподавал политэкономии. А сын работал в Новосибирске старшим редактором студии документальных фильмов, жена — в консерватории концертмейстером в классе вокалистов. Мы вздохнули с облегчением, ненадолго почувствовали себя людьми.

Однако вскоре из-за болезни жены нам с ней пришлось вернуться на Украину (врачи указывали на несовместимость климата) и с осени 1976 года поселиться в селе Марьяновке Полесского (бывшего Кагановичского) района, а затем и в самом райцентре Полесском (бывших Кагановичах), купив себе там в 1978 году домик, вернее, полдома. Там меня еще помнили и дали работу в школе. На это я и рассчитывал, потому что устроиться на работу, обратившись в Министерство или ОблОНО, не было ни малейшего шанса.

За это время процентомания достигла апогея. Успеваемость стала безусловно стопроцентной, и появился новый ее показа-

тель — «качественный процент» (количество успевающих на 4 и 5), который у лучших учителей достигал 50 %. Ставить в журнал двойку стало уже совсем неприлично — все равно как плевать на пол. Впрочем, ставь, не ставь — все прекрасно знали, что за четверть ни у кого двойки не будет, даже за первую четверть, когда 70 % учебного времени тратилось на уборку колхозного урожая.

Весь этот абсурд дошел до того, что при школах формально существовали консультационные пункты районной заочной школы рабочей молодежи, имевшей своего директора, методистов и т.д. Считалось, что там проводятся занятия и принимаются экзамены и зачеты, но все это была сплошная липа. И учащимся-заочникам, когда наступал срок, учителя разносили аттестаты о среднем образовании по домам, поскольку выпускники даже не считали нужным явиться ради их получения в школу. Некоторые вообще не подозревали, что являются учениками этой самой школы. Это была уже собственно не процентомания, а доведенная партноменклатурой до высшей степени абсурда фикция всеобщего среднего образования.

Впрочем, в таком положении находилось не только образование, но и все народное хозяйство, венцом и символом чего стал Чернобыль.

ЧЕРНОБЫЛЬ

Это страшное слово появилось в моих записках не случайно. Полесское находится в четырех десятках километров от злополучной АЭС. И когда произошла страшная катастрофа, мы с женой оказались самыми непосредственными ее жертвами. Первые дни мы, как и все местные жители, не знали ничего толком ни о масштабах трагедии, ни об опасности, которой подвергаемся. Между тем в Полесское прибывали автобусы с эвакуированными жителями Припяти и приносили на своих колесах смертоносную радиоактивную пыль, которую по халатности никто не распорядился смывать перед выездом из Припяти. Таких автобусов прибыло не меньше двух-трех сотен. Радиоактивные выбросы взорвавшегося реактора оседали «пятнами» на крышах и улицах Полесского, а правдивая информация о степени радиоактивного заражения не

оглашалась, никто не измерял радиоактивного фона, да и счетчиков таких ни у кого из жителей тогда не было. Кроме того, местное начальство прилагало невероятные административные усилия, чтобы наш поселок не был объявлен зоной обязательного отселения.

Когда же стало хотя бы в какой-то степени понятно, что, собственно, происходит, мы с женой на время покинули Полесское и 10 мая приехали в Новосибирск — там осталась жить семья нашего сына. Уезжали поездом из Киева, где к этому моменту уже несколько улеглась возникшая после аварии паника. И ходя очереди в кассы были большие, они уже не выходили хотя бы за пределы вокзала.

Пережитое не прошло бесследно. В июне-июле моя жена перенесла инфаркт, а 21 декабря 1986 года, уже после того как мы вернулись домой, в Полесское, умерла.

Я же прожил в своем домике после того, как похоронил жену, еще три года. Отапливал дом радиоактивными дровами, поскольку отопление было печное. Затем домик снесли, а мне дали однокомнатную квартиру все в том же Полесском, где я прожил еще более полутора лет. В конце концов из Полесского всех отселили (меня — в 1990 году), и с 1991 года этого поселка на карте Украины больше нет. А всего из Полесского района было отселено более десятка населенных пунктов.

И еще два «трюка» партноменклатуры. Во-первых: в моем удостоверении пострадавшего от Чернобыльской аварии (категория 2-Б) указано, что отселение произошло в 1986 (а не в 1990) году. Во-вторых: в момент аварии я работал учителем в селе Варовичи (именно там, по иронии судьбы, началась моя педагогическая деятельность), которое оказалось в 30-километровой зоне; по закону всем, кто там работал в момент аварии, присваивался статус не потерпевшего, а *ликвидатора*. Добиться такого статуса удалось только одному человеку из тридцати работников Варовичской школы — и то через суд.

На этом я мог бы и закончить свои воспоминания, но должен еще рассказать о моем друге детства Юре Бельском.

О МОЕМ ДРУГЕ ЮРЕ

Подружились мы с ним в четвертом классе, хотя учились вместе с первого дня в 1-м «а» классе 46-й школы. Классы тогда еще назывались *группами* (чтобы не как до революции). 46-я школа находилась на Святославской улице, довольно далеко от моего дома, а Юра жил от нее через дорогу. Почти весь учебный год моя тетя водила меня в школу, а во втором классе я уже ходил самостоятельно.

Юра, в отличие от большинства из нас, жил в отдельной квартире с мамой, бабушкой и прабабушкой (булей и бабулей, как он их ласково называл). Жила эта семья на заработки Юриной мамы, которая была секретарем-машинисткой. Отец Юры был арестован и расстрелян еще до рождения своего сына. Не знаю, в чем его обвиняли, но поскольку он был офицером царской армии и жил в Киеве, то наверняка состоял в формированиях Белой гвардии и участвовал в событиях, описанных в романе Михаила Булгакова. Уже одного этого было достаточно, чтобы оказаться виноватым перед советской властью. Кстати, и дом их находился неподалеку от описанных в романе «Белая гвардия» улиц. Буля и бабуля были матерью и бабушкой расстрелянного Юриного отца.

А этажом ниже, в коммунальной квартире, некогда полностью ему принадлежавшей, жил Юрин дед по матери, который преподавал латынь в университете и, видимо, помогал дочери содержать семью из четырех человек. Когда и каким образом ушли из жизни второй дед и вторая бабка Юры, я не знаю. Об этом никогда не возникало разговоров, как не было речи и о гибели Юриного отца.

Кстати, и у меня ни одной бабки и ни одного деда к моменту моего рождения не было, и об этом тоже между нами никогда не возникало разговоров. Наверное, главной причиной «неприкасания» к теме предков была та, что, поступая на работу, советскому человеку необходимо было указывать в анкете социальное положение до 17-го года и кем были его родители. Иногда это прошлое лучше было скрыть и уж во всяком случае не афиширо-

вать. Поэтому соображения элементарной тактичности требовали не касаться темы предков и прошлого.

Мы с Юрой очень любили заглядывать на часок-другой в комнату его деда в отсутствие хозяина и, конечно, с его разрешения. Главной достопримечательностью комнаты были книги на латинском и древнегреческом языках в солидных тисненых золотом переплетах, хранимые в застекленных книжных шкафах. Больше я таких книг никогда в жизни нигде не видел. Брать книги не разрешалось, и мы запрета не нарушали. Был у деда и радиоприемник, который разрешалось включать и слушать разные станции. Юра любил джаз, к слушанию которого он приобщил и меня, а его любимым пианистом был Цфасман. У меня же не было особых музыкальных привязанностей, пока на экранах Киева не появился «Большой вальс» с Леопольдом Стоковским и Милицей Кориус. И еще мы любили посещать вечерние симфонические концерты в Марининском парке. Очарование этих концертов осталось со мной на всю жизнь (кстати, как и впечатление от вышедшего тогда же на экраны фильма «Волга-Волга» с Игорем Ильинским и Любовью Орловой).

В нашем классе многие хорошо учились, в том числе и я. Многие из нас пришли в школу уже с некоторым умением читать, считать и кое-как писать печатными буквами. А Юра в восемь лет (в школу тогда принимали с восьми) хорошо читал и писал чернилами без клякс. В четвертом классе он уже писал быстро и практически без ошибок, у него был каллиграфический почерк. Его словарный запас и эрудиция были так велики, что я понимал только половину того, о чем он говорил, но никогда не переспрашивал, а молча упорно вникал, тянулся за ним, учился и делал успехи, так что в восьмом классе мы с ним общались уже почти на равных, хотя я все равно чувствовал его превосходство.

После войны, когда уже не было в живых ни Юры, ни его деда, я прочел «Повесть о жизни» К. Паустовского. Там есть глава «Латинист», которая посвящена Юриному деду, препода-

дававшему латынь в 1-й киевской гимназии, где учился Паустовский, у которого Юрин дед был классным наставником. Гимназисты прониклись к нему таким уважением и любовью, что решили разыграть его удивительным образом: они постановили, что весь класс должен учить латынь на пятерку, и через некоторое время латинист Субоч перестал верить своим ушам и глазам, потому что отпетые троечники и даже двоечники стали отвечать урок только на пять. Дело дошло до того, что латинист пригласил в класс комиссию, но и она подтвердила феноменальный факт. Думаю, что Юре эта история была известна, но мне он о ней не рассказывал. Хвастать Юра не любил, а подобный рассказ он мог бы счесть хвастовством.

Юра был участником обороны Киева и погиб в окружении в районе Борисполя в сентябре 1941-го, когда наши войска, оставив Киев, угодили в Бориспольский «котел», в котором попала в плен команда киевского «Динамо», расстрелянная в Киеве после легендарного футбольного «матча смерти».

О гибели Юры я узнал, когда пришел в школу, возвратившись в Киев в декабре 1946-го, и сразу решил, выйдя из школы, проведать его маму. До Юриного дома было рукой подать, но, приблизившись, я почувствовал, что у меня не хватает духу переступить порог этой квартиры. Мне представилось, что матери моего друга встреча со мной причинит лишь дополнительную боль. И чем больше проходило дней, недель и месяцев, тем невозможней для меня становилось свидание с Юриной мамой, потерявшей когда-то мужа, а теперь сына. И до сих пор все сильней чувствую я свою вину, что не встретился с ней.

После войны во мне очень долго жило чувство вины, что я остался жив, а многие мои товарищи, родные и близкие, миллионы солдат и не солдат погибли на войне. Среди них — мой младший брат Рома. Мой любимый дядя Юра, который написал когда-то для нашего спектакля забавные стихи про короля самоварной меди. И еще — мой лучший и единственный настоящий друг Юра Бельский.

У Юры, кроме меня, тоже не было друзей. В память о нем и о моем дяде Юре я назвал своего сына Юрием.

И ЕЩЕ КОЕ О ЧЕМ

Нет, ребята, я не гордый,
Не заглядывая в даль,
Я скажу: на что мне орден? —
Я согласен на медаль.

А. Твардовский

Я тоже был согласен на медаль, когда медали «За Победу над Германией» вручали перед строем дивизии в лагере Песочном под Костромой всем участникам войны. Всем, кроме нас, побывавших в плену. Товарищ Сталин нас хоть и простил, но в участники войны не зачислил. И я стоял в строю, смотрел, как солдаты получают из рук командира дивизии награды, знал, что мне медали не дадут, но не завидовал, не испытывал обиды, хотя и считал, что имею право на медаль за все, что я пережил и сделал на войне.

Меня преследовало чувство вины перед погибшими, но ни перед товарищем Сталиным, ни перед Родиной виноватым я себя не чувствовал. Я не нарушил присягу, за мной не было вины в невыполнении боевой задачи отбить у немцев Каховку, потому что эту задачу не выполнил ни батальон, ни полк, ни дивизия. Я выполнял свой долг, оставаясь до конца на командном пункте батальона, прикрывая отступление 756-го стрелкового полка и всей 150-й дивизии.

Если кто-нибудь думает, что командный пункт батальона находился в землянке или в окопе полного профиля, то очень ошибается. Каждый из нас успел вырыть себе окопчик-лежку под ураганным огнем противника. После того как на исходном рубеже, когда всходило солнце, командир полка поставил батальонам боевую задачу к вечеру отбить у немцев Каховку и твердо пожелал нам ужинать в Каховке, все три батальона нашего полка развернулись в цепи, продвинулись цепью более двух километров без единого выстрела и, не видя предполагаемого противника, наткнулись внезапно на плотную завесу такого мощного огня, что вынуждены были залечь и стали окапываться, лежа, вгрызаясь в твердую, как цемент, покрытую скользкой под малыми саперными лопатками выгоревшей травой степную почву, стараясь вырыть впере-

ди себя хоть немного земли для небольшого бугорка-бруствера. Когда мы, остановленные огнем, старались удержать без поддержки артиллерии все нарастающие перед нами силы немцев от их дальнейшего продвижения и охвата наших частей с флангов, а затем, прикрывая вынужденное отступление, оказались в плену, у каждого из нас на КП батальона был окопчик-лежка до сорока сантиметров глубины. А сражение наше в районе Каховки длилось несколько суток.

Потом, анализируя все, что с нами произошло в те сентябрьские дни в районе Каховки, я понял, что, переправившись здесь через Днепр, немцы не догадывались о том, что в этот момент перед ними еще не было противника. Чтобы закрыть образовавшуюся брешь в обороне на левом берегу Днепра и спасти положение, нас в течение суток перебросили сюда в пешем строю из района Казачьих Лагерьей. Передохнув ночью два-три часа после броска-перехода, мы были разбужены и построены на рассвете, получили боевой приказ командира полка, развернулись в цепь и двинулись на Каховку.

Это сражение в районе Каховки длилось несколько суток. Ночью немцы не воевали, а мы были вынуждены наблюдать по их светящимся ракетам, как они обходят нас с флангов. Но полк и дивизия отступить успели, избежав нависшей над ними угрозы окружения и разгрома. И значит, наш батальон, и я в том числе, свою боевую задачу выполнил.

Тогда, осенью 1941-го, я этого достоверно не знал. А к 1965 году мне это стало доподлинно известно. В каком-то красочном альбоме, посвященном двадцатилетию Победы, я прочитал, что 756-й стрелковый полк, оставшийся до конца войны в составе 150-й дивизии, штурмовал Рейхстаг, а сержанты этого полка водрузили над Рейхстагом знамя. Из чего следовало заключить, что 9 сентября 1941 года наш батальон свою боевую задачу под Каховкой выполнил, отступление дивизии прикрыв.

Узнал я, кстати, и о судьбе артиллерийского полка (воинской части № 9915), из которого был уволен в запас 2-й категории и 12 мая 1941 года уехал в Киев. Полк был передислоцирован в тыл, в резерв Главного командования Вооруженных Сил СССР.

Личный состав полка участвовал в наступательных операциях на направлениях главного удара, не понес существенных потерь, получил много орденов и медалей за участие в боях. Рассказал мне об этом провоевавший в этом полку всю войну мой товарищ по учебной батарее, с которым мы были призваны в армию в один день и ехали из Киева в Ригу в одном вагоне. И — по удивительному совпадению — в один и тот же день (6 декабря 1946 года) явились в Сталинский райвоенкомат по причине демобилизации. Так что не провалился я тогда с мостика под лед...

И вот уже в мае 1966 года меня, в числе более ста человек, вызвали в райвоенкомат. Никто из нас не знал, зачем мы здесь понадобились. Выяснилось, что для получения наград, которые остальным участникам войны давно уже вручены. Было тепло, мы ожидали во дворе, когда, вызывая каждого по списку, нас стали приглашать в помещение. Потом список кончился, дверь закрылась, а во дворе осталось нас двое, не вызванных и ничего не получивших. Какое-то время мы стояли, не считая себя вправе самовольно уйти, но и не желая обращаться за разъяснениями. А после сообразили, что и на сей раз остались без наград, потому что нас освободили не советские войска, а союзники, ставшие ныне нашими противниками в «холодной войне».

...За наградой в Сталинский райвоенкомат я через некоторое время явился сам, по собственной инициативе. В подтверждение своего участия в боевых действиях предъявил начальнику 4-й части свой военный билет, выданный в 1947 году тем же военкоматом.

Через полчаса я получил из рук военкома две медали, что сопровождалось рукопожатиями и поздравлениями.

Получил я потом и другие награды, удостоверение ветерана войны и даже орден Отечественной войны II степени, о котором когда-то и мечтать не мог.

Забыл сказать, что когда военком вручал мне первые награды, на глазах у меня были слезы, как в песне.

ПАВЕЛ ПОЛЯН

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХОЛОКОСТ: СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ- ЕВРЕИ КАК ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ГЕНОЦИДА¹

¹ Автор сердечно благодарит Р. Оверманса (Фрайбург), Х. Бема (Фрайбург), С. Вылканову (Франкфурт-на-Майне), Ж. Дери (Ганновер), С. Ильенкова (Подольск), Р. Келлера (Ганновер), К.-Д. Мюллера (Дрезден), Д. Поля (Мюнхен), Ф. Ремера (Майнц) и, особенно, А. Шнеера (Иерусалим) — за щедрую помощь в разработке этой темы. Отдельная благодарность бывшим советским военнопленным, откликнувшимися на обращение автора и поделившимися своими воспоминаниями и суждениями, — И.Е. Азаркевичу (Нью-Йорк), М.И. Бенционову (Суржа, Брянской обл.), И.М. Бружеставицкому (Тверь), А.С. Вигдорову (Москва), Ф. Гисину (Виттен), А.Н. Жукову (Москва), Д.И. Додину (Санкт-Петербург), Я.С. Кагаловскому (Днепропетровск), Д.Л. Каутову (Санкт-Петербург), В.Е. Кацперовскому (Ганновер), Л. Котляру (Киев), И.С. Кубланову (Феодосия), А.С. Малофееву (Луганск), С.А. Орштейну (Славута, Хмельницкой обл.), Л.Я. Простерману (Харьков), Ю.Б. Раунштайну (Херсон), Э.Н. Сосину (Москва), Н.А. Фишману (США) и А.И. Цирюльникову (Москва). Их письма или краткие протоколы бесед и интервью с ними хранятся в архиве автора.

«Бей жида-политрука, морда просит кирпича!»
(Из немецкой листовки)

«Свой не продаст — чужой не купит...»
(Семен Орштейн)

«Ну и как же это вы, абрамы, живы остались?..»
(Из вопросов смершевца)

Гитлер сумел выстроить несколько простых и оказавшихся для немецкого народа вполне доступных и хорошо им усвоенных иерархий. Кроме расовой табели о рангах, где евреи занимали самую низкую ступень, помимо идеологической шкалы степеней угрозы для Рейха и соответствующей встречной ненависти, где выше всех стояли «жидо-большевистская интеллигенция» и «политические комиссары» как носители коммунистической идеологии, своя иерархия была и у военнопленных: изо всех армий многочисленных противников Рейха ниже всех «котировались» — советские военнопленные¹.

Так что же тогда говорить о советских военнопленных еврейского происхождения, да еще и политруках! Что может быть ниже, хуже и ненавистнее?!

Именно о них и пойдет разговор.

¹ О геноцидальном (а точнее, стратоцидальном) характере политики Германии по отношению к советским военнопленным как к контингенту в целом см. прежде всего в: Streit, 1978; Полян, 1996; Полян, 2002; Gerlach, 1999. Эта политика была дифференцированной в этническом плане (так, украинцы, белорусы, грузины, представители северокавказских народностей, не говоря уже о фольксдойче, были привилегированы в целом ряде отношений), но предпринятая К. Беркофом попытка придать этой политике в целом еще и этноцидальный — направленный на русских как этнос — характер (Berkoff, 2001) не представляется нам убедительной. Единственным этносом в составе красноармейцев, уничтожавшемся поголовно, были евреи (сведениями о селекции и уничтожении военнослужащих-цыган не располагаем).

ИСТОЧНИКИ К ТЕМЕ

Научная литература, специально посвященная отношению Рейха ко взятым вермахтом в плен военнотружущим-евреям — гражданам различных стран из антигитлеровской коалиции, не слишком обширна.

Применительно к советским военнопленным-евреям основополагающей, бесспорно, является статья Шмуэля Краковского «Судьба еврейских военнопленных советской и польской армий», опирающаяся, помимо литературных, также и на архивные источники, главным образом, американские и немецкие (материалы процессов над нацистскими преступниками).¹ Она опирается отчасти на некоторые польские публикации более общего плана, где данная тема нашла освещение в ряду прочих тем².

Большинство крупнейших англоязычных исследователей Холокоста или профдефилировали мимо этой темы, или, как Рауль Хильберг или Питер Лонгерих, уделили ей непропорционально малое внимание, ограничиваясь несколькими случайно подобранными фактами и необычайно общими рассуждениями³.

Весьма скромную роль играла эта проблематика и в исследованиях немецких историков. В основном, они соприкасались с ней, рассматривая предысторию и историю таких важнейших предвоенных приказов Гитлера, как приказ «Барбаросса» от 13 мая и «Приказ о комиссарах» от 16 июня 1941 года.

Точно так же на периферии исследовательского интереса оказалась эта тема и в СССР. Даже в «Черной книге» трагедия евреев-военнопленных представлена фактически всего лишь двумя очерками⁴. Непропорционально малой и вторичной

¹ Krakowski, 1992. См. также: Krakowski, Shmuel. The fate of Jewish Prisoners of War in the September 1939 Campaign. // Yad Vashem Studies. Vol 12. Jerusalem, 1977. P. 297—333.

² Ploski, 1946; Bartniczak, 1978.

³ См., например: Hilberg, 1999. S. 352—357 (какая-нибудь четверть процента объема его капитальнойшего труда!) и Longerich P. 1998. P. 411—413.

⁴ Резниченко, 1993; Шейнман, 1993.

оказалась главка «Еврей-военнопленные» и в фундаментальной монографии И. Альтмана «Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1941—1945»¹.

В то же время весьма любопытно и, разумеется, не случайно, что в книге И.А. Дугаса и Ф.Я. Черона «Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным», написанной представителями «второй эмиграции» и выпущенной в Париже в 1994 году, проблематика военнопленных-евреев начисто проигнорирована².

Ценнейший материал, буквально по крупицам собранный в ЦАМО, содержит сборник «Документы обвиняют. Холокост: свидетельства Красной Армии», выпущенный Ф.Д. Свердловым в серии «Российская библиотека Холокоста»³. Скупые строки политдонесений из войск, выдержки из показаний местных жителей и допросов немецких военнопленных, акты смешанных военно-гражданских комиссий отложились, в частности, в документации политотделов Красной Армии. Они содержат множество свидетельств о еврейском геноциде на территории СССР, в том числе и самые ранние, созданные еще до формирования в 1943 году Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК).

Ряд ценных печатных свидетельств оставили и сами военнопленные, написавшие воспоминания. Первыми в этом ряду стали свидетельства М. Шейнмана и В. Резниченко, помещенные В. Гроссманом и И. Эренбургом в «Черную книгу»⁴. Но книга эта вышла в свет на русском языке только в 1980 году, так что несколько беглых или косвенных свидетельств, как бы наудачу

¹ Альтман, 2002. Эта главка, к сожалению, не только непропорционально мала, но и вторична по своему материалу.

² Дугас, Черон, 1994. С. 118—121.

³ Свердлов, 1996.

⁴ Черная книга. 1993. С. 437—442.

появившихся в 1950—1970-е годах, невольно их опередили¹. Часть этих материалов была собрана воедино и опубликована в сборнике «Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944)», выпущенном в Иерусалиме в 1991 году². В 1990-е годы воспоминания и другие эго-документы уцелевших военнопленных-евреев или их нееврейских товарищей стали появляться гораздо чаще. Ограничимся здесь указанием на книги Б.Н. Соколова «В плену» (2000 год) — своего рода «энциклопедию плена»³. Ярким свидетельством является также книга Софьи Анваер «Кровоточит моя память...», выпущенная в 2005 году и открывшая собой серию «Человек на обочине войны»⁴. Обе книги восхищают одновременно аналитическим и литературным талантом авторов.

Отдельные мемуарные свидетельства (в частности, выдержки и из воспоминаний С.И. Анваер и др.) были опубликованы и мной еще в первом издании монографии «Жертвы двух диктатур» (1996 год). Однако сама проблематика советских военнопленных-евреев была затронута в ней лишь мимоходом. Во втором издании (2002 год) этому посвящена уже отдельная глава, озаглавленная «Карательная политика Рейха на Востоке: военно-полевой холокост»⁵.

Настоящее открытие и отражение тема военнопленных-евреев нашла в двухтомной монографии научного сотрудника Яд-Вашема Арона Шнеера «Плен», выпущенной в Иерусалиме в 2003 году⁶. Этот мощный эмпирический труд, посвященный

¹ Голубков, 1958 и 1963; Бондарец, 1960; *Воронин С.* Двойник Виктора Шаликова. // Советская торговля. 12.12.1970 (Перепеч.: Уничтожение евреев... 1991. С. 290—291.); *Барвинок Г., Евселевский Л., Пустовойт П.* Слышишь, Днепр! Документальный очерк. Харьков, 1979. (Перепеч.: Уничтожение евреев..., 1991. С. 299).

² Уничтожение евреев... 1991.

³ Соколов, 2000.

⁴ Анваер, 2005.

⁵ Полян, 1996; Полян, 2002. С. 83—91.

⁶ Шнеер, 2003. В 2004 году в издательстве «Гешарим» вышло 2-е, несколько сокращенное ее издание.

плону в целом, во многом выходит за его рамки и повествует об участии евреев — и в первую очередь советских евреев — во Второй мировой войне. В двухтомнике собраны и обобщены многочисленные свидетельства, сохранившиеся как в самом Яд-Вашеме, так и в архивах постсоветских стран, а также свидетельства, добытые разысканиями самого автора. Отдавая должное необходимым обобщениям, автор ощутимо сконцентрирован на воспроизведении и осмыслении эго-документов, т.е. на индивидуальных судьбах советских военнопленных-евреев.

В 2005 году А.Шнеер и пишущий эти строки объединили свои усилия. Первоначально хотелось выявить, собрать, систематизировать и обобщить все известные эго-документы военнопленных-евреев — их воспоминания и дневники, интервью с ними или очерки о них.

Однако когда такая книга была собрана, оказалось, что материала, вопреки ожиданиям, накопилось в 1,5—2 раза больше, чем способен в себя вместить один том в издательской серии «Другая война» «Нового издательства», для которой предназначалась книга. Столь радикальное сокращение объема было процедурой безболезненной. Попытка отобрать самые «лучшие» материалы и дать своего рода «хрестоматию» по теме не удалась в силу совершенного отсутствия критериев качества отдельного материала.

Практически единственным практикабельным критерием стал принцип первопубликации. На этом основании из корпуса были исключены тексты из «Черной книги» (1980), из сборника «Советские евреи пишут Илье Эренбургу. 1943—1966» (1993), из книги «В плену у Гитлера и Сталина. Книга памяти Макса Григорьевича Минца» (1999), многочисленные материалы из 2-го тома монографии А.Шнеера «Плен» (2003) и пространные фрагменты из книги воспоминаний С. Анваер «Кровоточит мое сердце» (2005)¹. Принцип эдиционной новизны соблюдался, впрочем, нестрого: для изданий тиражом

¹ Полный перечень выпущенных текстов приводился в приложениях.

всего в несколько сот или десятков экземпляров делались исключения¹.

Таким образом, книга «Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне. Воспоминания и документы», вышедшая в 2006 году, стала собранием неизвестных или малоизвестных эго-документов, посвященных советским военнопленным-евреям и рисующих внутреннюю перспективу их трагических судеб. Композиционно книга делилась на две части: первая, доминирующая количественно, посвящена немецкому плену, вторая — финскому (материалы о румынском плене не были выявлены²). Первая часть состоит из трех разделов³, вторая же, вобрав в себя даже стихи(!), внутреннего деления не имеет, крупные воспоминания сочетаются в ней со сравнительно небольшими материалами.

В книге были учтены и принципиально иные материалы, в частности, трофейная немецкая картотека на умерших советских военнопленных, как офицеров, так и на рядовых, хранящаяся в ЦАМО⁴. Слухи о ее существовании в СССР ходили среди историков плена уже сравнительно давно. Однако долгое время они базировались исключительно на косвенной или «глухой» информации⁵.

¹ Кацперовский, 2003; Янтовский, 1995.

² Эго-документы о пребывании евреев-военнопленных в румынском плену составителям неизвестны, если не считать сообщения З.А. Зенгина о том, что в Николаевском лагере охранниками были не немцы, а румыны. Кстати, есть свидетельства о советских евреях-военнопленных в Норвегии, но там полностью, хотя и своеобразно, хозяйничали немцы.

³ Первые два раздела составили эго-документы самих военнопленных-евреев (первый — их воспоминания и дневники, второй — небольшие по объему письма, документы, интервью и заметки), в третьем же представлены свидетельства советских военнопленных неевреев.

⁴ См. ее подробное описание в: Ильенков, Мухин, Полян, 2000.

⁵ Интересно и удивительно, но статья О.Ю. Старкова «Они не сдались», посвященная теме побегов советских военнопленных из плена и базирующаяся на этой картотеке (ВИЖ. 1989. № 12. С. 81—84), осталась практически незамеченной (в том числе и мной).

Пишущий эти строки имел самое непосредственное отношение к верификации этих слухов и открытию этих картотек для историков (в том числе и немецких), а также к введению их данных в научный оборот. Первая успешная попытка подтверждения самого факта существования и уточнения режима использования картотек была предпринята им в середине 1990-х годов в рамках архивно-поисковой темы по заданию Нижнесаксонского Центра политического образования¹. В 1997 году, благодаря этим усилиям, а также при официальной поддержке полковника В.В. Мухина, возглавлявшего в то время Историко-архивный и Военно-мемориальный Центр Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, ему удалось добиться доступа к указанным картотекам и сопутствующим материалам как для себя, так и для своих немецких коллег — Р. Келлера и Р. Отто.

Публичное введение картотек в научный оборот состоялось в 1997 году на конференции «Трагедия военного плена в Германии и СССР, 1941—1956» в Дрездене, где с докладами об этом выступили В.В. Мухин и П.М. Полян. Со временем увидели свет и две параллельные публикации, содержавшие научное описание и оценки объема обеих трофейных картотек².

В середине 1990-х гг. П.М.Полян сформулировал и высказал саму идею объединения усилий немецких и российских историков, с одной стороны, и финансовых ресурсов заинтересованных организаций различных немецких земель — с другой, для осуществления совместного проекта по научному освоению картотеки. И такой пилотный совместный проект, поддержанный Немецко-Российской исторической комиссией, действительно был создан и запущен в 1999 году: он называ-

¹ Тогда же я высказал и сформулировал и саму идею объединения усилий немецких и российских историков, с одной стороны, и финансовых ресурсов заинтересованных организаций различных немецких земель — с другой, для осуществления совместного проекта по научному освоению картотеки.

² *Keller R., Otto R. Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen 1941—1945 in deutschen und russischen Institutionen. // Militärgeschichtliche Mitteilungen. 1998. Bd. 57. Nr.1. S. 149—180; Ильенков, Мухин, Полян 2000.*

ется «Советские военнопленные в немецких руках (офицеры): 1941—1945» и посвящен офицерской картотеке ЦАМО¹.

Ранее полагали, что среди 550—600 тыс. персоналий карточек на военнопленных-евреев быть не могло и, стало быть, не было². Но по мере сканирования и обработки карточек в рамках названного проекта обнаружилось, что в картотеке встречаются и евреи — прежде всего те, кто с самого начала заявил свою подлинную национальность, или же те, кого немцы разоблачили. Серьезным подспорьем в нашей работе оказались выборки о евреях-военнопленных из офицерской картотеки ЦАМО, предоставленные нам в течение 2003 года Р. Келлером и К.-Д. Мюллером (сначала частичная, на 35 чел., а потом и полная — примерно на 360 чел.)³.

ЕВРЕИ В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ

Согласно таблице, опубликованной Ф.Д. Свердловым⁴, в 1939—1945 годах в армиях антигитлеровской коалиции служило 1348 тыс. евреев, из них (в тыс. чел.) в армии США — 550⁵, СССР — 450, Польши — 150, Великобритании — 62,

¹ Эту реконструкцию реальных событий приходится приводить здесь в силу «неспортивного», но последовательного замалчивания руководителями проекта К.-Д. Мюллером и Р. Отто усилий и роли российской стороны в становлении этого проекта. В многочисленных устных и письменных презентациях промежуточных результатов проекта вышеперечисленные усилия, к сожалению, или замалчивались, или давались в сознательно искаженном свете.

² Марьяновский, Соболев, 1997. С. 29.

³ Ссылки на эту базу данных в работе даются следующим образом: ЦАМО, № (где № — номер отсканированного изображения). В настоящее время техническая обработка обеих картотек ЦАМО (офицерской и солдатской) завершена и они вводятся в научный оборот.

⁴ Свердлов, 2002. С. 214, без учета еще нескольких сот человек, призванных на военную службу, начиная с сентября 1944, в армии Румынии и Болгарии (источник сведений, к сожалению, не указан). В другом месте тот же Ф.Д. Свердлов называет цифру в 450—470 тыс. евреев в Красной Армии; ее же повторяет и А. Арад (1990) и А. Шнейер (Шнейер, 2003. Т. 2. С. 28).

⁵ Цифра 550 тыс. приводится и Ш. Краковским. М. Бард называет даже 600 тыс. (Bard, 1992. P. 131).

Франции — 35, Палестины — 32, Канады — 17, Греции — 13, Южно-Африканской Республики — 10, Чехословакии — 7, Голландии — 7, Бельгии — 6, Югославии — 5, Австралии и Новой Зеландии — 4 тыс. чел. По данным М. Марьяновского, суммарное число евреев-участников Второй Мировой войны, составляет около 1,7 млн. чел., в том числе порядка 500 тыс. чел. в Красной Армии¹, что составляло примерно 1,7 % общей численности Вооруженных Сил СССР и 16 % всего еврейского населения СССР. Интересно, что 27 % евреев ушло на фронт добровольно, 80 % евреев-красноармейцев служило в боевых частях².

Исходя из той же доли, число погибших евреев должно было бы составить порядка 205 тыс. чел.³. Данные ЦАМО лишь незначительно отличаются от этой цифры — 198 тыс. погибших в бою, умерших от ран и болезней или пропавших без вести⁴.

Звания Героя Советского Союза был удостоен 131 еврей, из них 45 посмертно⁵.

Необычайно существенно замечание, сделанное немецким военным историком Р. Овермансом (на конференции в Граце в мае 2003 года). По его мнению, немецкая политика по отношению к иностранным военнопленным во время Второй мировой войны во многом преимственна по отношению к политике пе-

¹ См.: Марьяновский, Соболев, 1997. С. 13, 30. Практически та же цифра (501 тыс. чел.), но со ссылкой на ЦАМО, приводится в издании: Шапиро, Авербух. 1997. Т. 3. С. 466—477.

² Шапиро, Авербух. 1997. Т. 3. С. 448, 466—477.

³ Ф.Д. Свердлов приводит иную цифру погибших в боях — 150 тыс. чел. В 200 тыс. чел. он оценивает боевые потери евреев-воинов в целом (Свердлов, 2002. С. 214).

⁴ Шнеер, 2003. Т. 2. С. 29, со ссылкой на: Штейнберг М. Евреи в войнах тысячелетий. Очерки военной истории еврейского народа. [США], 1995. С. 220—221. Это соответствует около 40 % общих безвозвратных потерь (против 25 % по Красной Армии в целом).

⁵ См.: Марьяновский, Соболев, 1997. С. 14—15. По этому показателю евреи занимают третье место вслед за русскими и украинцами, при том, что по численности населения они были накануне войны лишь седьмыми. См. также: Шнеер, 2003. Т. 2. С. 41—42.

риода Первой мировой. Совершенно новое в ней — это еврейский вопрос.

Согласно «Энциклопедии Холокоста», в немецкий плен в годы войны попало в общей сложности 200 тыс. военнопленных-евреев¹. При этом приходится пересмотреть устоявшуюся точку зрения, согласно которой дискриминацию и репрессии испытывали на себе только военнопленные армий двух «восточных» стран — Польши и СССР, тогда как отношение к военнопленным-евреям из армий их «западных» союзников — американской, английской, французской, канадской, австралийской и других, а также из югославской армии, — ничем не отличалось от отношения к военнопленным неевреям. Пересмотр тут подлежит не тезис о различном отношении к евреям из восточных и западных армий, а единственно утверждение о равном отношении ко всему контингенту западных военнопленных. На самом деле и в их среде имела место отчетливая дискриминация евреев, правда, не доходившая, как правило, до настоящих репрессий и геноцидальных акций.

Свидетельства самих бывших военнопленных западных армий говорят о настойчивых попытках командования лагерей идентифицировать евреев из их числа. Немцы отказывались признавать евреев на выборной должности «доверенного лица» (например, американца Харри Голлера в шталаге II В в Хаммерштайне) и даже убрали с кухни повара-еврея (в лагере «Люфт-3»). Симптоматично, что попытки немцев натравить неевреев из числа американцев на евреев практически не имели успеха². Применительно к ряду шталагов, — в частности, VII А в Моосбурге в Баварии и IX В в Вегшайде около Бад-Орба, — есть свидетельства о попытках сегрегации еврейских пленников³. Кроме того, американские евреи-военнопленные

¹ Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Bd. II./ Hsg. Israel Gutman. München — Zürich: Piper Verlag, o.D. P. 814.

² Впрочем, отдельные устные оскорбления в адрес евреев от случая к случаю все же имели место.

³ Bard, 1992. P. 132—133.

испытывали страх, вытекающий из приблизительного, но все же верного представления о том, что происходило с европейскими евреями и с советскими военнопленными: они полагали, что победы под Сталинградом немцы, то и с ними, американскими евреями, произошло бы то же, что и с европейскими¹.

В случае с французскими военнопленными-евреями² политическая установка на их сегрегацию и изоляцию от остальных товарищей по плену была еще отчетливей. В подписанной подполковником Брейером «Сводке сообщений ОКВ» № 1 от 16 июня 1941 года об этом говорится следующее: *«Евреи во французской армии. Собираание евреев в особых лагерях не предусматривается, вместо этого всех французских военнопленных-евреев в шталагах и офлагах содержать обособленно, а труд рядовых вне лагеря использовать также обособленно. Никакие особые опознавательные знаки [для них] не предусматриваются»*³.

Очевидно, что немцы считали необходимым не нарушать при этом Женевскую конвенцию. Другое дело, что они старались как можно больше сделать «руками» самих французских военнопленных. Превосходными иллюстрациями тут могут послужить сцена, описанная в мемуарах советского военнопленного Б.Соколова, и письмо генерал-майора Унгера, коменданта офлага XVII А в Эдельбахе, на имя Командира военнопленных в XVII военном округе (современная Австрия) от 2 октября 1941 года относительно евреев и масонов в этом офлаге.

¹ См. об этих страхах, например, у того же М. Барда (Bard, 1992, P. 131).

² Данных об их числе не имеется, но едва ли оно превышало 10—15 тыс. чел. (см.: Doery, 2004. P. 25).

³ BA MA, RW 6, Nr. 270. Bl. 2—7. Сама дата этой сводки — 16.6.1941 — наводит на мысль, что данный вопрос, возможно, заново обсуждался в ОКВ в свете антиеврейской составляющей в подготовке нападения на СССР. Ср. также в аналогичной сводке ОКВ № 11 от 11.3.1942: *«5. Касательно: обозначение евреев. Особо пометать евреев звездами является мероприятием немецкого правительства для их опознания на улицах, в магазинах и т.п. Еврейские военнопленные не получают никакой еврейской звезды, однако их следует насколько возможно отделить от остальных»* — Az.2 f 24.730 Kriegsgef. Allg.(Ia) Nr. 2140/42 (BA MA, RW 6, Nr. 270. Bl. 68 RS)

Б.Н.Соколов, в частности, ярко описал антисемитские усилия коменданта одной из рабочих команд шталага 326 в Вестфалии по отношению к французским военнопленным-шахтерам, среди которых комендант выявил двух евреев: «... Пока французы работали под землей, он вывел их на двор шахты и устроил им то, что немцы обычно делали с евреями. Заставлял их подолгу бегать по кругу и делать упражнения «ложись — вставай», выбирая для этого на дворе самые грязные места. Но когда дневная смена кончилась и французы поднялись «на-гора», произошло невероятное — французы взбунтовались. Они, как были черные и мокрые, вместо бани побежали во двор и с громкими криками окружили коменданта. Они кричали, что это их товарищи и такие же французские солдаты, как они. Что они не позволяют так с ними поступать и бросят работу. Хотя это был явный бунт, но комендант отступил. С одной стороны, на закате 1944 года немцы были уже не те, что раньше, а с другой, несомненно, повлияла французская стойкость и сплоченность. Русские не только за еврея, но и за своего соотечественника не вступились бы никогда»¹.

Практически то же самое, но из совершенно другой перспективы, описывает генерал-майор Унгер:

«Французские офицеры, оказавшись в плену, прибыли в лагерь как враги Германии. Лишь мало-помалу — сначала через эльзасцев, а потом благодаря газетам, журналам и книгам — руководство лагеря заставило их задуматься и поменять свое враждебное по отношению к Германии настроение.

Руководству лагеря было хорошо известно, что носителями идеи сопротивления его усилиям были евреи и масоны, однако потребовалось большое время, чтобы убедить французских офицеров в том, что выгнать евреев и масонов необходимо для их же собственного блага. Одна из ини-

¹ Соколов, 2000. С. 159. Под «русскими», естественно, подразумеваются все остальные советские военнопленные.

циатив руководства лагеря — отделить евреев от других военнопленных — была с самого начала отклонена, а попытка осуществить это силой принесла бы больше вреда, чем пользы. И только после годичных стараний лагерного руководства усилить антисемитское настроение у французов настолько, чтобы они сами потребовали отделения евреев и намеревались это осуществить. В настоящее время главари группы лиц, враждебно относящихся к Германии и состоящей главным образом из евреев и масонов, считавших себя безнаказанными, установлены и будут переданы в другой лагерь.

Эта мера — пространственное обособление евреев от других военнопленных и удаление злобных пропагандистов — будет дополнена исключением (*das Ausscheiden*) евреев, масонов и военнопленных, дружественно настроенных к Англии, из научной, художественной и спортивной работы в лагере. Бывшее доверенное лицо военнопленных, подполковник Роббер, который умело прикрывал и поддерживал деятельность евреев, снят со своей должности и удален из лагеря. Теперь же командованию лагеря удалось добиться того, что ранее имевшее место несомненное и сильное влияние военнопленных, отрицательно настроенных по отношению к Германии, преодолено. Другие военнопленные ведут за ними постоянное наблюдение, и те более не решаются продолжать дальше в прежнем духе. Сторонники французского правительства, в том числе, и в особенности, противники евреев и масонов, вошли в организацию «Национальная революция», не терпящую в своих рядах противников ее деятельности и определяющую духовную жизнь лагеря. Они получали всяческую поддержку со стороны лагерного командования с тем, чтобы выключить из игры распространителей слухов и врагов мирного сосуществования Франции и Германии.

В этом смысле командование лагеря с самого начала было озабочено тем, чтобы исключить из процесса выведения из плена тех военнопленных, кто был враждебно настроен

к Рейху, а особо опасных врагов — удалить из лагеря. Также и при высвобождении участников мировой войны из положения военнопленных те из них, кто вызывает те или иные сомнения, будут задержаны и позднее переведены в другие лагеря.

Освобождение евреев происходит по заранее поставленному запросу о получении четкого приказа ОКВ в рамках так называемого «Движения Рона».

Каждый военнопленный, который и теперь все еще пытается разрушительно повлиять на товарищей по плену, берутся на заметку и под наблюдение; в определенный момент их предлагают к переводу в другие лагеря.

Подписал: Унгер, генерал-майор и комендант»¹.

Еще весной или в начале лета 1941 года в ряде лагерей, в частности, в шталаге XI А в Альтенграбове или в упомянутом офлаге XVII А Эдельбахе был налажен учет евреев-военнопленных². В конце 1941 года Командир по делам военнопленных при ОКВ генерал Г. Рейнекке предложил уполномоченному представителю французского правительства Ж. Скальпини³ отделить и собрать французских военнопленных солдат и нижних чинов из числа евреев в особом лагере, но встретил с его стороны вежливый, но твердый отпор: все французские военнопленные без исключения в равной степени находятся под защитой Женевских конвенций⁴.

Но на практике те или иные виды дискриминации евреев в плену все равно практиковались немецкой стороной, как, например, своего рода «геттоизация» лагерей — содержание евреев-военнопленных в обособленных бараках в пределах

¹ Это обращение 6.10.1941 было переправлено выше, в Берлин, в Отдел военнопленных ОКВ (ВА/МА. RH 53—17/186).

² Durand, 1994. S. 213f.; Doery, 2004. P. 25.

³ Жорж Скальпини был назначен правительством Виши во главе Дипломатической службы по делам военнопленных (Service Diplomatique des Prisonniers des Guerre) на правах посла (см. Doery, 2004. P. 22).

⁴ Durand, 1994. AS. 203.

лагеря или назначение им особенно грязных работ. В некоторых лагерях их даже заставляли носить желтую звезду, причем еще до того времени, когда это было вменено в обязанность и цивильным евреям-французам¹. Так же оставление французских евреев в статусе военнопленных, — в то время как их нееврейских товарищей переводили в гражданское состояние, — было, по-видимому, одной из таких форм дискриминации². Но именно оставление и пребывание евреев в плену служило им, — и даже их домашним на родине! — серьезной статусной защитой, избавлявшей даже от депортации в концлагерь, в случае если жена военнопленного-еврея и сама была еврейкой³. После наступления союзников на западе осенью 1944 года сотни французских военнопленных-евреев были переведены в другие, в том числе в штрафные, лагеря⁴.

Что же до нефранцузских военнопленных-евреев, воевавших бок о бок с французами, например, военнослужащих польского легиона, то на них компетенции Скальпини не распространялись и есть свидетельства, что их отправляли в Освенцим⁵.

Интересна судьба еврейских военнопленных югославской армии. Представители МККК неоднократно делали представления ОКВ относительно еврейских офицеров югославской армии, собранных в обособленном отделении в офлаге VI С в Оснабрюке⁶. В 1995 году в Тель-Авиве состоя-

¹ Durand, 1994. S. 214.; Doery, 2004. P. 25.

² Так, 27.2.1942 Г. Рейнекке приказал своим подчиненным в военных округах при высвобождении из плена больных и раненых французских офицеров не распространять это на офицеров-евреев (см. в: Jacobsen, 1967. S. 230. Dok.40).

³ См.: Doery, 2004. P. 27—33.

⁴ Например, в штрафное отделение офлага X С в Любеке (см.: Christophe, Marcelle; Christophe, Robert. Le miracle de nos prisons (1940—1945). Paris, 1974. S. 259.).

⁵ Favez, 1989. P. 282.

⁶ Favez, 1989. P. 282.

лась выставка, посвященная судьбе таких офицеров и солдат (большинство из них после войны переехало в Израиль). Выпущенный к ней каталог содержит поистине ценнейшие и вместе с тем обстоятельные свидетельства и материалы¹.

Те евреи-военнопленные, что попали в болгарский плен, в марте 1943 года были депортированы в Треблинку. Однако большинство содержалось в Германии: солдаты (их число не указывается) — в шталаге в Нюрнберге, а офицеры (порядка 350—400 чел.) — в офлагах в Оффенбурге, в Нюрнберге и VI C в Оснабрюке, куда впоследствии свезли офицеров и из других офлагов. 2 февраля 1942 году их заставили носить большие желтые нашивки с черной звездой Давида и надписью «JUDE» внутри звезды. Это было явным нарушением Женевской конвенции, в Красный Крест и в ОКВ были направлены протесты и запросы, и в результате 26 марта всем было разрешено снять и более не носить эти нашивки. Вместо этого югославских военнопленных евреев отделили от неевреев и разместили в обособленных помещениях, создавая тем самым в лагере лагерь, а точнее — «гетто»². В 1944 году их эвакуировали — частично на запад, в районы Страсбурга и Фаллингбостеля, а частично — на восток, в офлаг 65 в Баркенбрюнге в Померании: обе группы были освобождены соответствующими союзниками без серьезных потерь. Интересно, что рядовых югославских евреев в Нюрнберге не заставляли носить нашивки и ни обособляли от неевреев.

Что касается отношения к евреям из польской и советской армий, то оно было радикально иным: начать с того,

¹ См.: Štark, Avraham-Oskar; Ženi, Lebl; Kraus, Vladimir; Montag, Mina; Pijade, Rafael; VIG, Vera. A Memorial of Yugoslavian Jewish Prisoners of War. Half a century after Liberation. 1945—1995. Tel-Aviv, 1995. 96 p.

² Письма им разрешалось писать только по-немецки, дабы облегчить работу лагерных цензоров, но в начале 1942 ответы и посылки из дома перестали приходить (почему — объясняли сообщения в газетах о расстрелах в Белграде коммунистов и евреев, а также просачивающиеся сведения о депортациях).

что всех военнопленных Польши и СССР Германия самолично вывела из-под защиты международного права. Советских — по причине отсутствия подписи СССР под Женевской конвенцией 1929 года, польских — по причине «несуществования польского государства», как это было заявлено 20 ноября 1939 года в письме германского МИДа шведскому посольству в Берлине об утрате Швецией мандата страны-покровительницы польских военнопленных¹. Еврейские же военнопленные обоих государств обрекались смерти, только смерть евреев из польской армии подготавливалась последовательно и поэтапно, с частичной все-таки оглядкой на Женевскую конвенцию, тогда как евреев-красноармейцев убивали по возможности на месте — и безо всякой оглядки на что бы то ни было, кроме обстоятельств конспирации и ненужной огласки.

Суммарное число польских военнопленных-евреев, попавших в немецкий плен в сентябре 1939 года, составляло, согласно Ш. Краковскому, 60—65 тыс. чел.² В общем и целом обхождение с польскими военнопленными-евреями регулировалось приказом командующего ОКВ В. Кейтеля от 16 февраля 1939 года.

При регистрации их отделяли от других военнопленных и размещали обособленно (иногда — в изолированных зонах, иногда просто в отдельных палатках). Существование таких «лагерных гетто» задокументировано для следующих штаблагов и офлагов: Штаблак, Хюэнштайн, Нойбранденбург, Хаммерштайн, Штаргард, Люкенвальде, Хаммер, Ратхорн, Дортмунд, Моосбург, Ламсдорф, Альтенграбов, Лимбург, Франкенталь, Нюрнберг, Кайзерштайнбрух, Пернау/Вельс и Маркт Понгау³. Их содержали на «особом» — пониженном — пайке, условия их трудового использования и охраны приближались к условиям концлагеря: к весне 1940 года, по

¹ См.: Датнер, 1963. С. 19.

² Krakowski, 1992. P. 217.

³ Krakowski, 1992. P. 217—218.

оценке Ш. Краковского, в лагерях умерло или было убито около 25 тыс. чел. из их числа.

В отличие от ситуации с французскими военнопленными-евреями, в отношении к польским военнопленным-евреям немецкие власти как раз практиковали политику перевода их в статус гражданских лиц. При этом они передавались в руки невоенной, т.е. эсэсовской, охраны, что само по себе было серьезной угрозой¹. Выведение из статуса военнопленного в данном случае было уже не привилегией, а скорее формальной прелюдией к переводу в уже созданные к этому времени еврейские гетто — с последующим разделением ими судьбы гражданских его обитателей².

Тех, кто был родом из восточно-польских областей, аннексированных СССР, переводили в лагеря в районе Люблина — Бела Подляска, Консковоля и собственно в Люблин³. В конечном счете, из 60—65 тыс. польских военнопленных-евреев до конца войны дожило едва ли несколько сотен человек — в основном тех, кого не успели вывести из статуса военнопленных до 20 мая 1940 года, после чего политика в этом вопросе, согласно Р. Овермансу, претерпела изменения.

Кроме того, выжило большинство из около 1000 польских военнопленных евреев-офицеров. Они были перевезены в офлаги Дорстен и Дессель (VI военный округ), а также Вольденберг (II военный округ), где их содержали в обособленных бараках. По сравнению с чисто «польскими» офицерами, были нюансы, по которым они подвергались определенной дискриминации, но опасность перевода в гетто им не угрожала. Но на жизнь их не покушались, и их смертность ничем не отличалась от смертности остальных офицеров⁴.

¹ Датнер, 1963. С. 20.

² См. выше о судьбе евреев-военнослужащих из польских соединений в составе французских войск в 1940 г.

³ Krakowski, 1992. P. 219.

⁴ Krakowski, 1992. P. 219. Ш. Датнер писал, что причины такого чудесного избавления евреев-офицеров остаются невыясненными (Датнер, 1963. С. 20).

СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ-ЕВРЕИ И ТОЧКА ОТСЧЕТА ХОЛОКОСТА

...Инициатива «окончательного решения» еврейского вопроса исходила с самого верха — от фюрера. Еще 21 января 1939 года он огорошил министра иностранных дел Чехословакии Франтишека Хвалковского, заявив ему: «Мы уничтожим евреев»¹. 30 января 1939 года, выступая в Рейхстаге, Гитлер угрожал евреям как народу уничтожением, если, конечно, они «развяжут новую войну»².

Но, видимо, не доверяя евреям и в этом, Гитлер развязал Вторую мировую войну сам. Постепенно — и задолго до Ваннзее — прояснялась и концепция «окончательного решения» еврейского вопроса — от депортации куда подальше до депортации в никуда, отправки на смерть. Чисто «технологически» — это продуманное сочетание концентрации и депортации евреев (резерваты, гетто, концлагеря) с их последующим уничтожением.

Решающей предпосылкой для пробного запуска этого «проекта» явилось нападение на Польшу 1 сентября 1939 года. Оккупация Польши немедленно сказалась и на судьбе немецких евреев, не говоря уже о польских евреях, все еще проживавших в Германии. Их первые аресты и, теперь уже сугубо внутригерманская, депортация состоялись уже 9 сентября 1939 года. Еврейское население концлагерей многократно увеличилось после Хрустальной ночи 9 ноября.

Тем более сказалась оккупация Польши на польских евреях. 21 сентября 1939 года Гейдрих проинструктировал командиров АГ и АК о политике концентрации евреев в Польше. В Варшаве, Лодзи (переименованной в Литцманнштадт),

¹ Альтман, 2002. С. 193.

² См. выдержки из этой речи в: *Клокова Г.В.* История Холокоста на территории СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Пособие для учителя. М.: Научно-просветительский центр «Холокост», 1995. С. 23.

Кракове, Белостоке и других городах стали возникать изолированные еврейские кварталы (гетто).

На очереди стояла и переброска немецких евреев в Польшу. Уже 17—18 октября 1939 года стартовал эксперимент по созданию еврейской резервации в районе Люблина—Ниско, куда депортировали евреев из Остравы, Катовиц, Вены и Праги.

Вместе с тем жидогубство, т.е. этническое целенаправленное немецкой оккупационной политики, проявлялось тогда в Польше еще далеко не так отчетливо и последовательно, как позднее в СССР: польская интеллигенция представлялась оккупантам едва ли не менее важной группой врагов режима в поверженной Польше.

Собственно говоря, и Польши как таковой уже как не было. Вместо нее — присоединенные к Рейху области, в том числе Вартегау — «резерват» для немцев, и Генерал-губернаторство. На «немецких землях» евреям, понятно, делать было нечего, а заодно и полякам. Приказ Гиммлера от 30 октября 1939 года — в трехмесячный срок очистить от евреев всю сельскую местность в бывшей Западной Польше — успешно выполнялся: уже в декабре около 90 тыс. евреев и поляков из Вартегау были высланы в Генерал-губернаторство. 12—13 февраля 1940 года евреев депортировали из Штеттина в Люблин¹.

Постепенно этой политикой охватывалась вся подконтрольная Рейху Европа. 27 февраля 1940 года 400 евреев из Амстердама были депортированы в Германию — в Бухенвальд и Маутхаузен. Вместе с тем за границу отправляли и немецких евреев, как, например, 7500 евреев из Бадена и Пфальца, депортированных во Францию (в частности, 22 октября 1940 года — в концлагерь Гурс в Южной Франции).

¹ Впрочем, намерение депортировать из Западной Польши *всех* евреев не было осуществлено.

В начале 1941 года от депортаций и погромов перешли к первым «пробным» массовым убийствам, правда, еще не в Германии. Первая волна таких убийств, организованных «Железной гвардией», прокатилась по Румынии 22—23 января 1941 года¹. Антисемитизм был одной из осевых идеологических составляющих и во время боевых действий на Балканах.

С нападением на СССР различные европейские «тесты» и эксперименты закончились, — пора было переходить к масштабным делам: миллионы советских евреев огульно и безоговорочно признавались самыми заклятыми и опасными врагами Рейха и, соответственно, — наименее достойными жизни! Тем самым качественное их выявление и последующая ликвидация составляли одну из не слишком явно декларированных, но в то же время центральных и вполне очевидных целей Восточного похода.

К тому же концепция «окончательного решения» была основательно пересмотрена: с депортаций куда-нибудь подальше акцент перенесли на депортации в никуда, на депортации в смерть.

И действительно, с первых же часов войны Третий рейх не оставлял евреев без своего смертоносного «внимания». Первые убийства советских военнопленных-политкомиссаров и среди них — евреев датируются буквально начиная с 22 июня 1941 года!

Вот несколько свидетельств такого рода.

В отчете о деятельности отдела «1С» 123-й пехотной дивизии от 22 июня 1941 года читаем: *«Среди взятых в плен русских находился политкомиссар Зарин из 178-го строительного батальона. Согласно приказу, в 20.35 он был, как положено, расстрелян»*². Или, в вечернем донесении отдела «1С» 6-й армии в группу армий «Юг» от 23 июня 1941 года:

¹ Hirschfeld, Gerhard (Ed.). The policies of Genocide. Jews and Soviet Prisoners of War in Nazi Germany. London: The German Historical Institute, 1986. P. 148—153.

² ВА-МА, РН 26—123/143 (сообщено Ф. Ремером).

«22 и 23 июня войсками захвачено и подвергнуто соответствующему обращению 2 политкомиссара»¹. В вечернем боевом донесении Главнокомандования 4-й армии от 27 июня 1941 года сообщалось о ликвидации, начиная с 22 июня, шести политкомиссаров². Офицер связи отдела «1С» 4-й танковой группы лейтенант Боте (Bothe) докладывал 10 июля 1941 года в группу армий «Север» об уничтожении за период с 22 июня (sic!) по 8 июля 101 политкомиссара³.

Как видим, убийцами тут являлись никак не профессиональные антисемиты-погромщики из АГ, а исключительно немецкие военнослужащие регулярной немецкой армии. Но в отдельных, географически благоприятных, случаях не отставали и профессионалы. Так, 22 июня отдел «1С» АК 7 (по всей видимости — АК 7b) доложил в 4-ю армию о ликвидации одного политкомиссара⁴.

Кстати, первое массовое убийство гражданских евреев произошло ненамного позже — 24 июня, когда около 100 человек было расстреляно зондеркоммандо «Тильзит» в приграничном с Восточной Пруссией литовском местечке Кретинга (или, по-немецки, Гарсден). Расстрел произошел по инициативе начальника АГ «А» Шталеккера, прибывшего в Тильзит еще 22 июня. При этом сама расстрельная команда состояла в основном из кадров полицейского округа Тильзит, расположенного прямо по соседству — по другую сторону бывшей советско-немецкой границы⁵. Вместе с евреями тогда расстреляли еще и несколько коммунистов и даже жену бывшего советского коменданта города⁶.

¹ ВА-МА, РН 20—6/489. Вл. 279 (сообщено Ф. Ремером).

² ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 185. Л. 39—40.

³ См. соответствующие отчеты в: Jacobsen, 1965. S. 192—193. Dok. 15. См. также: Förster, 1983. S. 434—440.

⁴ ВА-МА, РН 20—4/681 (сообщено Ф. Ремером).

⁵ По существу, эта АК была наскоро собрана из местных полицейских (см.: Longerich, 1998. S. 296—351).

⁶ Angrick, 2003. S. 131.

В конце июня погромы и убийства евреев прокатились по большим городам (Каунасу, Львову, Белостоку и др.), где прямыми убийцами поначалу были не столько сами немцы, сколько местные — главным образом литовские и украинские — националисты-погромщики (разумеется, при полном понимании, благорасположении и прямом подстрекательстве немецкой стороны)¹.

Применительно же к Белостоку и его окрестностям, после окончания войны вновь отошедшим к Польше, имеется уникальная документация — том по Ломжинскому воеводству в составе малотиражной (всего 180 экз.!) ротапринтной серии Главной комиссии по расследованию гитлеровских преступлений в Польше и Института народной памяти, предназначенной сугубо для внутреннего пользования². Издания серии подготовлены на базе опросов бургомистров всех населенных мест Польши относительно любых деяний немецких оккупантов. Июнем 1941 года, в частности, датированы расстрелы 116 евреев в местечке Гонядж (Goniądz), а также многочисленные немассовые расстрелы евреев в других городах и селах воеводства. Существенно, что в роли палачей в этом источнике фигурируют различные силы — и гестапо, и жандармерия, и полиция безопасности, и АК, и вермахт.

Все это заставляет еще раз вернуться к проблеме хронологического начала Холокоста. Ведь до сих пор принято считать, что геноцид евреев как политическая задача впервые был озвучен только в конце января 1942 года, на конференции в Ваннзее. К. Герлах датирует это же самое декабрем 1941 года (первоначальным временем, когда должна была состояться встреча в Ваннзее), а К. Браунинг — сентябрем

¹ Впрочем, в Каунасе погромничали люди из АК-1.

² Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939—1945: Województwo Łomżyńskie. / Informacja wewnętrzna nr. 66/23. — Warszawa: Główna komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce; Instytut pamięci narodowej, 1985. С. 58, 61, 97—101, 118 и др. (нам сообщено Д. Полем).

1941 года, увязывая это решение с началом массовых расстрелов гражданского еврейского населения на оккупированной территории СССР. Так что же — и начало Холокоста в таком случае следовало бы датировать сентябрем, декабрем 1941 года или даже февралем 1942 года?

Но как же тогда с уже убитыми к этому времени десятками и сотнями тысяч советских евреев — военнопленных и гражданских? Разве это — еще не Холокост? Неужели все это акты самодеятельности или оплошности подчиненных?

Конечно же, это — Холокост, или, точнее, его самая первая стадия¹. И невозможно себе представить, что, будучи одной из постоянных в разговорах Гитлера с его ближним кругом, эта тема, а равно и подготовка, и «старт» систематического народовубийства не оставили после себя документальных или мемуарных следов. По версии А. Штрайма, прямой приказ об уничтожении евреев был принят всего лишь за несколько дней до нападения на СССР, причем приказ этот, во избежание огласки, был отдан Гитлером устно и спущен вниз — тоже устным способом — через Гимmlера и Гейдриха². Так, согласно П. Лонгериху, Гейдрих буквально за несколько дней до 22 июня издал устный приказ об убийстве всех коммунистических функционеров и всех евреев на партийных и государственных должностях.

Формой документации этих утверждений являются, в основном, свидетельские показания тех, кто служил тут промежуточными или конечными звеньями. Показания эти были сняты, в основном, в ходе подготовки послевоенных процессов над ними как над нацистскими преступниками. Они, несомненно, являлись частью выработанной ими самими и их адвокатами оправдательной стратегии, нацеленной на юридическую квалификацию народовубийства как элементарного исполнения приказа вышестоящих руководителей в ситуации войны. Однако впоследствии некоторые из них

¹ Альтман, 2002. С. 193.

² Longerich, 1992. S. 85.

отказались от своих показаний, особенно в части датировки, — как бы перекладывая тем самым дату отдачи такого приказа на более поздний период¹.

Однако есть и другие, вполне основательные и откровенные источники косвенной документации этой проблемы. Это прежде всего обширные и обстоятельные «Сообщения о событиях в СССР» («Ereignismeldungen UdSSR») — сводные текущие отчеты о деятельности «айнзатцгрупп» (АГ) и «айнзатцкомманд» (АК)², а также британские расшифровки радиоперехватов немецких донесений, сделанные на разных этапах войны.

Согласно П. Лонгериху, анализ «Сообщений о событиях в СССР» позволяет выделить следующие две стадии: доклады первых шести недель войны были посвящены исключительно еврейским погромам, инспирированным АГ, но проходившим без прямого немецкого участия³, а также массовым расстрелам мирного населения, большую часть жертв которых при этом составляли евреи-мужчины, при этом все не занимавшие каких-либо государственных или партийных постов (тут следует сделать маленькую оговорку о том, что хронологически первые убийства евреев на территории СССР происходили, как правило, без прямого участия АГ и АК еще и потому, что они прибыли на места своей деятельности только в конце июня⁴). Вторая фаза, по Лонгериху, отличается от первой лишь тем, что с августа 1941 года

¹ Подробнее см. у Штрайма (Streim, 1981) и Огоррека (Ogorreck, 1996).

² ВАВ, R 58, Nr.Nr. 214—221. В общей сложности они насчитывают примерно 2900 машинописных страниц! Впрочем, заметим, что «Сообщения...» составлялись в Берлине на основании более детальных отчетов с мест, поступавших не всегда регулярно и синхронно, — тем более поэтому синхронизировать их удавалось на всегда.

³ Здесь имеется в виду преобладающая тенденция: уже отмечалось, что отдельные, чисто немецкие операции по ликвидации евреев имели место уже и в это время.

⁴ Определенный временной лаг — отставание был тем более неизбежен и в деятельности «зондеркоммандо», действовавших в ближайшем тылу отдельных сухопутных соединений.

расстреливать начали не только евреев, но и евреек и еврейских детей¹.

Тем самым никакой прямой связи между «функцией» жертв в советском государстве и их уничтожением не было: на практике срабатывала одна только «привязка» — национальная принадлежность жертв! И это дает П. Лонгериху (а вслед за ним и нам) серьезные основания полагать, что все разговоры о евреях-функционерах, включая и «Приказ о комиссарах» от 6 июня, не более чем ширма для куда более радикального устного приказа, с самого начала предусматривавшего ликвидацию евреев в целом (и поначалу, возможно, ограниченную лишь евреями мужского пола).

Не забудем и то — впрочем, достаточно малоизвестное — обстоятельство, что даже среди советских моряков торгового флота — выходцев из балтийских стран, интернированных тотчас же после (а иногда и до!) объявления войны 22 июня, проводилась своего рода «селекция»: матросов-евреев обособляли и снимали с судов, тогда как неевреев оставляли на месте².

Коль скоро это справедливо для мирного еврейского населения, то тем более это очевидно и для евреев — военнослужащих Красной Армии. **Все они однозначно подлежали ликвидации**, и для этого не нужно было дожидаться ни прибытия айнзаткомманд, ни боевых приказов Гейдриха, которые, в действительности, не более чем упорядочивали этот процесс. **Первыми** из числа советских евреев соприкоснувшись с вермахтом и СС (при сдаче в плен или вскоре после этого), именно **советские военнопленные-евреи стали первыми по времени жертвами Холокоста в СССР**.

И это совершенно принципиальное и до сих пор широко и охотно игнорируемое обстоятельство необходимо особо отметить и еще раз подчеркнуть: **Холокост как система**

¹ Longerrich, 1992. S. 85—89.

² См.: Полян, 2002. С. 127.

физического уничтожения немцами евреев хронологически ведет свое начало именно с систематического убийства евреев-военнопленных!

СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ-ЕВРЕИ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА ИХ УБИЙСТВА

В самом начале весны 1941 года подготовка Германии ко вторжению в СССР перешла в активную фазу.

Отдел охраны тыла ОКВ под руководством генерала Варлимонта подготовил и передал в штаб ОКВ проект «Директивы об особых областях, согласно указанию № 21 («Барбаросса»)». 3 марта начальник штаба ОКВ Йодль вернул его обратно с пометой о том, что в окончательном тексте фюрер просил бы учесть следующие указания: оперативная полоса сухопутных войск должна быть как можно менее глубокой, за нею следуют области не военного, а гражданского управления (рейхскомиссариаты и пр.), через которые и будет осуществляться политика на востоке. Эти области насыщаются силами СС, полевой жандармерии и полиции, — войскам же предстоит сосредоточиться главным образом на военных задачах¹.

Указания эти Йодль получил, скорее всего, на встрече с Гитлером и Кейтелем, состоявшейся накануне. Тогда Гитлер, может быть, впервые коснулся вопроса: а что же делать с политическими противниками Рейха в СССР? Его собственная позиция уже вполне сформировалась: это будет борьба мировоззрений, борьба не на жизнь, а на смерть, поэтому — политических врагов следует уничтожать под корень, безо всякой оглядки на международное право. Из этого вытекала важность роли «чистильщика», которую фюрер отводил Гиммлеру и СС.

5 марта генерал-квартирмейстер ОКХ Вагнер доложил об указаниях фюрера начальнику штаба ОКХ генерал-полковнику Гальдеру. Следствием этого явилось то, что тема

¹ Jacobsen, 1967. S. 143—144.

эзекуций с самого начала не упускалась из виду и на сугубо военных подготовительных совещаниях. Так, на сравнительно невысоком по уровню совещании 6—7 марта с участием ритмейстера¹ Ганса Шаха фон Виттенау из группы армий «Б», начальника отдела военной контрразведки полковника Г. Остера и его подчиненного, подполковника Бентивеньи, начальника 3 отделения абвера, обсуждалась выдвинутая, очевидно, ОКВ схема распределения компетенций в будущей полосе наступления. ОКХ отвечало при этом за 400-километровую зону, из них 200 км приходилось на оперативную полосу (в свою очередь, подразделяющуюся на зону боевых действий и зону армейского тыла) и еще 200 км — на тыловую зону сухопутных войск: на каждую группу армий — по 3—4 дивизии безопасности (в свою очередь состоящих из одного пехотного полка и трех групп полиции безопасности), обеспечивающих безопасное движение по железным и автомобильным дорогам и снабжение боевых частей. Разграничительная линия между оперативной полосой и полосой управления определяется и контролируется ОКХ, в полосе управления полномочия распределяются между ОКВ (с верховенством в военных вопросах) и рейхскомиссарами (с верховенством в вопросах гражданских)².

Действия АК координировал непосредственно Гиммлер, в каждый отдел «1С» (контрразведка) армейского уровня он направляет связного офицера СС (рангом не выше начальника «1С»), но при этом эзекуции настолько, насколько это было возможно, осуществлялись не на глазах у войск. От имени своей группы армий Шах фон Виттенау потребовал ускоренного структурирования групп армий и доукомплектования частей полиции безопасности (в том числе для обеспечения безопасности войск на марше), а также максимально четкого распределения обязанностей и полномочий между ними и СС³.

¹ Капитана кавалерии.

² Далее следуют уже Генерал-губернаторство и собственно Рейх.

³ ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 209. Л. 121. См. также: *Verbrechen der Wehrmacht...*, 2002, S. 57. Факсимиле, со ссылкой на: РГВА. Ф. 1303. Оп. 1. Д. 41. Л. 41.

Неделей позже, 13 марта, переговоры продолжились на куда более высоком уровне. ОКВ (Кейтель), ОКХ (Э.Вагнер), СС (Гиммлер) и РСХА (Гейдрих) обсуждали практически то же самое — распределение компетенций и обязанностей на оккупированной советской территории. Учитывая как указания Гитлера¹, так и пожелания Шаха фон Виттенау, новый проект, с одной стороны, предоставлял СС и АГ полную самостоятельность в вопросах карательной политики против местного населения, но с другой стороны — действовать они должны были по возможности скрытно и вне войсковых соединений ОКХ².

Это «вне войсковых соединений», по замечанию Р. Огоррека, подчеркивало попытку армии (и прежде всего ОКХ) как можно более дистанцироваться от карательных органов. Деятельность последних регламентировалась строго фиксированными рамками и ограничивалась исключительно глубокой тыловой зоной сухопутных войск³.

Карательная же функция непосредственно в армейском тылу закреплялась за соединениями полиции безопасности (зипо) и СД, которым в этой связи присваивалось специальное обозначение «особые команды» (Sonderkommando, или ЗК). В их функции в первую очередь входили устройство гетто и «гражданских лагерей», охота за особо важными функционерами, архивами и картотеками враждебных Рейху организаций, действовавших в ближайшем тылу. Задача же физической расправы над евреями, в отличие от круга задач АГ и АК, хотя и не была им противопоказана, но фактически не была первостепенной, и часто палачами подготовленных

¹ Гитлер, как записал в своем дневнике Гальдер, еще раз повторил их 17.03.1941 на встрече с Гальдером, Вагнером и начальником оперативного отдела ОКХ полковником Хойзингером, подчеркивая, что ангажированная Сталиным интеллигенция должна быть уничтожена.

² Erlassentwurf zur «Regelung des Einsatzes der Sicherheitspolizei und des SD im Verbande des Heeres» (Ogorreck, 1996. S. 27—28, со ссылкой на: BA/MA, RW 4/v. 575, Bl. 43—45).

³ См. об организации тыла вермахта в СССР в: Dallin, 1958. S.106—107.

ЗК жертв были не они, а как раз подоспевшие следом АГ и АК¹.

25 марта Вагнер и Гейдрих встретились вновь. Результатом их переговоров стал новый проект указа об урегулировании деятельности полиции безопасности и службы безопасности в соединениях сухопутных сил от 26 марта.

Подготовленный ОКХ и РСХА проект указа был подписан командующим ОКХ фон Браухичем 28 апреля без каких бы то ни было изменений в тексте². Фактически указ означал и то, что АГ и АК могут приступать к своим «спецоперациям» только с известным запаздыванием по фазе, поскольку тыл сухопутных войск может возникнуть лишь тогда, когда сами войска продвинулись на значительное расстояние вперед. И действительно: известны случаи, когда на обращения руководителей АГ о заблаговременном их перебазировании в районы будущей деятельности военные отвечали отказом, ссылаясь на регламентирующее соглашение от 28 апреля 1941 года, а также на то, что тыловая зона сухопутных войск, где им надлежало бы действовать, еще не сформировалась³.

Это — исключительно важное обстоятельство, и оно нуждается в определенном осмыслении. Оно означает, что между карательной деятельностью АГ и наступательными операциями вермахта принципиально обязательно существовал некий временной лаг запаздывания, величина которого зависела, во-первых, от скорости продвижения вермахта вперед, как, впрочем, и от того, наступает ли он вообще. Из этого же априори следует, что деятельность АГ и АК на оккупированной территории СССР могла начаться не ранее, чем тыловая зона сухопутных войск впервые сформируется, а это — даже в условиях триумфального продвижения впе-

¹ Gerlach, 1999. S. 540.

² ИМТ. Doc. NOKW 2080 (Рус. перевод: Наумов, 1998. Кн. 2. С. 122—123, № 417).

³ Такой отказ получил, в частности, из штаба 11-й Армии начальник АГ «D» О. Олендорф, рвавшийся как можно скорее на Кавказ (см. Ogorreck, 1996. S. 43—44).

ред — все же требовало определенного времени. Тем самым АГ и АК никак не могли входить — и не входили — в число палачей евреев из мирного населения, убитых в первые же дни войны¹.

И действительно, хорошо документированная история первоначального выдвижения АГ и АК говорит о том, что все они прибыли в места изначальной дислокации самое раннее 28—29 июня (правда, к выполнению своих обязанностей они приступили сразу же).

Однако «цена» недопущения АГ и АК в оперативную зону и ближний тыл оказалась высокой: немалую толику задач по первоначальному выявлению и уничтожению врагов Рейха в этих районах, не говоря уже о селекции военнопленных, вермахту пришлось брать на себя². Именно активного соучастия в ликвидации «большевистских комиссаров и коммунистической интеллигенции» жестко потребовал от вермахта Гитлер в своей программной пламенной речи, произнесенной перед высшими офицерами 30 марта 1941 года.

В тот же вечер Гальдер записал в боевом дневнике: *«Точно так же, как политических функционеров, так и военных комиссаров после их пленения надлежит отделять от других военнопленных и передавать айнзатцгруппам СД... Там, где такая передача по военным обстоятельствам невозможна, функционеры и комиссары должны расстреливаться войсками»*³.

Тогда, собственно, и была озвучена идея будущего приказа о комиссарах⁴. Уже на завтра, 31 марта, ОКХ получило задание разработать проект директивы об обращении с захваченными в плен политработниками. Над проектом рабо-

¹ За исключением случая с Кретингой

² См. подробнее в: Ogorreck, 1996. S. 27—42.

³ Grainer, Helmuth. Die oberste Wehrmachtsführung 1939—1943. Wiesbaden, 1951. S. 371

⁴ См. Ogorreck, 1996. S. 39—40; Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtsführungsstab). 1940—1945. Bd. 1—4 / (Hg.) Schramm, Percy Ernst. Frankfurt-am/Main, 1965. S. 337 (запись от 30.3.1941).

тали начальник Отдела войск противника на Востоке ОКХ генерал-лейтенант Э. Мюллер и его советник по правовым вопросам д-р Латман¹. Генерал Гальдер, начальник штаба ОКХ, просуммировал их результаты одной фразой: «*В восточной кампании войскам придется принять участие в борьбе мировоззрений*» — и, кажется, тут имелись в виду не философские диспуты!² Несколько менее общее представление об их концепции дает запись офицера штаба 11-й армии, сделанная им после доклада Латмана 16 мая: «*Политических комиссаров отправлять в тыл сухопутных войск и передавать СС*»³.

Результаты работы ОКХ, надо полагать, поступили и в ОКВ, где велась и своя работа над соответствующими проектами. 12 мая генерал Варлимонт докладывал в Берлине начальнику штаба вермахта генерал-полковнику Йодлю соображения об обращении с политическими и военными руководителями, взятыми на востоке в плен. Проект Варлимонта не только не рассматривал их как пленных, но и предусматривал их физическое устранение, причем право принятия конкретного решения о расстреле предоставлялось всем офицерам вермахта, правомочным накладывать дисциплинарные взыскания, а основанием, достаточным для принятия такого решения, являлось бы любое подтверждение самого факта принадлежности к политорганам Красной Армии (в том числе и самое простое — по форме одежды).

Другое дело, что операции такого рода должны были вестись не в ущерб самим боевым действиям, — вопросы жизни и смерти конкретных политкомиссаров можно было немного и отложить. Но, самое позднее, они должны были уничтожаться в дулагах: их транспортировка в глубокий тыл и тем более в Рейх

¹ Förster, 1983. S. 436.

² Запись в его дневнике от 6.5.1941 (цит. по: Förster, 1983. S. 436).

³ Förster, 1983. S. 436, со ссылкой на: BA-MA. Allierte Prozesse 9, NOKW-486.

не предусматривалась. Задача выявления политработников в тылу (за исключением политработников из числа военнопленных) также доверялась «специалистам» из АК¹.

Из наброска Варлимонта явствует, что в это же время существовал еще и альтернативный проект — памятка № 3 рейхслайтера А. Розенберга: она предусматривала ликвидацию только высших и крупных чиновников при оставлении в живых средних и мелких — в интересах хозяйственного управления оккупированными территориями.

Поэтому Варлимонт предлагал вынести на решение фюрера следующие принципы: а) политкомиссары в войсках безоговорочно подлежат уничтожению; б) с политическими и хозяйственными руководителями надлежит обращаться в зависимости от их враждебности по отношению к оккупационным властям: враждебных, в соответствии с приказом «Барбаросса», рассматривать как партизан и уничтожать, а внешне лояльных — временно оставлять и передавать в руки ЗК, компетентных разобраться в каждом конкретном случае. Начальник штаба ОКВ Йодль отреагировал на записку Варлимонта так: *«Следует считаться с возможностью репрессий против германских летчиков. Лучше всего поэтому представить все это мероприятие как расплату»*².

В то же время нельзя не отметить той осторожности и постепенности, с какими вермахт, в отличие от НСДАП, СС или

¹ См. материалы к докладу генерала Варлимонта «Обращение с захваченными в плен политическими и военными русскими руководящими работниками» от 12.5.1941 (ВА-МА, RW 4/V.577). Рус. перевод — см.: Советские военнопленные: бухгалтерия... 1991. С. 30—31.

² Материалы к докладу генерала Варлимонта «Обращение с захваченными в плен политическими и военными русскими руководящими работниками» от 12.5.1941 (ВА-МА, RW 4/V.577). Рус. перевод — см.: Советские военнопленные: бухгалтерия... 1991. С. 30—31. А 3.4.1941, не дожидаясь конца дискуссий, в ОКХ просто вычеркнули политкомиссаров из перечня советских военнопленных, подлежащих хоть какому-нибудь централизованному питанию (Besondere Anordnungen für die Versorgung. Teil C. v. 3.4.1941, unterzeichnet von Halder (см. в: Ogorreck, 1996. S. 40—41). См. также другой экз-р в: ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 209. Л. 122).

РСХА, допускал в свои нормативные акты прямые указания на их смертоносный антисемитизм. Военные ограничивались, по возможности, эвфемизмами типа «особые операции по заданию фюрера», «специальное обхождение» и т.д. Что бы ни обсуждалось в марте и апреле между вермахтом, СС и РСХА, как бы зажигательно ни говорил Гитлер 30 марта, — первые антисемитские пароли в письменной форме в делопроизводстве вермахта датируются только началом мая.

Так, в приказе командующего 4-й танковой группы Гепнера от 2 мая 1941 года о предстоящих боевых действиях на Востоке говорится как о борьбе германцев со славянами и об «отпоре еврейскому большевизму»¹. В датированном 6 мая наброске приказа об обхождении с враждебно настроенными местными жителями на оккупированных территориях упоминается беспощадное подавление любых носителей «еврейско-большевистского мировоззрения» среди гражданского населения².

Последний набросок являлся одним из подготовительных документов к Указу Гитлера «О применении военной юрисдикции и об особых мероприятиях войск» от 13 мая 1941 года³. Он освобождал военнослужащих вермахта от всякой судебной ответственности в оперативной зоне войск и практически являл собой самую настоящую индульгенцию на любое убийство или насилие против советских граждан.

¹ ВА-МА. LVI AK, 17956/7a (Рус. перевод: Наумов, 1998. Кн. 2. С. 151. № 432). Интересно, что даже в таком одиозном по своей откровенности документе, как приказ командующего 6-й армией генерал-фельдмаршала Рейхенау «О поведении войск на Востоке» от 10.12.1941 фигурирует уже не «большевистско-еврейская», а «азиатско-еврейская» и даже просто «азиатская» опасность и угроза.

² См.: Jacobsen, 1965, Dok.5a. S.175—176. Предыстория и результаты осознанно противоправной политики вермахта по отношению к советским военнопленным представлена также и в трудах К. Штрайта. А. Штрайма и Р. Отто (Streit, 1978; Streim, 1981; 1982; Otto, 1998).

³ Соответствующий приказ по ОКВ был выпущен Кейтелем назавтра, 14.5.1941.

Интересно, что в окончательном тексте самого Указа «большевистское влияние» осталось, а вот упоминание «еврейскости» — исчезло¹. А ведь это Указ, до середины июля прослуживший юридическим «прикрытием» для множества акций против евреев как из числа военнопленных, так и из местного населения!

Евреи же как таковые, безотносительно к большевистской идеологии, впервые упоминаются и вовсе только 4 июня 1941 года — в «Инструкции о поведении войск в России»:

«1.1. Большевизм — смертельный враг национал-социалистического немецкого народа. Это разрушительное мировоззрение, и его носители заслуживают того, чтобы Германия дала им бой.

2. Эта борьба потребует безоглядных и энергичных действий против большевистских поджигателей, партизан, саботажников, евреев и уничтожения без остатка любого активного и пассивного сопротивления с их стороны...»².

А двумя днями позже — 6 июня — была выпущена знаменитая «Инструкция по обхождению с политическими комиссарами», более известная как «Приказ о комиссарах»: *«В борьбе с большевизмом на поведение врага в соответствии с принципами человечности или международного права рассчитывать не приходится. В особенности от политических комиссаров всех мастей как носителей духа сопротивления следует ожидать исполненного ненависти, жестокого и бесчеловечного отношения по отношению к нашим военнопленным. [Поэтому] войска должны сознавать: в этой борьбе по отношению к этим элементам нет места пощаде и оглядке на международное право. <...> Поэтому, схваченных в бою или при сопротивлении, их следует, как*

¹ См.: Jakobsen, 1965, Dok.8. S.181—184. См. его русский перевод, с датой 13.5.1941: Первые дни войны в документах. / Публ. В.Р. Журавлева, А.С. Ануфриева и Н.М. Емельянова. // ВИЖ. 1989. № 5. С. 52—54. Со ссылкой на: ЦАМО. [Ф. 500.] Оп. 12462. Д. 564. Л. 23—26.

² См.: Jakobsen, 1965, Dok.11. S.187—188.

правило, уничтожить на месте, применяя для этого оружие»¹.

За несколько дней до нападения «Приказ о комиссарах» зачитывался в войсках, причем его интерпретация была доверена средним командирам. Их понимание задачи нередко было куда как более широким, нежели сам приказ.

Так, рядовой Руди Махке, попав в плен, в частности, показал: *«Наш капитан Финкельберг делал в нашей роте доклад о Красной Армии за два дня до начала похода. Кратко были обсуждены знаки различия, затем он сказал, что в плен никого брать не нужно — это лишние едоки и вообще это раса, истребление которой является прогрессом. Комиссары, которых можно узнать по советской звезде на рукаве, настоящие черти в образе человеческом, и их нужно истреблять, без колебаний расстреливать. Невыполнение этого приказа будет стоить жизни нам самим»².*

Тут, кстати, существенна и сама по себе широкая свобода «интерпретации» приказа офицерами вермахта.

И в этой связи не следует переоценивать то обстоятельство, что евреи как таковые в «Приказе о комиссарах» даже не названы. Отмеченная только что свобода «интерпретации» с лихвой выправляла этот «недостаток».

К тому же есть основания полагать, что под комиссарами не в последнюю очередь в виду подразумевались именно евреи, или, по крайней мере, в том числе евреи. Сплав «комиссарского» с «еврейским» непосредственно в головах разработчиков «Приказа о комиссарах» характеризует одна прелюбопытнейшая фраза, всплывшая при обсуждении проекта ОКХ в Отделе у Э. Мюллера еще 26 мая: *«Многие нееврейские комиссары, несомненно, всего лишь попутчики и не яв-*

¹ Цит. по: Jakobsen, 1965. S.188—191. Юридическим основанием для расстрелов политкомиссаров служил как раз Указ Кейтеля от 14.5.1941 об освобождении от судебной ответственности в зоне «Барбаросса».

² ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 148. Д. 44. Л. 15а, 15б (собственноручные показания и перевод, без даты).

ляются приверженцами коммунистической идеи»¹. Ю. Ферстер резонно усматривает в этом свидетельство типичности такого рода отождествления большевизма и еврейства. Тем легче предположить тот же самый «сплав» в головах исполнителей приказа!

Определенно восходя к стереотипам антисоветской пропаганды еще середины 1930-х годов², когда ведомство Геббельса охотно оперировало словами «жиды», «комиссары» и «большевики» как синонимами, такое отождествление было само собой разумеющимся и чуть ли не общим местом. Замороженные на двухлетие германо-советской дружбы, эти стереотипы были вновь подхвачены немецкой пропагандой накануне нападения на СССР. В первом же пункте датированных 10 июня 1941 года и подписанных командующим ОКХ Йодлем «Указаний по пропагандистской деятельности в случае «Плана Барбаросса» говорится: *«Врагами Германии являются не народы Советского Союза, а исключительно жидо-большевистское советское правительство со своими функционерами и Коммунистической партией, вынашивающими планы мировой революции»*³. Поэтому на эзоповом языке национал-социалистической идеологии за словом «комиссар» просвечивало слово «еврей» точно так же, как из словосочетания «особое обращение» проступало не что иное как «убийство».

К. Браунинг довольно тонко заметил, что если при нападении на Польшу расправа с польскими евреями еще могла подождать до того момента, когда закончится истребление польской национальной интеллигенции, то в случае нападения на СССР ни евреям, ни большевикам уже не приходи-

¹ Förster, 1983. S. 436, со ссылкой на: ВА-МА. RH 19. III. Nr.722.

² В этом принимал посильное участие и вермахт, на листовках которого еще в 1935 «господа комиссары и партруководители» назывались не иначе как «грязные жиды» (Förster, 1983. S. 440). Что уж говорить о листовках, разбрасывавшихся в 1941: «Бей жида-политрука — морда просит кирпича» — и так далее!

³ ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 209. Л. 10.

лось «ждать» друг друга: *«И за теми, и за другими «айнзатцкоманды» охотились с одинаковым энтузиазмом, ибо и те, и другие являлись для них биологической и политической манифестацией все одного и того же — а именно «жидо-большевистского заговора»*¹.

8 июня свой приказ, соответствующий «Приказу о комиссарах» (но с грифом: «Приказ ОКВ»), выпустил и главнокомандующий ОКХ фельдмаршал фон Браухич, спустив его тем самым до армейских групп, армий и танковых групп (далее предусматривалось только устное оповещение)². Он сделал в нем два существенных пояснения, призванных удержать возможный произвол войск хоть в каких-то рамках: первое предусматривало со стороны военнопленного действия или отношение, однозначно направленное против вермахта, а второе предписывало осуществлять экзекуции, по возможности, вне зоны боя и только по приказу офицера. 10 и 11 июня Мюллер собрал офицеров отдела «1С» и войсковых судей уровня групп армий и армий у себя, вручил им копии приказа фон Браухича и проинструктировал (далее им предстояло самим инструктировать нижестоящих)³.

Тем не менее, даже с учетом пояснений ОКХ, из текста «Приказа» многое оставалось так и не ясным. Например: в какой степени распространялась сфера его действительности и на гражданских партийных руководителей, которых рекомендовалось расстреливать лишь в том случае, если они участвовали в боевых действиях, актах саботажа и т.д.? Другой неясный вопрос: до какого войскового уровня дотягивалось, в немецкой интерпретации, понятие «комиссар»? Ведь на

¹ Browning, 1989. P. 780. Интересно, что в самом начале войны, при вступлении вермахта на бывшие польские территории, задача ликвидации польской интеллигенции была отставлена — в том числе и вследствие использования в собственных целях как польского антикоммунизма, так и польского антисемитизма, о чем прямо писал Гейдрих в своем «Приказе № 2» от 1.7.1941 (ЦАМО. Ф. 500. Оп. 12454. Д. 209. Л. 109.).

² Jacobsen, 1967.

³ Förster, 1983. S. 438.

уровне рот, батарей и эскадронов существовали не комиссары, а политруки, и на них действие «Приказа о комиссарах» было распространено только в августе 1941¹. Важнейшим признаком установления комиссарства считалось наличие на рукавах гимнастеров красных звездочек с золотистыми серпом и молотом, но точно такие же звездочки носили и военные корреспонденты, начальники клубов и домов офицеров, армейские артисты и музыканты². Как тут быть?

Склонность трактовать этот приказ расширительно проявилась и в распространении его в некоторых случаях на всех евреев вообще³. Так, известно, что офицер отдела «1С» 22-й пехотной дивизии инструктировал 20 июня адъютантов командиров нижестоящих соединений — и чему? — «Обхождению с политическими комиссарами, евреями и прочими пленными»⁴.

Другой пример. Начальник Отдела по делам военнопленных Данцигского военного округа генерал-лейтенант в отставке К. фон Остеррайх показывал после войны, что 24 июня 1941 года он получил из ОКВ «Приказ о комиссарах», подписанный начальником управления по делам военнопленных генералом Рейнекке, в котором, как ему помнилось, немецким войскам и администрации лагерей для военнопленных приказывалось поголовно расстреливать русских военнопленных, принадлежащих к политическому составу Красной Армии, коммунистов и евреев. То, как запомнился ему этот приказ, куда важнее того, что в нем действительно было или чего не было⁵.

¹ Förster, 1983. S. 439, со ссылкой на: ВА-МА. RH 26—22. NrNr. 66 и 67.

² Лужеренко, 1989. С. 173.

³ Другими задокументированными разновидностями «расширенной интерпретации» этого приказа явились его распространение на военнопленных женщин и на раненых (См., в частности, в показаниях рядового вермахта М. Шарте в: Лужеренко, 1989. С. 173—174).

⁴ Förster, 1983. S. 439, со ссылкой на: ВА-МА. RH 26—454/ Nr. 6.

⁵ Показания К. фон Остеррайха от 28.12.1945 (ВИЖ. 1991. № 3. С. 39—40. Со ссылкой на: ГАРФ. Ф. Р—7445. Оп. 2. Д. 103. Л. 137—144. Публикаторы: С.В. Биленко, А.В. Костенецкий).

Точно такая же «ошибка» зафиксирована и в следственном деле Вернера Фридриха, бывшего члена штаба 17-й Армии. Его обвинили в дальнейшей передаче нижестоящим частям 17-й Армии «Приказа о комиссарах» от 6 июня 1941 года, обозначенного тут же как Приказа о селекции и казни советских военнопленных еврейского происхождения, политкомиссаров и так называемых «невыносимых элементов» в лагерях¹. На это же указывал в своих показаниях 1948 года и штурбаннфюрер СС Курт Линдов, в 1942—1944 гг. возглавлявший реферат IVA «1С» в Имперском Главном управлении безопасности (RSHA): занимавшемся вопросами военнопленных. Именно его реферат готовил приказы и расстрельные списки на военнопленных, уходившие потом в шталаги и концлагеря за подписью начальника Отдела IV Генриха Мюллера².

Все это показания, сделанные уже после войны, но аналогичные признания известны и для собственно военного времени. Так, ефрейтор 14 роты 670 пехотного полка 371 пехотной дивизии Эрнст Краузе, взятый в плен весной 1943 года, сообщил на допросе о существовании приказа о расстреле на месте политруков и евреев³.

Впрочем, идея официального распространения смертоносности «Приказа о комиссарах» на всех советских военнопленных еврейской национальности, как говорится, витала в воздухе. И если тут еще и возможна дискуссия, то не чересчур длительная, ибо уже в июле евреи были отчетливо названы в перечне не подлежащих пощаде жертв!

В «Боевом приказе» руководителя РСХА Р. Гейдриха № 8 от 17 июля 1941 года все это было прописано с подобающей четкостью. В добавлениях к «Приказу о комисса-

¹ IfZ, München. Gn 02.42. Vorermittlungsverfahren 319 AR — Z 46/76 — АОК 17.

² Jacobsen, 1967. S. 223—225. Dok. 36—37, 40.

³ Свердлов, 1996. С. 116, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 68-й Армии. Оп. 3064. Д. 105. Л. 116.

рах», выпущенных всего двумя днями позже, то есть 8 июня, уточнялось, что расстреливать на месте следует не всех комиссаров, а только тех из них, кто вел себя по отношению к вермахту явно или нарочито враждебно. Это поправка была спасительной, но не для евреев, а лишь для части нееврейских политкомиссаров.

Интересно, что в «Указаниях по использованию русских военнопленных», изданных Кейтелем также 8 июля, в конце сообщается: «... Особенности обращения с военнопленными в зависимости от их национальности настоящими <указаниями> не затрагиваются»¹. Это можно интерпретировать двояко: или эти «особенности» еще предстоит сформулировать в самом ближайшем будущем, или они считаются уже сформулированными, например, в той же «Инструкции о поведении войск в России» или в «Приказе о комиссарах».

Полностью нельзя исключать и существование какого-то иного, неназванного, приказа. Ведь то обстоятельство, что тот или иной документ не обнаружен, еще не означает того, что его и не было. Так что не стоит исключать и отдачу приказа или инструкции устным образом, как это часто практиковалось в Рейхе в особо деликатных случаях.

Из четырех первоначальных начальников АГ живым и дееспособным до Нюрнбергского трибунала дотянул один лишь Отто Олендорф (АГ «D»). Выступая 3 января 1946 года на Главном Нюрнбергском процессе в качестве свидетеля, он показал, что за 3—4 дня до отправки на восток в Претш приехал его начальник, руководитель I отдела РСХА бригадефюрер СС Бруно Штрекенбах и, собрав начальников АГ и АК, объявил им устный приказ Гитлера общего характера об убийстве всех евреев, какие только попадутся в СССР на пути (а также некоторых других частей советского населения). Олендорф, и не он один, указывал также и на встречу 17 июня в Берлине, на которой Гейдрих дал общую установку

¹ См.: Полян. 2002. С. 59.

относительно их действий в предстоящей войне¹. Впрочем, Огоррек полагает, что такого публичного собрания могло и не быть, но что все старшие офицеры были заблаговременно поставлены в известность относительно круга своих задач иначе — во время частых поездок в Берлин, в штаб РСХА. Пусть даже и так, — но что от этого, собственно говоря, меняется?

В самые первые дни войны не только евреи, но и любые другие советские военнопленные, в том числе и перебежчики, формально-юридически стали жертвами не столько «Приказа о комиссарах», сколько «Инструкции о поведении войск в России». Только в области группы армий «Центр» на территории Белоруссии известны случаи расстрела рядовыми и унтер-офицерами вермахта многих сотен военнопленных, не оказывавших им при этом ни малейшего сопротивления.

Но выморочное право на бесконтрольное и бессмысленное убийство было чревато потерей боевой дисциплины, и наиболее дальновидные старшие офицеры иногда приказывали их прекратить. Так поступил, например, 25 июня 1941 года командир XLVII танкового корпуса генерал И. Лемельзен. Но при этом он оговорил, что его приказ не распространялся на две категории неприятеля — на партизан и на комиссаров². Поскольку никаких партизан 22—25 июня еще и в помине не было, то в качестве единственных «легитимных» жертв, — причем с первого же дня и первого боя, — фигурировали одни «комиссары». Последние же, напомним, пропагандистски ассоциировались и отождествлялись именно с евреями. Недаром в листовках Министерства пропаганды усиленно муссировался тезис, что в Красной Армии три политкомиссара из четырех — евреи!³

¹ См.: Ogorreck. 1996. S. 47—52.

² Gerlach. 1999. S. 774—775.

³ См., например: Шнеер, 2003. Т. 2. С. 158, со ссылкой на: YVA. M.41/1011. На самом деле доля евреев в комиссарском корпусе Красной Армии была хотя и высокой, но уступала геббельсовской «цифре» в 4—5 раз.

Так что идея официального распространения смертоносности «Приказа о комиссарах» на всех советских военнопленных еврейской национальности, как говорится, витала в воздухе. И уже в «Боевом приказе» руководителя РСХА Р. Гейдриха № 8 от 17 июля 1941 года невнятности или двусмысленности не оставалось места, здесь все это было прописано с подobaющей четкостью.

Так что — начиная, по меньшей мере, с 17 июля, — все пленные еврей-красноармейцы — неважно, комиссары они или нет — однозначно подлежали **ликвидации на месте**. И если, согласно приказу о комиссарах, АГ и АК также участвовали в процессе расправы над комиссарами, но только в тылу сухопутных войск (а стало быть, все-таки не сразу, а спустя определенное время после начала войны), то вермахт как таковой форсировал этот Рубикон, уже будучи запрограммированным на искоренение комиссаров-евреев и с индальгенцией за это убийство в кармане — в виде приказа «Барбаросса».

Из описанной административно-временной раскладки вытекают два принципиальных вывода.

Первыми по времени палачами военнослужащих-евреев в геноцидальной германо-советской войне стали военнослужащие вермахта.

Их первыми де-факто еврейскими жертвами в этой войне стали советские военнопленные-евреи, а их первыми жертвами де-юре — еврей-политработники.

До недавнего времени считалось, что ликвидация зазора между этим «де-юре» и «де-факто» состоялась только с отдачей Гейдрихом своего «Боевого приказа № 8» от 17 июля 1941 года. Этот приказ распространил смертельную опасность вообще на всех вызывающих подозрение лиц — как военнопленных, так и гражданских. При этом особенно важно, что именно в этом приказе евреи (любые евреи!) впервые названы по имени «как целевая группа», предназначенная для ликвидации.

Может показаться, что приказ Гейдриха целил прежде всего в гражданских лиц, но это не так: как бы во избежание этого впечатления одновременно с ним было издано три приложения¹.

Первое из них — это «Инструкция по фильтрации гражданских лиц и подозрительных военнопленных, захваченных в войне на Востоке, в лагерях для военнопленных на оккупированной территории, в зоне военных действий, в Генерал-губернаторстве и в лагерях на территории Рейха». Всех собранных в «русских лагерях» надлежало рассортировать на пять групп и, соответственно, лагерных зон: 1) гражданские лица; 2) военнопленные (включая и тех, что переделались в гражданскую одежду; по-европейски выглядящих пленных надлежало отделять от выглядящих по-азиатски); 3) политически неприемлемые лица из первых двух групп; 4) лица из первых двух, представляющиеся заслуживающими внимания и пригодные для использования при возрождении занятых территорий; 5) лица немецкой национальности из состава первых двух групп.

Кто же относился к «политически неприемлемым» из третьей группы? На кого охотились спецы из СД и завербованные ими стукачи из четвертой группы?

Ответ на эти вопросы содержит «Инструкция для команд, направляемых начальником зипо и СД в шталаги», она же приложение 2 к «Боевому приказу № 8»: *«Прежде всего выявлению подлежат: все сколь-либо значительные деятели партии и государства, в особенности профессиональные революционеры; деятели Коминтерна; сотрудники центральных, краевых и областных организаций коммунистической партии; все народные комиссары и их заместители; все бывшие политкомиссары Красной Армии; руководители госучреждений верхнего и среднего звена; руководящие работники народного хозяйства; советско-русские интеллигенты; все евреи (выделено нами. — П.П.); все подстрекательски или фанатично настроенные коммунисты»*².

¹ См. русский перевод в: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 357. Л. 1—12.

² См. в: Jacobsen, 1967. S. 203. См. также рус. перевод: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 357. Л. 8—11.

Итак, предпоследней категорией среди них значатся — «все евреи»! Но не менее выразительной является и следующая цитата из инструкции: «*В конечном счете при принятии решений необходимо учитывать национальную принадлежность*».

Эта инструкция была согласована РСХА и ОКВ буквально накануне, 16 июля 1941 года. Интересно, что среди материалов, подготовленных американской стороной к Нюрнбергскому процессу, но не опубликованных в его материалах, имеется и проект этой инструкции, датированный еще 28 июня 1941 года (т.е. за три недели до выхода «Боевого приказа № 8»)¹. Существенными отличиями окончательной редакции от проекта являются разве что отсутствие в проекте указания на параллельную позитивную задачу по выявлению среди военнопленных еще и тех, кого можно было бы привлечь к решению административно-хозяйственных задач на оккупированных территориях СССР, а также части требований по характеру письменной отчетности².

Третьим приложением был список из 14 офлагов и штаблагов на территории I Военного округа (Восточная Пруссия) и Генерал-губернаторства. Относительно дулагов в оперативной зоне отмечалась подвижность их местоположения и рекомендовалось справляться о них в службе генерал-квартирмейстера³.

Действенность самого «Боевого приказ № 8» первоначально была ограничена территорией оперативной зоны ОКХ, I Военного округа и Генерал-губернаторства. «Боевой приказ № 9» от 21 июля 1941 года распространил его поло-

¹ IfZ. Dok. PS—078. Bl.1—3.

² Интересно, что вместе с проектом инструкции — и под тем же номером — хранится «Дополнение» к ней, содержащее ссылку на окончательную редакцию инструкции и подчеркивающее особую важность задачи по выявлению среди военнопленных лиц, вызывающих доверие и могущих быть в интересах Рейха так или иначе использованными (IfZ. Dok. PS—078. Bl.4—6).

³ См. рус. перевод: ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 116. Д. 357. Л. 12.

жения на всю территорию самого Рейха¹. Применительно к военнопленным и с учетом расплывчатости или недостижимости остальных категорий, приказы № 8 и № 9 являлись, по существу, окончательными смертными приговорами всему политсоставу Красной Армии² и всем военнослужащим-евреям, независимо от должности и военной специальности³.

Впоследствии слово «евреи» практически исчезло из лексикона нормативных актов о советских военнопленных⁴. Его трагическими эвфемизмами стали словечки «селекция» (*Aussonderung*) или «особое обхождение» (*Sonderbehandlung*) — синонимы «казни» (*Exekution, Liquidierung*).

В соответствии с приказами, политруков и евреев уничтожали непосредственно на поле боя, причем независимо от военного звания: никакой регистрации при этом, естественно, не было. Но нередко смерть откладывалась и ожидала их несколько позже — после соблюдения ряда процедур, как то: систематическая проверка (*Überprüfung*) и даже дополнительное установление факта еврейства. В таких случаях отобранных евреев, как правило, изолировали в специально отгороженных отсеках лагерей, бараках или палатках.

Сведениями о какой бы то ни было именной регистрации военнопленных-евреев, ожидавших своей участи в дугагах, мы не располагаем, но в шталагах такая регистрация производилась (не говоря уже о случаях «разоблаченных» евреев). Судьба «отобранных» тем самым была уже предре-

¹ См. в: Jacobsen, 1965. S. 205—207.

² Впрочем, у политруков из неевреев, в отличие от евреев, еще оставался «шанс» уцелеть: спасительной могла бы стать (а могла и не стать) их готовность к «сотрудничеству» с оккупантами и степень заинтересованности в этом последних.

³ Незначительное и, как правило, временно исключение могли составлять военнопленные евреи-врачи.

⁴ Последний раз оно легло на бумагу, подписанную Кейтелем 12.9.1941, — но это были гражданские евреи из новозанятых советских областей, иметь с которыми дело военнослужащим вермахта строжайше не рекомендовалось (Jacobsen, 1967. S. 207. Dok. 27).

шена — смерти они были обречены. Расстрелять их могли, — в зависимости от обстоятельств, — и через день-два, и через несколько месяцев. В случае такой отсрочки военнопленных-евреев, как правило, помечали: на гимнастерку или на шинель нашивались желтые шестиконечные звезды. Нередко их маркировали и по-другому, например, «звездами Давида», намаляванным масляными красками на гимнастерках (см. фото) или белыми четырехугольными лоскутами¹. Сама казнь происходила в таком случае несколько позже — в сборных или даже в стационарных лагерях (а если на территории Германии — то в концлагерях).

Теме обхождения с военнопленными-евреями было посвящено даже специальное заседание в июле² у начальника Управления ОКВ по делам военнопленных генерала Г. Рейнекке с участием начальника IV Управления РСХА (гестапо) обергруппенфюрера Мюллера, начальника управления лагерей для военнопленных ОКВ полковника Ганса-Йоахима Брейера (Breyer) и представителя абвера полковника Эриха Лахузена (Lahousen). От имени своего ведомства и своего шефа, адмирала Вильгельма Франца Канариса, Лахузен выразил несогласие с деморализующей практикой расстрела военнопленных на глазах у немецких войск; к тому же это было чревато лишними потерями немецких солдат, ибо отбивало у красноармейцев охоту сдаваться в плен; да и вербовка агентов в среде военнопленных была этим сильно затруднена. Рейнекке и Мюллер резко возражали Лахузену, но прилюдные казни распорядились прекратить³. Но, разумеется, не сами казни!

¹ Такие лоскуты практиковались в Кальварии (Шейнман, 1993. С. 468).

² Согласно показаниям Эрвина Лахузена, данным им в 1947 г., это совещание состоялось в конце лета (Hilberg, 1999. S. 354—356. Со ссылкой на документ NO-2894).

³ Было, в частности, постановлено производить казни на расстоянии не менее 500 м от лагерей. См. допрос свидетеля Э. Лахузена 30.11.1945 на Нюрнбергском процессе в: Нюрнбергский процесс. 1990. С. 170—180. Позиция Брейера из этого допроса не прочитывается, но из других материалов можно скорее предположить его солидарность с позицией абвера.

Несколько других попыток высокопоставленных военных отменить «Приказ о комиссарах» в 1941 году также не возымели эффекта¹. Фактически он был все же отменен, но только в мае или июне 1942 года, и только частично: разоблаченная принадлежность к политкадрам Красной Армии как таковая более не каралась смертью, а вот разоблаченное еврейство, как и прежде, — каралось².

Тем самым была еще раз подчеркнута доминанта неприемлемости расового врага даже над таким фундаментальным признаком, как неприемлемость врага политического.

ПАЛАЧИ

В боевой обстановке и непосредственно в момент пленения решения о расстреле на месте могли приниматься на самом низком уровне — для этого было достаточно офицерского приказа, причем без какого бы то ни было утруждения военно-судебных структур вермахта³.

Сама же установка в общих чертах была прописана в специальной «Инструкции для особых областей» от 13 марта 1941 года, являвшейся органической частью «Плана Барбаросса», а также в специальном соглашении между ОКХ,

¹ См., например: Antrag des OKH an das OKW v. 23.09.1941 auf Überprüfung der Notwendigkeit des Komissarbefehls, mit Ablehnung (Факсимиле: Streim, 1982. P. 226—228, Dok.II.2).

² В соответствующем циркуляре от 2.6.1942 Начальник РСХА и СД приказывал в дальнейшем проводить селекцию на территории Генерал-губернаторства, отказавшись при этом от практики селекции политкомиссаров и политруков: «В остальном все остается по-старому (евреи, преступники и т.д.)» (Jacobsen, 1967. S. 229. Dok. 40). Интересно, что вскоре в СССР был ликвидирован и сам институт военных комиссаров — 9.10.1942 их упразднили в Красной Армии, а 13.10.1942 — на Военно-Морском флоте (см.: Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 38).

³ Процесс подготовки и осуществления такой «военно-судебной» реформы подробно раскрыт в исследованиях А. Штрайма и Р. Отто (Streim, 1981; Otto, 1998).

СС и РСХА¹ от 28 апреля 1941 года, регулировавшем взаимоотношения и взаимодействие сухопутных войск и войск СС².

В соответствии с этими директивами в мае 1941 года в трех тишайших саксонских городках на Эльбе (Претш, Дюбен и Бад-Шмидеберг) были созданы, быть может, одни из самых страшных войсковых соединений в мировой военной истории — «айнзатцгруппы» (АГ), или оперативные соединения, предназначенные для обеспечения активной карательной политики Третьего рейха в войне с СССР (своего рода «эскадроны смерти»). Каждая АГ состояла из «зондеркоманд» (ЗК) и «айнзатцкоманд» (АК): первые действовали в ближайшем тылу отдельных армий, а вторые — в более глубоком тылу сухопутных войск³. В задачи ЗК входило участие в налаживании военной администрации, устройство гетто и «гражданских лагерей», охота за функционерами, архивами и т.п. Как таковая задача физической расправы над попавшими в их руки евреями фактически не была для них первостепенной, и часто палачами подготовленных ими жертв были не сами ЗК, а подросшие АК. Но иногда, как в случае расстрела евреев Кретинги 24 июня, именно они брались за эту «задачу», притом с подобающим энтузиазмом.

Задача эта была четко увязана со стратегическим построением сил вермахта. Так, группам армий «Север», «Центр» и «Юг» соответствовали оперативные группы «А», «С» (начиная с 11 июля переименованная в «В») и «В» (тогда же переименованная в «С»), а оперативному району 11-й Армии, охватывавшему юг Украины и Северный Кавказ, была придана оперативная группа «D». Численный состав отдельных АГ составлял от 500 до 800 чел., причем их штаты этих

¹ РСХА состояло из тайной полиции (гестапо), уголовной полиции (крипо), полиции безопасности (зипо) и СД. В геноциде евреев активнейшее участие приняли также основные и резервные батальоны полиции правопорядка (Ordnungspolizei).

² См.: Streit, 1991. S. 32; Streim, 1981. S. 72—73.

³ См.: Klein, 1996. S. 19.

формировались из сотрудников РСХА (крипо и зипо) и СД, а также из нескольких приданных каждой из них резервных батальонов полиции и батальонов СС.

14 июня 1941 года генерал-квартирмейстер Вагнер определил Данциг, Позен и Катовице в качестве исходных рубежей АГ, куда они должны были прибыть не позднее 25 июня. К этому времени начальники тыловых зон сухопутных войск должны были бы сообщить им время и место их передислокации на территорию СССР¹. В действительности все произошло несколько иначе: так, АГ «А» прибыла 23 июня «всего лишь» в Варшаву и уже оттуда рассыпалась по различным направлениям. В войска большинство АК прибыли самое раннее в последние дни июня, и хотя и приступили сразу же к исполнению своих палаческих «прямых обязанностей», но расстреливать систематически и массово начали только в июле-августе².

Именно им, этим «эскадронам смерти», предстояло героически бороться в тылу вермахта с тысячами и миллионами еврейских женщин, стариков и детей. Впрочем, не им одним: усилия этих нескольких тысяч убийц-профессионалов не были бы столь эффективны, когда бы не опора на местных палачей-«любителей» из антисемитов — доносчиков и лагерных полицаяв.

На своих штандартах айнзатцкоммандо вполне могли бы начертать и следующий шедевр геббельсовской пропаганды: *«Бей жида-политрука, морда просит кирпич!»*.

Но на практике все же потребовалась интерпретация этого двустишия, причем конкретизации подлежали оба элемента его изысканной рифмы. Во-первых, кто такой «жид-политрук»? Иными словами, какие категории лиц среди военнопленных следовало бы в процессе чисток выявлять? А во-вторых, — «кирпич»: что же именно с «жидами» делать?

¹ Ogorreck, 1996. S. 46, со ссылками на: ВА-МА, RH 2/2082, Bl.130—139.

² Hilberg, 1999. S. 307.

Впрочем, геноцидальное начало политики вермахта по отношению к советским военнопленным не ограничивалось отношением к евреям-военнопленным, а шло значительно дальше — на первом этапе боевых действий имея негласной целью косвенное уничтожение как можно большего числа советских военнопленных как контингента (инструментом такого уничтожения было нарочито пассивное отношение к причинам и факторам их колоссальной смертности осенью и зимой 1941 года — голоду, холоду, эпидемиям, условиям транспортировки и содержания).

Исключение делалось для представителей расово близких или дружественных народов. Так, в самом начале войны имело место даже массовое увольнение военнопленных из плена и перевод их в гражданский статус¹.

Так, 25 июля 1941 года был издан приказ генерал-квартирмейстера вермахта Вагнера об освобождении из плена представителей ряда «дружественных» национальностей — как то немцев Поволжья, прибалтов, украинцев, а также белорусов². Согласно распоряжению ОКВ от 14 октября 1941 года, военнопленные подвергались проверке и сортировке в случае их принадлежности к фольксдойче, украинцам, белорусам, грузинам или финнам³. В официальной статистике ОКХ освобожденных из плена фигурировали литовцы, латыши, эстонцы, украинцы, румыны, финны, фольксдойче, белорусы, «кавказцы» и «туркестанцы»⁴.

В середине ноября 1941 года имела хождение немецкая листовка, на одной стороне которой были изображены во-

¹ См.: Полян, 2003. С. 97—98.

² Гриф секретности снят... 1993. С. 334, со ссылкой на: ВА, RH-23/5—155, RH-53—23/65, R-41/168, H-3/729. Впрочем, известен случай перевода военнопленного литовской национальности в статус гражданского иностранного рабочего (ГАРФ. Ф. 7021. Оп. 115. Д. 28. Л. 65а).

³ Polizeiverordnung über die Kenntlichmachung der im Reich befindlichen Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen vom 19.6.1944. (См.: Gatterbauer R.H. Arbeitseinsatz und Behandlung der Kriegsgefangenen in der Ostmark während des Zweiten Weltkrieges (Dissertation). Salzburg, 1975. S. 174, со ссылкой на: Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes in Wien, Akt Nr.8394).

⁴ См.: ВА-МА, RH 3/v. 180.

еннопленные, радующиеся своему освобождению из плена, и следующий текст: «Вот это правда! Военнопленные уже освобождаются и идут по домам. Чего ж долго думать? Перебегайте к нам! Вы тоже скоро будете дома!», а на другой — образец выдававшегося дулагом «Удостоверения об освобождении» (Entlassungsausweis). В «Удостоверении», которое полагалось постоянно носить при себе и предъявлять по первому требованию любого военнослужащего вермахта, были сформулированы условия, на которых военнопленный отпускаясь из плена: никаких враждебных действий против немецкого народа (читай: вермахта), его союзников и дружественных народов; до дома добираться — кратчайшим путем и в течение 8 дней зарегистрироваться в ближайшей немецкой комендатуре; смену местожительства осуществлять только с разрешения немецких властей; в случае, если освобождение из плена состоялось как раз по местожительству военнопленного, то при регистрации надлежит сдать всю имеющуюся красноармейскую экипировку¹. Часть из них, похоже, позднее были завербованы на работы в Рейх как гражданские лица: тех же, кто «не оправдал доверия» и бежал с места работ или уходил к партизанам, жестоко наказывали².

Действие приказа от 25 июля было приостановлено 13 ноября 1941 года³, — по крайней мере, применительно к украинцам и белорусам⁴. Тем не менее, освобождение из плена — и по

¹ Kirschner K. (Hg.). Flugblatt-Propaganda im 2. Weltkrieg. Flugblätter aus Deutschland 1941. Erlangen, 1987. Bd. 10. S. 160.

² См. запрос отдела труда гебитскомиссариата Белоруссии бургомистру Койдановского района о двух бежавших из лагеря освобожденных военнопленных от 8.10.1942 (Белорусские остарбайтеры. Угон населения Белоруссии на принудительные работы в Германию (1941—1944): Документы и материалы. — В 2-х кн. — Кн. I (1941—1942). / Сост. Г.Д. Княтько, В.И. Адамушко и др. — Минск: НАРБ, 1996. С. 199, со ссылкой на: НАРБ. Ф. 393. Оп. 3. Д. 43. Л. 25).

³ То есть практически одновременно с распространением указанной листовки!

⁴ Pfahmann H. Fremdarbeiter und Kriegsgefangen in der Deutschen Kriegswirtschaft 1939—1945. // Beiträge zur Wehrforschung. Darmstadt: Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft GMBH, [1968]. Bd. XVI—XVII. S. 58.

несколько тысяч человек в месяц — продолжалось и в 1942 году, и его действием суммарно было затронуто 318,8 тыс. чел.¹.

Нередко привилегия быть освобожденным из плена оплачивалась ценой предательства и выдачи немцам евреев и комиссаров². Кстати, среди сумевших примазаться к привилегированным национальностям и получить таким образом освобождение были, разумеется, и... евреи. Так, Абрам Резниченко (он же Аркадий Резенко) из Хорольского лагеря, узнав, что из села Лохвицы в лагерь приехал староста забирать «своих», — рискнул и выдал себя за «лохвицко-го»: «*Мне повезло: староста “узнал” меня, своего “земляка”...*»³.

В контексте полиэтничности СССР и как бы на полях затронутой проблемы советских военнопленных-евреев следует сделать одну важную оговорку. Нередко за евреев по ошибке признавали, — а стало быть, и расстреливали — представителей и других народов, — особенно часто татар (в том числе крымских татар⁴), горцев из Северного Кавказа⁵, армян⁶ и грузин. О расстреле лейтенанта Хонелидзе, черноволосого и длинноносого грузина, принятого за еврея, писал Илье Эренбургу Семен Гриншпун⁷. И даже сына Сталина Якова Джугашвили приняли по-

¹ См.: Гриф секретности снят, 1993. С. 334, со ссылкой на: ВА, РН-23/5—155, РН-53—23/65, R-41/168, Н-3/729. По состоянию на 1.4.1942, их число составляло 292.702 чел., в подавляющем большинстве украинцы (ВА-МА, РН 3/v. 180, В1.27).

² Применительно к Житомирскому лагерю и со ссылкой на Л.Б. Берлина такой случай, датированный сентябрем 1941, описывает М. Шейнман (1993. С. 467).

³ Резниченко, 1993. С. 393.

⁴ Об этом зашла речь и на допросе Э. Лахузена 30.11.1945 на Нюрнбергском процессе (см.: Нюрнбергский процесс. 1990. С. 178.)

⁵ См.: Малофеев, 2010. С. 239.

⁶ Попутно замечу, что в нацистской среде было распространено мнение, культивируемое грузинскими шовинистами и разделяемое некоторыми немецкими «экспертами» в Берлине, что армяне, подобно евреям, были левантскими торговцами и к тому же, в отличие от грузин, не являлись арийцами. С «научной» точки зрения эта проблема так и осталась без разрешения, а вот с практической ответом явилось то, что обхождение с армянскими военнопленными и беженцами было существенно хуже, чем, например, с грузинскими (см. Dallin, 1958. S. 241).

⁷ Гриншпун, 1993. С. 128—130.

началу за еврея и при пленении едва не расстреляли. Иногда расстреливали и русских, не обязательно тоже чернявых, а просто — с «заметной внешностью»¹.

В группу риска входили и военнопленные красноармейцы из немцев Поволжья: их нередко подвергали особенно тщательным личной проверке и медосмотру, поскольку их фамилии были слишком похожи на еврейские, и немцы опасались, что перед ними не «фольксдойче», а выдающие себя за них евреи².

Зато те из «фольксдойче», кто прошел эту проверку, имели неплохие шансы на то, чтобы не просто покинуть дулаг или шталаг, а еще и преобразиться, а точнее сказать, обернуться — из жертвы в палача. Их, в частности, заставляли подписывать следующее: *«Я, (фамилия, имя и отчество) являюсь немцем, обязываюсь выявлять среди русских военнопленных коммунистов, командиров и комиссаров Красной Армии, а также лиц, занимающихся антифашистской агитацией и имеющих намерение бежать»*³. Многие гражданские фольксдойче, равно как украинцы, прибалты и русские, лично участвовали в идентификации и расстрелах гражданского еврейского населения⁴.

В то же время известны и случаи фактического саботажа офицерами вермахта и «Приказа о комиссарах», и Боевых приказов Гейдриха № 8 и 9. Так, начальник АК-8 О. Брандфиш жаловался своему начальнику по оперативной зоне Центр

¹ Выражение Б.Н. Соколова. Об эмоциях русских людей, заподозренных или могущих быть заподозренными в еврействе или в укрывательстве евреев см. ниже.

² См.: Шульга, 1998. С. 325, со ссылками на: Центр документации новейшей истории Саратовской области. Ф. 6210 (Фильтрационный фонд). Оп. 1. Д. оф.18167. Л. 4—5.

³ См.: Шульга, 1998. С. 331, со ссылкой на: Центр документации новейшей истории Саратовской области. Ф. 6210. Оп. 1. Д. оф.10302. Л. 4, 9.

⁴ См., в частности, воспоминания А. Резниченко (1993). Впрочем, вопрос об участии лагерных полицаяв в расстрелах евреев-военнопленных остается недостаточно исследованным.

фон Баху на неправильные и вредоносные, на его взгляд, действия майора Витмера, коменданта дулага 185 в Могилеве, отказавшегося выявлять среди военнопленных евреев, поскольку он не получал об этом письменного приказа, и вообще полагавшего, что обойдется без советов и услуг СД¹.

СЕЛЕКЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СССР И В БЫВШЕЙ ПОЛЬШЕ

Число советских евреев в немецком плену, по оценке Ш. Краковского, составляло около 85 тыс. чел.². Практически ту же цифру — 80—85 тыс. — вслед за ним называет И. Арад³. При этом исследователи отталкивались от 1,8-процентной доли евреев в населении СССР, что если и искажает данный расчет, то в сторону завышения.

Самым высокопоставленным среди них, возможно, являлся генерал-майор интендантской службы Григорий Моисеевич Зусманович, раненый и взятый немцами в плен 24 мая 1942 года под Харьковом⁴.

Всего же, по имеющимся оценкам, гитлеровцы уничтожили от 55 тыс. (И. Арад) до 80 тыс. (А. Шнеер) советских евреев-военнопленных⁵. Вторая оценка, соответствующая

¹ ВАР. R 70. SU, 26. ВІ.1—3.

² Krakowski, 1992. P. 229 (см. также: Encyclopedia of Holocaust. Tel Aviv, 1990. P. 1181).

³ Arad, Yizhak. Soviet Jews in the War against Nazi Germany // Yad Vashem Studies. Vol. XXIII. Jerusalem, 1993. P. 125.

⁴ Г.М. Зусманович (1899—1944) был заместителем командующего 6-й Армии по тылу (командарм — генерал-лейтенант И.Н. Музыченко). Как и многие другие, Зусманович скрывал свою национальность, выдавая себя за украинца и говоря с немцами только по-украински. Был в лагерях в Хелме, Нюрнберге, с 1943 — в Вайсенбурге, где осенью 1944 умер (Свердлов, 2002. С. 342—344).

⁵ Альтман, 2002. С. 31. Первая оценка принадлежит А. Араду (Арад, 1990. С. 30), а вторая А. Шнееру (Шнеер, 2003. Т. 2. С. 91). К сожалению, методика их получения в публикациях не раскрыта.

94-процентной смертности евреев в немецком плену, представляется нам более реалистичной. Во-первых, в пользу оценки А. Шнеера четко свидетельствует количество евреев-военнопленных среди репатриированных в СССР (около 5 тыс. чел.). Во-вторых, оценка А. Арада приводит нас к общей смертности «всего лишь» в 65 %, что сравнительно ненамного выше общей смертности среди советских военнопленных в целом, составившей, по оценке К. Штрайта, около 57 %. В последнее время А. Арад пересмотрел свою оценку и поднял ее до 70 тыс. чел¹.

Если же придерживаться оценки А. Шнеера и если вспомнить, что во время войны погибло порядка 200 тыс. евреев-красноармейцев, то доля погибших в плену среди них составила 40 %.

В литературе встречаются и некоторые частичные оценки смертности среди военнопленных-евреев. Так, по состоянию на 21 декабря 1941 года, согласно отчету шефа гестапо Мюллера, было выявлено около 22 тыс. неблагонадежных советских военнопленных, из них 16 тыс. уничтожено: «квота» евреев среди уничтоженных была, предположительно, не ниже 90 %, так что порядка 14—15 тыс. еврейских военнопленных было ликвидировано только за это время и, судя по полномочиям Мюллера, только в зоне ответственности ОКВ². К середине 1942 года число неблагонадежных советских военнопленных, выявленных на той же территории и переданных СС, достигло, по оценке Р. Отто, не менее 40 тыс. чел.³ Квота евреев среди них не могла не понизиться (среди выявленных было немало саботажников, беглецов и т.д.), да и среди отправленных в концлагеря погибали, разумеется, не

¹ Устное сообщение в ноябре 2004 в Иерусалиме.

² Hilberg, 1999. S. 357.

³ Otto, Reinhardt. Sowjetische Kriegsgefangene. Neue Quellen und Erkenntnisse. // «Wir sind die Herren dieses Landes». Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion / Quinkert, Babette (Hrsg). Hamburg: VSA-Verlag, 2002. S. 133.

все, — тем не менее, суммарная оценка числа евреев среди них по меньшей мере в 25 тыс. чел. представлялась бы вполне реалистичной. В таком случае на зону ответственности ОКХ приходится около 55 тыс. убитых советских евреев-военнопленных.

Их селекции и расстрелы начались, как мы уже отмечали, буквально на следующий день после нападения на СССР. Свидетельства при этом оставили как немецкие палачи, так и нееврейские очевидцы, а также сами, чудом уцелевшие, жертвы. Но самый охват свидетельствами реального пространства геноцида евреев-военнопленных выборочен и случаен. К тому же следует помнить, что в каждом отдельном случае количественные параметры могут рассматриваться скорее как преувеличенные, чем как адекватные, поскольку базируются, как правило, не на подсчетах, а на эмоциональных и, следовательно, преувеличивающих впечатлениях или прикидках. Если же просуммировать фигурирующие в них цифры жертв, то мы получим цифру чуть ли не в 50—55 тыс. чел., что равняется максимально возможной оценке и поэтому малореалистично.

Тем не менее, приведем все собранные нами свидетельства.

Сразу несколько лагерей для военнопленных находилось в районе Слуцка. Все выявленные в них евреи — оценочно 1,5—2 тыс. человек — были расстреляны в них уже в июне-июле 1941 года¹. Только в районе Бреста (в лагере на левом берегу Буга) в июле было расстреляно около 2 тыс. чел.². Девять евреев-военнопленных были расстреляны в середине августа в лагере в Бердичеве³.

¹ Свердлов, 1996. С. 20, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 28-й Армии. Оп. 8423. Д. 84. Л. 141.

² Свердлов, 1996. С. 12, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 65-й Армии. Оп. 10510. Д. 113. Л. 22.

³ Об этом сообщалось в ежедневном бюллетене РСХА «Отчет о событиях в СССР» (Ereignismeldung UdSSR. Nr. 58. 20.08.1941).

Летом 1941 года в 1600-метровом противотанковом рву недалеко от д.Тонкеля было расстреляно не менее 5 тыс. советских военнопленных-евреев из шталага 316 в Сухожебрах, что в 10 км от г. Седлец. Расстрелы производились, согласно свидетельским показаниям, тотчас же после селекции (выявления) отдельных евреев из общей массы военнопленных. Их привозили сюда на грузовиках (по 50—60 чел. на каждом), выгружали в 150—200 метрах от места казни, подводили ко рву, раздевали (правда, не всегда) и расстреливали. Расстрелы в этом же месте продолжались и осенью: только за три дня с 12 по 14 ноября 1941 года, по слухам, было расстреляно около 30 тыс. евреев, включая, по-видимому, и гражданских лиц¹.

В августе 1941 года в 5 км от железнодорожной станции Августов в окрестностях г. Сувалки был оборудован лагерь уничтожения евреев: здесь было расстреляно около 8 тыс. человек — как местных евреев, так и свезенных сюда из других мест. Среди них, по свидетельствам местных жителей, было немало и евреев-военнопленных².

Что-то подобное, вероятно, наблюдалось и среди самих шталагов. Некоторые из них, по-видимому, занимались уничтожением не только «своих» военнопленных-евреев, но и обслуживали в этом отношении другие лагеря. На эту мысль наводит датированное 19 октября 1941 года свидетельство немецкого солдата о ежедневных расстрелах от 300 до 400 таких военнопленных в шталаге 319 Хелм и отделении этого шталага во Влодаве³. По сообщению Э.Н. Сосина, евреев-

¹ Свердлов, 1996. С. 12—16, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 65-й Армии. Оп. 10510. Д. 113. Л. 13, 16, 20, 26, 34—35.

² Свердлов, 1996. С. 8—9 и 33, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й Армии. Оп. 9783. Д. 183. Л. 36; Ф. 31-й Армии. Оп. 8599. Д. 218. Л. 60—61.

³ Ploski, 1946. P. 266. Ответственным за их выявление был лейтенант Фридрих Хоффман из абвера, а за их уничтожение — унтерштурмфюрер СС Адальберт Бенда (Adalbert Benda), возглавлявший специальное подразделение (так называемая «команда Бенда»). Ш. Краковский указывает на материалы процесса над военнослужащими этого лагеря (Krakowski, 1992. P. 224—225, со ссылками на: YVA, TR-10/631; Zentralstelle Ludwigsburg, VI 302, ARZ, Bd. II).

военнопленных со всего Западного фронта сгоняли в лагерь Форт VI в Ковно (Каунасе)¹. Из четырех лагерей шталага 305 — основного лагеря в Кировограде и отделений в Адабаше, Новоукраинке и Первомайске — на еврейских военнопленных «специализировалось» СД в Первомайске², но расстрелы задокументированы и в Адабаше, и в самом Кировограде (см. ниже).

В августе 1941 года под Херсоном был разбит огороженный колючей проволокой лагерь для советских военнопленных. В первые же дни его существования в нем было выявлено и поблизости расстреляно до 500 евреев (в дальнейшем, по мере довыявления, евреев расстреливали небольшими партиями или даже поодиночке)³.

Об аналогичной роли дулага Хорол (речь идет об осени 1941 года) пишет Абрам Резниченко: *«Часто в Хорольский лагерь приводили партии евреев. Их приводили под усиленным конвоем, на руках и на спинах у них были нашиты опознавательные знаки — шестиконечные звезды. Евреев гнали по всему лагерю, посылали на самые унижительные работы, а к концу дня, на глазах у всех, — уничтожали»*⁴.

Весьма внушительно и число евреев-военнопленных, расстрелянных в балке возле Кривого Рога с помощью украинской вспомогательной полиции, — около 800 человек, по состоянию на 15 октября 1941 года, когда город был объявлен «юденфрай»⁵. По дороге на казнь они были сфотографированы, и эти снимки сохранились⁶. Непосредственно в

¹ Личное сообщение, 2004. По всей видимости, имеются в виду Форт VII и/или Форт IX, где происходили массовые расстрелы также и гражданского еврейского населения.

² Verbrechen der Wehrmacht... 2002. S. 239.

³ Свердлов, 1996. С. 60, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 28-й Армии. Оп. 8523. Д. 84. Л. 44—45.

⁴ Резниченко, 1993. С. 393.

⁵ Verbrechen der Wehrmacht.. 2002. S. 154—159. Со ссылкой на: Lagerbericht der Ortskommandatur I/253(V) in Kriwoj Rog v. 15.10.1941 (ZStdIV, Dokumentation, UdSSR III, Bl.779—789).

⁶ Verbrechen der Wehrmacht.. 2002. S. 157. Со ссылкой на: Landesarchiv Schleswig-Holstein, Kiel. Abt. 352. Nr. 2477.

этой экзекуции, жертвами которой стали и около 500 евреев из числа гражданских лиц, принимал участие 1-й эскадрон 444-й конной полицейской дивизии¹.

Около 160 евреев-военнопленных было расстреляно в ноябре 1941 года близ лаготделения Адабаш, что приблизительно в 50 км от основного лагеря шталага 305 в Кировограде. Еще 350 военнопленных было расстреляно там же в другой раз. При этом расстрельная команда состояла не из членов АК или сотрудников СД, а из добровольцев из охранной роты лагеря², а также врача Кудерны (Kuderna), который самолично пристреливал тех, кто подавал признаки жизни³. Многие офицеры вермахта присутствовали при расстрелах в качестве «зрителей».

О том, что происходило в конце августа 1941 года в самом лагере в Кировограде, свидетельствует красноармеец М.Ф. Нефедов: *«В течение двух-трех дней немцы отобрали военнопленных-евреев. Многих выдали свои же товарищи. Немцы всех пленных евреев изолировали, кормили один раз через день, всячески издевались, избивали палками, камнями. Иногда отбирали группу (всего их было человек 70), гоняли ее по территории бегом до потери пленными сознания, пока те не падали на землю. Некоторых тут же пристреливали, остальных уводили обратно. Но в течение примерно недели в ходе издевательств расстреляли всех»⁴.*

¹ 20.1.1943 некоторые из палачей были захвачены в плен советскими войсками, 16.4.1943 — арестованы и 2.6.1943 преданы суду Военного трибунала своей бывшей части — 5-го Гвардейского Донского Казачьего Кавалерийского корпуса, приговорившего их, по совокупности совершенных преступлений, к расстрелу или длительным срокам в ГУЛАГ (См. сам приговор: ГАРФ. Ф. Р—7021. Оп. 149. Д. 13. Л. 1—6).

² 2-я рота 783-го батальона полиции правопорядка (Landeschutz).

³ Verbrechen der Wehrmacht... 2002. S. 245. Против капитана Гарбе (Garbe) и фельдфебеля Кемпфа (Kempf) было возбуждено дело, и в 1967 г. в Ганновере состоялся суд (Krakowski, 1992. P. 223—224, со ссылками на: YVA, TR-10/689, TR-19/1184Z).

⁴ Свердлов, 1996. С. 58, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й Армии. Оп. 9783. Д. 19. Л. 73.

То же самое, по свидетельству Л.Я.Простермана, происходило в мае 1942 года в лагере в Павлограде: «Здесь я увидел, каким издевательствам подвергались пленные евреи. Это была небольшая группа, человек 20—25. Их вели куда-то, при этом конвоиры заставляли одних везти верхом на плечах других, а потом они менялись со своими товарищами местами. Кто обессилел, не мог везти на себе человека, был расстрелян на месте. Через несколько дней эту группу расстреляли в близлежащем яру»¹.

В шталаге Борисов, что под Киевом, 14 октября 1941 года расстреляли 752 евреев-военнопленных, в том числе нескольких комиссаров и 78 раненых евреев, переданных для расстрела лагерным врачом².

Сотни тысяч советских военнопленных были согнаны в лагеря на территории Польши, — соответственно, и экзекуции евреев-военнопленных нередко происходили на польской территории. Сухожебры/Седлец, Августов/Сувалки, Хелмно уже упоминались. Так, М. Бартничак пишет, в частности, о пытках и массовых расстрелах в шталагах 324 и 333 в Коморово и Острове-Мазовецком³. О советских военнопленных-евреях в лагерях на территории Польши немало пишет и Ш. Датнер⁴. Среди миллионов евреев, умерщвленных в газовых камерах лагерей смерти, есть толика и советских военнопленных-евреев. Но если в Аушвиц, начиная с сентября 1941 года, их присылали с запада — как результат селекции на территории Рейха, и из определенных шталагов на территории Германии (да и сам Аушвиц официально находился на немецкой земле), то, например, в Собибор — с востока, в частности, из Минского трудового лагеря СС.

¹ Из письма автору от 13.6.2003.

² Krakowski, 1992. P. 227, со ссылкой на оперативный отчет № 132 АК 4а от 12.11.1941. При этом существенно указание на сравнительно небольшое — по сравнению с еврейскими жертвами — число ликвидированных за это время политработников, активных коммунистов, саботажников и т.д.

³ Bartniczak, 1978. P. 66—67, 85.

⁴ Датнер, 1964.

В партии из 600 человек, с которой 22 сентября 1943 года сюда прибыл и Александр Печерский, большинство составляли еврей-военнопленные.

То же самое происходило, кстати, не только в Польше, на Украине и в Белоруссии, но и на территории РСФСР, причем подробные и достоверные сведения о злодеяниях фашистов, благодаря зимнему контрнаступлению под Москвой 1941—1942 гг., стали достоянием военного командования уже в этот период. В политдонесениях армий содержатся сведения о расстрелах осенью 1941 года военнопленных-евреев в лагерях для военнопленных — близ г. Щекино Тульской области (около 25 чел.)¹ и в лагере близ Оленино Калининской области (около 40 чел.)². О селекциях в шталагах Рославля и Вязьмы писали В. Голубков³ и С. Анваер.

Та же практика, что и в 1941 году, продолжалась в 1942—1943 гг. Оккупировав часть Северного Кавказа, немцы и там организовали сеть лагерей для советских военнопленных. Так, сборный лагерь в станице Курской Ставропольского края располагался во дворе исполкома райсовета и был обнесен колючей проволокой, у ворот — усиленная охрана. День и ночь и в любую погоду пленных держали под открытым небом и практически не кормя. Местным же жителям запрещали даже поить пленных, хотя бы на их подходе к лагерю: любая попытка сердобольности штрафовалась побоями. Далее — цитата: *«20 августа 1942 года немецкие изверги отобрали в лагере 6 человек военнопленных, вывели их на середину двора лагеря, раздели и разули, после чего начали над ними издеваться. Сначала некоторых из них брали за уши и тянули со всей силой, заставляя их следовать за ними, затем всех их били палкой по голове и по другим частям тела,*

¹ Свердлов, 1996. С. 79, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 50-й Армии. Оп. 9783. Д. 19. Л. 38. Расстрел производился 19.10.1941, причем непосредственно в лагере, на глазах у остальных 300 военнопленных.

² Свердлов, 1996. С. 77, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 39-й Армии. Оп. 9087. Д. 138. Л. 3.

³ Голубков, 1958.

после чего замученных этих 6 человек военнопленных вывели за станцию и расстреляли»¹. Совершенно очевидно, что в данном случае описана процедура «селекции» из солдатской массы и «экзекуции» военнопленных евреев и комиссаров.

В середине января 1943 года (т.е. за несколько дней до освобождения) в лагере 205 близ с. Алексеевка была произведена «селекция», и 60 пленных-евреев были тотчас убиты, причем их не расстреляли, а подвергли пыткам (вспарывали животы, отрубали конечности, проламывали черепа) и закололи штыками. За время существования этого лагеря с сентября 1942 по январь 1943 года в этом лагере, через который прошло до 10 тыс. чел., было убито не менее 400 евреев².

Подавляющее большинство евреев, уничтоженных в левобережной части Киевской области, — 3300 из 4000 — составили военнопленные³. В 1943 году, при освобождении села Злотовка в Киевской области были обнаружены обезображенные трупы военнопленных евреев с отрезанными языками, проломанными черепами, следами ожогов и других пыток⁴.

Наглядное представление о том, как в лагерях происходила первичная селекция, дают воспоминания бывших советских военнопленных — как русских, так и евреев. О штабле 346 в Кременчуге сохранилось свидетельство бывшего рядового Николая Александровича Бондарева, попавшего в окружение, а затем в плен на Полтавщине. Поначалу лагерь представлял собой «...огороженный колючей проволокой загон на колхозном поле, где уже находилось к тому времени много пленных. Среди них находились и раненые. Зверства, избиения и надругательства начались в первые же дни: политработники в форме, евреи и похожие по внешнему виду

¹ См. акт ЧГК о злодеяниях оккупантов в Курском районе Ставропольского края от 19.7.1943 (ГАСК. Ф. Р—1368. Оп. 1. Д. 89. Л. 2—2 об.).

² Свердлов, 1996. С. 80—81, со ссылкой на: ЦАМО. Ф. 68-й Армии. Оп. 3064. Д. 105. Л. 42.

³ Альтман, 2002. С. 301.

⁴ Свердлов, 1996. С. 48, 58.

расстреливались здесь же на месте... Через некоторое время часть пленнх из этой загородки перегнали в г. Кременчуг, в лагерь (бывшие воинские склады, огороженные проволокой). Вот и зверства и издевательства здесь продолжались. Виденное и испытанное нами здесь трудно описать полностью. Например: немецкие солдаты и офицеры отбирали в первую очередь пленнх еврейской национальности и похожей внешности и с этими пленными устраивали “развлечения”. Один пленный становился на четвереньки, другой садился ему на спину, а третьему давали в руки дубину и заставляли в таком виде “бегать” по двору, подгоняя ударами дубинки. Ослабевших под хохот “зрителей” расстреливали. Придумывались и другие “развлечения”...»¹.

Удивительная судьба выпала другому русскому солдату — Петру Петровичу Астахову². Вот цитата из его воспоминаний «Зигзаги судьбы» — в ней описывается прибытие военнопленнх в конце мая 1942 года в шталаг в Первомайске Одесской области:

«Мы были первыми, кто переступил порог этого лагеря. Территория его была в квадрате сто на сто, обнесена колючей проволокой с вышками и прожекторами по углам. С левой стороны от входа крытое, похожее на склад помещение, высотой в два этажа. Несколько ворот были открыты днем и закрывались на ночь...

¹ Из письма автору.

² Он родился в Иране, его детство прошло в Баку. В мае 1942 он попал в плен под Харьковом, прошел через различные дулаги и шталаги на Украине, в Польше и в Германии, пока не попадал в июне 1943 в Райхенау. Отсюда он бежал в Швейцарию, где до конца войны содержался в лагере для интернированных. После войны работал переводчиком при советской репатриационной миссии в Швейцарии и Лихтенштейне. В конце 1945 он вернулся в СССР, а через год, в декабре 1946, был арестован СМЕРШ и осужден особым совещанием по статье 58.1 к 5 годам исправительно-трудовых лагерей, а после повторного осуждения — еще к 15 годам! В 1955 освобожден и был сослан в Караганду на поселение. Ныне проживает в Переславле-Залесском (см.: Общество «Мемориал», Москва. База данных репрессированных. № 71478). Астахов, 2005).

Для ежедневных проверок утром и вечером во дворе в центре, отвели громадную площадь, где одновременно могли быть построены все пленные лагеря — 500—600 человек. После утренней проверки пленных отправляли на работу, после вечерней — запирали в барак.

В первый день всех военнопленных выстроили во дворе, пришло лагерное начальство, устроили «смотрины» прибывшим. Начальник лагеря в новой «с иголки» форме был похож, как мне тогда показалось, на генерала. Шел в сопровождении переводчика и солдат охраны. На плохом русском языке переводчик от имени коменданта лагеря обратился к построенным пленным.

Он ознакомил с внутренним распорядком лагеря, сказал, что с завтрашнего дня все прибывшие пленные пойдут на работу. Предупредил всех, чтобы каждый знал свою команду и чтобы потом выходили на работу только с теми, куда их определили в первый день.

Утром и вечером пленные будут получать паек, они должны соблюдать дисциплину и порядок. За нарушение будут наказываться карцером и лишением хлеба. Пленные, намеревающиеся бежать, будут расстреляны.

Было похоже, что комендант ознакомил присутствующих со всеми строгостями режима, но команда «разойдись» не была подана, и строй продолжал стоять.

Наконец фельдфебель вновь обратился к пленным:

— Выйти из строя всем коммунистам, офицерам и евреям! — четко звучал его голос перед затихшим строем пленных.

— *“Komunisten, Ofizieren und Juden”* — несколько раз повторил фельдфебель и, видя, что строй стоит и не реагирует на его команду, обратился уже к переводчику, чтобы тот перевел следующие его слова:

“Es wird schlimmer... Mussen Sie sich selbst anmelden lassen”.

(Хуже будет... Вы сами должны об этом заявить!)

После некоторых колебаний из строя вышло несколько человек и остановились, ожидая команды.

Через минуту они направились в сторону сарая, где их ожидали немецкие солдаты. Там встали, положили пожитки на землю, снимали верхнюю одежду и в нательном белье вошли в сарай.

Их было четверо-пятеро — не запомнил. Через несколько дней там оказалось еще несколько человек. Были среди них командиры, переодетые в солдатское, и евреи, узнать которых не составляло труда.

Не знаю, что заставило этих людей добровольно сдать себя в руки лагерных властей? Может быть, надежда на то, что “добровольное признание смягчит наказание”? Но этого не случилось, расстреляли всех.

Казавшийся неминуемым расстрел на передовой совершился здесь, в лагере, на глазах сотен пленных, не веривших тому, что происходит. Это была та самая правда о расправах над коммунистами, евреями и комсоставом Красной Армии, которую передавали сводки Информбюро.

Голодных и обессиленных, их вывели из сарая, поставили деревянные козлы, перевитые колючей проволокой и заставили перепрыгивать через них. Потом, пробежав мимо кухни и обогнув ее, они бежали дальше к открытым воротам, выходящим за зону, к вырытой яме. Там у ямы, их ожидал избавляющий от мук и позора выстрел в затылок...

Вся эта операция-трагедия завершилась удивительно четко и спокойно, по заранее продуманному плану, без криков о пощаде и помощи. Она закончилась братской могилой — ее тут же забросали землей пленные»¹.

Вот еще несколько свидетельств из той же, так сказать, славянской перспективы.

Политрук-зенитчик Геннадий Бедняев был взят в плен 18 мая 1942 года близ Керчи. Он вспоминает: «...нас согнали в колонну длиной в несколько километров и по майской жаре,

¹ Астахов, 2005. С. 73—75.

истекающих потом, погнали в сторону Феодосии. Я шел крайним слева <...> Левее и чуть впереди шел фашист с автоматом наперевес. Он внимательно взглядывался в бредущих, периодически упирался стволом автомата в плечо того, кто казался ему евреем, а на самом деле, может, и не был, и выкрикивал: “Иуда, век!”, что означало: “Еврей, выходи!”. Звучала короткая очередь... Мы содрогались и шли дальше»¹.

Павел Андреев, взятый в плен в августе 1941 года под Лугой, вспоминает о большом лагере, куда их пригнали из пересыльного: *«Нас построили в шеренгу и стали пересчитывать. Из караульного помещения вышел офицер. На нем была красивая, черного цвета форма с красно-белой повязкой на рукаве и фашистской свастикой. В руках то ли трость, то ли плеть, я так и не понял. Действовал он ею, как учитель указкой. Переводчик сказал, чтобы все находящиеся в строю командиры и комиссары вышли на 5 шагов вперед. Фашистский офицер говорил резко и угрожающе. В таком же тоне переводил переводчик: “Командиры и комиссары, не вышедшие из строя, будут расстреляны на месте”. Вышедшим из строя приказали построиться в шеренгу около караульного помещения. Снять шинели и вещевые мешки. Офицер начал осматривать рукава гимнастеров, отыскивая политруков по нашитым на них звездочкам. У некоторых от звездочек остались лишь еле заметные следы. Попадая в плен, эти люди точно знали, что их ждет, поэтому пытались замаскироваться под рядовых бойцов. Но фашисты хорошо знали об этих уловках, поэтому осматривали подозреваемых пленных особенно тщательно.*

¹ Бедняев Г. Операция «Осколок». Нижний Новгород, Бедняев, 1999. С. 13. Самого Бедняева как политработника не разоблачили лишь потому, что из-за плохой интендантской службы у него не было ни алых металлических звездочек на пилотке, ни матерчатых звезд на левом рукаве гимнастерки. А по четыре треугольника в каждой петлице носили, кроме замполитов, еще и старшины.

<...>

Затем начался поиск евреев. Зная, что добровольно никто не сознается в своей принадлежности к этой национальности, эсэсовец проходил вдоль шеренги и направлял трость на того или иного человека, выкрикивая: “Юда”. Заподозренных оказалось человек восемь. Не все среди них, конечно, были евреями, но фашистов это не волновало»¹.

Рядовой-радист Иван Терентьев, взятый в плен в августе 1941 года, вспоминал о своей первой ночи в Гомельском дулаге: «Зашла туча, и пошел дождь. Нам, русским, было разрешено зайти в конюшни, а евреев поставили около заборов конюшни так, чтобы вода с крыши текла прямо на них. И так я первый раз увидел, на какие варварства способны немецкие фашисты»².

Бесстрашный, в сущности, морской артиллерист Александр Сергеевич Малофеев в плену оказался в шталаге Саласпилс, вспоминал — не без ужаса и за собственную жизнь: «Из лагеря забирали политработников и евреев и уводили. Проходя по территории лагеря, немцы останавливали похожих на евреев, заставляли раздеваться и “определив”, что это еврей, здесь же стреляли. Много таким образом было убито мусульман с Кавказа. Из моряков увели ст. лейтенанта Пожарского и сержанта Молочевского, и они больше к нам не вернулись. В лагере немцы охотились за отдельными евреями. Так было с Мишей Васильевым — военфельдшером с зенитной батареи, которого остановил немец после раздачи пицци, направил на него автомат и приказал снять штаны. Я в это время возвращался со своим супом в барак. Миша позвал меня. Я со страхом подошел. Немец начал меня спрашивать: “Это иуда?”. — “Что Вы, герр солдат, разве еврей сможет служить во флоте? Они любят более легкую работу. Это флотский доктор”, — сказал я солдату, а сам оробел: а вдруг Миша снимет штаны, солдат узнает, что

¹ Андреев П. Война глазами солдата. Шарья. Андреев, 2002. С. 25—26.

² Терентьев И. Воспоминания (В архиве автора).

он еврей и заодно и меня пустит на тот свет? Но солдат, к моему удивлению, внял моим сведениям, ткнул Мишу носком под зад и стал меня расспрашивать, на каком корабле я сдался в плен. Я ему понес такую несурязицу, какую мне позволяло знание немецкого. Но Миша был спасен и все время держался со мной»¹.

Н.Р. Копылова, взятого в плен под Клиндами, приняли за еврея: *«Нас построили посреди дороги, около рва. К каждому в нашей колонне подходил офицер, осматривал, а похожих на евреев сталкивал в овраг. В их число попал и я. Сверху кричали:*

— Микола, ты же украинец, скажи им.

Я несколько раз прокричал:

— Я украинец, я не еврей!

Наконец меня услышал офицер, спросил:

— Ты не еврей? — Позвал переводчика. Тот оказался моим земляком и заговорил со мной чисто по-украински. Переводчик сказал, что я действительно украинец. Я быстро вскарабкался наверх, а тех, в овраге, сразу же расстреляли. В шоке, с тяжелым сердцем, поплелись мы дальше — вслед за нашей страшной судьбой»².

Более подробно о том, что чувствует русский, которого по ошибке, как и Копылова, едва не приняли за еврея, поведал Б.Н. Соколов (как и Малофеев, он был в Саласпилсе): *«Как раз во время акции (расстрела евреев. — П.П.) нужно было сводить меня в комендатуру для продолжения прописки. Был солнечный зимний день. Со мной пошла хозяйка. В комендатуре после яркого солнца казалось темно. Мадам предложили стул, я стоял. Писарь почему-то долго возился с моей карточкой. Стоявший тут же офицер стал пристально в меня вглядываться, а затем мотнул головой: “Jude?” — “Nein”, — спокойно и как-то равнодушно от-*

¹ Малофеев, 1982. С. 32—33. Малофеев, 2010. С. 239.

² Копылов Н.Р. Мои скитания. // Поживши в ГУЛАГе. Сборник воспоминаний. / Сост. А.И. Солженицын. М.: Русский путь, 2001. С. 221—245. Копылов, 2001. С. 224.

ветила мадам. Офицеру было достаточно, он кивнул писарю, тот приложил штамп о дальнейшей прописке и мы вышли из комендатуры... В этот раз на меня взглянула смерть. И не такая, как на войне, где либо да — либо нет. Не суматошная, а значит, легкая. В пылу стрельбы, беготни, криков, да еще на людях. А холодная и бездушная смерть клопа, которого просто давят ногтем. Тут же, в комендатуре, хозяйке дадут другого работника, а тебя за воротами лагеря пристрелят в затылок, не спрашивая никаких объяснений»¹.

Разумеется, сохранились свидетельства и самих еврейских военнопленных. Так, первым лагерем Анатолия Наумовича (в плену — Николаевича) Жукова, попавшего в плен 1 июля 1942 года в Крыму под Балаклавой, стал Бахчисарай. Селекция тут была многоступенчатой: первым критерием был еврейский «прононс» — скажи «кукуруза»; потом требовалось показать член, и если ты обрезан, но утверждаешь, что татарин, — то тут же татары тебя и разоблачат (дело-то происходит в Крыму!). Самого Жукова спасли отсутствие документов, русская фамилия и нееврейская внешность (впрочем, отчество — Наумович — он все-таки поменял на Николаевич).

Художник Абрам Резниченко описывает несколько более раннюю селекцию и экзекуцию в Хорольском лагере (предположительно, в октябре 1941 года):

«...Всех нас выстроили, солдат через переводчика приказал всем евреям выступить вперед.

Тысячи людей стояли молча, никто не двинулся с места.

Переводчик, немец из Поволжья, прошел вдоль шеренги, внимательно глядя в лица.

— Евреи, выходите, — говорил он, — вам ничего не будет.

Несколько человек поверили его словам.

И только они шагнули вперед, как их окружил караул, отвел в сторону за холмик. Скоро мы услышали несколько залпов...»².

¹ Соколов, 2000. С. 71, 57—58.

² Резниченко, 1993. С. 392.

Еще более яркую и жуткую картину рисуют воспоминания медсестры-еврейки Софьи Иосифовны Анваер, взятой в плен под Вязмой и под фамилией своего однокурсника-грузина Анджапаридзе уцелевшей даже в концлагере Штутхоф. Вот что происходило в сборном лагере для военнопленных в Вязме осенью 1941 года:

«Хуже голода мучают жажда и холод. В голове неотвязная мысль: хоть бы один раз удалось согреться перед смертью. А смерть — она тут, рядом: на этаже появляются эсэсовцы с автоматами. Выкликают фамилию. Встает человек и тут же падает, сраженный автоматной очередью. Все это повторяется. На третью фамилию никто не откликается. Ее повторяют. Опять никто. И вдруг раздаются голоса: “Вот он, здесь запрятался”. Автоматы бьют прямо в гуцу людей. Следующий встает сам. Потом вновь молчание в ответ на фамилию, и опять предательские голоса, и вновь стрельба по площадям. На душе тяжелая тоска, как после этого жить. Полумертвые люди предают друг друга. Вечером Саша шепчет мне: “Знаешь, в кого стреляли? Это были комиссары. Кто-то дал немцам их фамилии, а другие помогли найти. А я был политруком. Может быть, и меня узнают”.

...Был конец ноября. Стояло хмурое утро. Внезапно во дворе раздалась нарастающая стрельба, усилилась хриплая брань, крики. На этаже появились солдаты и эсэсовцы. Угрожая автоматами, они стали выгонять полуживых пленных во двор. Тех, кто не мог подняться, пристреливали. На лестнице образовалась страшная давка. Передние не успевали выходить, а на задних напирали немцы с криком и стрельбой. Между верхними и нижними этажами было широкое окно. Через него мне и удалось увидеть, что происходило во дворе. Шел еврейский погром. Эсэсовцы отбирали евреев и отгоняли их вправо. Более месяца, проведенного в этом лагере, сделали мне смерть милее жизни. Не раз уже я сама лезла под пули, но когда я увидела, как они убивают

евреев, как над ними издеваются эсэсовцы с помощью собак (описывать это я не в состоянии), и представила, что же они могут сделать с женщиной, то постаралась задержаться на лестнице, пусть пристрелят здесь. Задержаться не удалось, поток людей вынес меня на крыльцо. Тут же ко мне подлетел высокий эсэсовский офицер:

— Жидовка? — Нет, грузинка.

— Фамилия?

— Анджапаридзе.

— Где родилась?

— В Тбилиси.

Последовало еще несколько вопросов... Ударом руки офицер толкнул меня не направо, куда я боялась даже взглянуть, не влево, куда отгоняли всех, а прямо вперед. Поднявшись на ноги, я обнаружила еще двух женщин-военнопленных. “Селекция” продолжалась, нас, женщин, постепенно стало шестеро. Стояли, тесно прижавшись друг к другу. Что говорить, было страшно. Страшно смотреть на то, что творилось кругом. Страшно думать о том, что могут сделать с нами. Когда “селекция” окончилась, военнопленных загнали обратно в здание, эсэсовцы и солдаты ушли, во дворе остались только трупы и мы шестеро посередине пустого пространства, в полной неизвестности...»¹.

Так же, как и С. Анваер, под Вязьмой попал в плен и батальонный комиссар М. Шейнман (12 октября 1941 года). Судьба провела его через лагеря в Вязьме (до 12 февраля 1942 года), Молодечно (до июня 1942 года), Кальварии, что в Литве (до декабря 1943 года), Ченстохово (до августа 1944 года) и Везуве (близ Эппена-на-Эмсе в Германии). Он сообщает, что под Вязьмой немцы бросали живых военнопленных-евреев в колодцы².

Прежде, чем лишить евреев-военнопленных жизни, садисты и палачи из вермахта, СС или лагерных полицейских

¹ Анваер, 2005. С. 20—21.

² Шейнман, 1993. С. 465.

с их воспаленным воображением и звериными инстинктами, подвергали несчастных разнообразным мучениям, на изобретение которых — в ситуации полной безнаказанности — они были великие мастера. Одним из любимых издевательств было принуждение евреев бегать, возить друг друга на плечах, петь или танцевать — все до физического изнеможения.

Их впрягали в повозки, заставляли убирать нечистоты голыми руками. Принятый за казака Семен Гриншпун, плененный в сентябре 1941 года под Киевом и после серии неудачных побегов все-таки прорвавшийся за линию фронта в апреле 1942 года, свой первый лагерь для военнопленных описывал так: *«Внутри лагеря было специальное отделение, огороженное колючей проволокой, — для евреев. Здесь евреи тоже были только в нательном белье. Три раза в день всех выстраивали и пригоняли к еврейскому отделению, где евреев заставляли петь и танцевать. Кто не хотел или не мог этого делать, был тут же расстрелян. О побоях и говорить нечего. Ежедневно по утрам евреев выгоняли на уборку лагеря. Того, кто подбирал мусор или кал палочкой, расстреливали на месте. На четвертые сутки всех евреев расстреляли у самой изгороди»¹.*

В дулаге 160 в Хороле, где комендантом был подполковник д-р Леппле (Lepple), а врачом — д-р Трюхте (Truechte), пленных сортировали на русских, украинцев, евреев и монголов (азиатов); евреев помечали шестиугольными звездами, заставляли руками собирать нечистоты в бочки, били до изуродования; перед отправкой на экзекуцию в начале марта 1942 года пленных евреев раздевали до кальсон². О намале-

¹ См. свидетельство ст. лейтенанта С. Гриншпуна в письме к И. Эренбургу (Гриншпун, 1993. С. 130; письмо опубликовано также в: Krakowski, 1992. P. 228—229). Название лагеря не приводится.

² Свидетельство бывшего солдата-красноармейца и еврея Эриха Шлехтнера, взятого в плен в августе 1941 под Харьковом (Jacobsen, 1967. S. 229—230. Dok. 40).

ванных на одежде «звездах» вспоминает и Л. Котляр: «Для завершения общей картины следует описать единственное “развлечение”, придуманное для нас начальством и регулярно повторявшееся утром и вечером. Каким-то образом в лагере (Речь идет о шталаге в Николаеве, размещавшемся на бывшем стадионе. — П.П.) обнаружили одного коммуниста и одного еврея. Обнаруженных “жидо-коммунистов” изолировали, прикрепили к ним конвоиров и дважды в день на виду у всех прогоняли бегом по верхнему краю чаши стадиона. Коммунист был плотный человек, лет сорока, в матросском бушлате с нарисованными мелом на спине и груди пятиконечными звездами. Еврей был ростом поменьше, в солдатской шинели и пилотке, в ботинках с обмотками и нарисованными на спине и груди звездами шестиконечными. Он с трудом поспевал за своим рослым напарником. А среди тридцати тысяч загнанных в ад за колючую проволоку находились такие, кто хохотал и улюлюкал им вслед, выкрикивая обидные, оскорбительные слова»¹.

Владимир Тутов описывает такую «забаву» эсэсовцев в лагере Терезин в Чехии: еврейским военнопленным подвешивали на грудь фанерные дощечки с нарисованными на них мишенями и стреляли по ним, как в тире². Известны и жуткие случаи натравливания на евреев собак³, в том числе и во время селекции перед строем военнопленных со спущенными штанами⁴.

¹ Котляр Л.И. Моя солдатская судьба (неопубликованная рукопись).

² Тутов, 2010. С. 154—155.

³ С. Анваер (см. выше) и М. Шейнман (1993. С. 465) сообщают это применительно к лагерю в Рославле и Житомире, а А. Резниченко (1993. С. 393) — в Хороле. А. Резниченко описывает случай, когда разоблаченного еврея опустили вниз головой в чан с горячей баландой и несколько минут держали так за ноги. После чего чан опрокинули, и обезумевшая толпа бросилась к луже с мертвецом слизывать и сгребать остатки этого пойла.

⁴ Бондарец, 1960. Сама по себе селекция в строю со спущенными штанами происходила с каждым новым транспортом и в Славуте (Шейнман, 1993. С. 466).

Кстати, поначалу большое значение придавалось нарочитой публичности поиска и идентификации евреев, а также издевательств над ними перед казнью, как, впрочем, и самой казни. При этом преследовалась многосторонняя цель устрашения и морального разложения вчерашних красноармейцев, склонения их к аморальному сотрудничеству — предательству и выдаче (нередко и оговору) своих товарищей. Немцы словно бы говорили остальным: вот так мы поступаем с евреями и комиссарами — нашими заклятыми врагами, но только с ними: зато остальным нас нечего бояться!¹

Однако не менее деморализующее воздействие оказывали эти сцены и на самих немецких военнослужащих, и с начала осени экзекуции перестали быть, по крайней мере, публичными.

... Впрочем, — кроме смерти в лагере, — известны и другие траектории судьбы советского военнопленного-еврея на оккупированной земле. В конце каждой из которых маячило, в сущности, то же самое — смерть.

Иногда евреев-военнопленных, прежде чем расстрелять, помещали не в лагерь, а в тюрьмы гестапо, о чем, в частности, свидетельствует «граффити» в камере Харьковской тюрьмы: *«Здесь сидели 2 еврея, Фуксман Саша и Зимин Михаил с 26.7.43. Расстрел произошел 13.08.43. Дрались мужественно. По-гвардейски. Верные сыны народа и погибли, как следует гвардейцам»*².

Кстати, жизнь военнопленного-еврея могла несколько продлить его дефицитная профессия, в особенности профессия врача. Так, бывший зав. поликлиникой из г. Шахты Копылович работал в госпитале лагеря в Молодечно, а док-

¹ Тут немцы, видимо, просчитались: многие военнопленные, особенно русские, резонно воспринимали расправу над евреями не иначе как первый этап: мол, расправятся с евреями, примутся за русских.

² Альтман, 2002. С. 302, с отсылкой на: Центральный государственный архив общественных организаций Украины. Ф. 2. Оп. 23. Д. 525. Л. 25.

тор Фельдман из Могилевского областного управления здравоохранения — в лагере в Минске. В Молодечно и Кальварии работали также врачи Беленький, Гордон и Круг из Москвы, Клейнер из Калуги и др. Но в декабре 1941 года евреям-врачам запретили работать в лагерях для советских военнопленных: так, в лагере в Вязьме в конце 1941 года селекция производилась и в госпитале, причем не только среди больных, но и среди медицинского персонала. Забрали, в частности, доктора С. Лабковского, у которого были ампутированы обе ноги. То же происходило и в лагере Богунья под Житомиром. Селекцией — как в лазаретах, так и в общих лагерях, — занимались «комиссии» в составе коменданта лагеря, фельдфебеля и врача¹.

Обработка данных об умерших советских офицерах-военнопленных из трофейной картотеки в ЦАМО показала, что более трети из них — военные врачи, ветеринары или фельдшеры, немногим меньше — техники-интенданты и инженеры, строевых же офицеров — около 20 %. Разброс по возрасту (на 1941 год) — от 21 года до 50 лет. Около 2/3 — уроженцы Украины, остальные родом из России и Прибалтики. Почти 80 % попали в плен на Украине и в 1941 году, из них в одном только сентябре — 60 %!² 10 чел. попали в плен в 1942 году, а самым «поздним» по времени пленения оказался капитан Б.Г. Зарин, захваченный 25 сентября 1944 года и выведенный из состояния плена 11 ноября того же года (для отправки в концлагерь, надо полагать).

Около 2/3 из них простились с жизнью в дулагах или шталагах на оккупированной территории, остальные — в шталагах и концлагерях в Германии. Несколько лагерей встре-

¹ Случаи сравнительно продолжительной работы военврачей-евреев в шталагах зафиксированы и в картотеке ЦАМО (см. Приложение 2).

² Возможно, это связано с массовой отправкой в это время на фронт необученных евреев-добровольцев. Для сравнения: из 23 бывших советских военнопленных-евреев, зарегистрированных при Московской Ассоциации узников фашистских концлагерей, 14 попали в плен в 1941 году, по 2 — в 1942 и 1943 и 4 — в 1944—1945 годах (Марьяновский, Соболев, 1997. С. 33).

чаются особенно часто — это шталаги 346 (Кременчуг) и 334 (Белая Церковь), концлагерь Заксенхаузен (7 раз), шталаг III В Фюрстенберг (5 раз). Лишь в 10 % случаев военнопленные умерли своей смертью, например, от бомбежки или в больнице. Во всех остальных случаях они были переданы дальше для ликвидации — в руки либо СД (если дело происходило в оперативной зоне на оккупированной территории СССР), либо гестапо и СС (в зоне ответственности ОКВ), или же застрелены при попытке к бегству. Некоторое удивление вызывает одновременность передачи значительной части военнопленных-евреев в руки СД: в 22 случаях это произошло 2 марта 1942 года (причем в 5—6 лагерях!), в 8 случаев — 9 сентября, а еще в нескольких случаях — 18 июня и 31 октября того же года. Карточки 10 военнопленных однозначно запечатлели следы селекции или доноса: названная ими самими и принятая немцами к сведению национальность — украинец, русский, белорус или азербайджанец — исправлена на них красным карандашом на «еврей». На удивление много карточек (более половины), где в графе национальность «еврей» стоит с самого начала. Однако самой продолжительной (более 3 лет) жизнью в плену отмечен лейтенант и автомеханик Иосиф Базаненко, назвавшийся русским: взятый в плен 22 сентября 1941 года под Оршицей и угнанный в шталаг XIII D в Нюрнберге. Смерть нашла его только при авианалете 19 октября 1944 года.

СЕЛЕКЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГЕРМАНИИ

Еще в июле 1941 года большие массы советских военнопленных стали прибывать непосредственно в Рейх, возможность чего в приказе № 8 допускалась не более чем теоретически. Это отставание от жизни было быстро исправлено в «Боевом приказе № 9» от 21 июля 1941 года.

Немаловажные уточнения содержал и указ Гейдриха от 12 сентября 1941 года, выправлявший, по всей видимости,

массовые «перегибы» при исполнении приказа № 8. Сделанные в нем уточнения понятия «русско-советская интеллигенция» вывели из-под смертельной угрозы по крайней мере интеллигенцию техническую и прекратили расстрелы татар и представителей других «азиатских» (читай: мусульманских) народов, осуществлявшиеся исключительно по той причине, что и у них, как у евреев, практиковалось обрезаение¹.

Если летом 1942 года, в отличие от лета 1941 года, советские военнопленные как рабочая сила уже представляли для Германии определенный экономический интерес и отношение к их «сохранности» в целом улучшилось, то отношение к военнопленным-евреям изменений не претерпело: все они по-прежнему подлежали уничтожению, независимо от места пленения или нахождения — на фронте или в Германии.

Непосредственно в Германии, а точнее, в зоне ответственности ОКВ, как селекцию, так и ликвидацию военнопленных должна была осуществлять не лагерная администрация, а направляемые в каждый лагерь или иное место скопления неблагонадежного элемента «особые комиссии» РСХА и СД («Sonderkommissionen»). Составленные ими отчеты с указанием количества отобранных ими неблагонадежных лиц (очень часто даже без персонализирующего списка) подлежали еще формальному согласованию с руководством РСХА.

Только после этого можно было приступать непосредственно к ликвидации (или, по-немецки, **экзекуции**), но ни в коем случае не в самом лагере и не в непосредственной близости от него. В случае же невозможности обеспечить скрытность (а это было совсем не просто в самой Германии, например) обреченных смертников надлежало направлять в ближайшие концлагеря.

¹ См.: Streim, 1981. S. 71—72.

27 октября 1941 года, в развитие приказа № 8, Гейдрих выпустил «Боевой приказ № 14», наделявший офицеров «оперативных команд» в лагерях для военнопленных полномочиями по принятию решений и об их экзекуциях, что существенно упрощало всю процедуру¹.

В начале октября 1941 года Министерство по делам восточных территорий направило во все крупные дулаги и штаблагри около 40 «комиссий по проверке военнопленных», не только соучаствовавших в поиске среди них евреев и других потенциальных врагов, но и наделенных правом отпускать из плена украинцев и представителей некоторых других национальностей. Опасаясь наивности немецких солдат и офицеров, искренне полагающих, что необрезанных евреев не бывает, Министерство разоблачило и эту «жидо-большевистскую» уловку: 10 октября оно разослало информацию о том, что, начиная с 1920—1921 годов рождения, среди советских евреев запросто могут оказаться и необрезанные².

Генерал-лейтенант Шеммель (Schemmel), бывший в 1941—1942 годах, командиром военнопленных в XIII военном округе, показал на допросе, что из примерно 40 тыс. советских военнопленных, дислоцировавшихся в его округе, селекции и экзекуции подверглось не менее 2 тыс., или порядка 5 %³. Obersturmführer СС Пауль Олер (Ohler), инспектор гестапо в Нюрнберге и начальник айнзатцкомандо в офлаге Хаммельбург, показал, что из его лагеря в Дахау было отправлено на казнь не менее 500 советских военнопленных-офицеров⁴.

Тем не менее, многие еврей-военнопленные де-факто просачивались в зону ответственности ОКВ или в саму

¹ Dok. NO-3422. См.: Streim, 1981. S. 72. Интересно, что получатели приказов № № 8 и 14 обязывались их по ознакомлении уничтожить.

² Для убедительности и научности прилагался еще и составленный в министерстве обзор народов и народностей СССР (Streim, 1981. S. 72).

³ См.: Jacobsen, 1967. S. 226.

⁴ См.: Jacobsen, 1967. S. 228.

Германию и были все же «выведены на чистую воду» — теми самыми особыми комиссиями — в лагерях уже непосредственно в Рейхе. Следы этих разоблачений содержит в себе и трофейная картотека ЦАМО. В ней можно встретить евреев, выявленных в шталагах III В, IV Н, X D, XIII D и XVII А. Присовокупим сюда еще и два восточнопрусских — № 336 (Инстербург) и 373 (Просткен) — и один польский — № 359 (Сандомир).

Так, из карточки Семена Агена¹ видно, что под № 151324 он был зарегистрирован в шталаге III В в Фюрстенберге-на-Одере. Поначалу он заявил себя православным и русским, но был, по-видимому, разоблачен, после чего «Russe» в графе национальности переправили на «Jude». 12 января 1943 года, по письму гестапо Фюрстенберга-на-Одере от 7 января, он был направлен в концлагерь Заксенхаузен².

Что касается непосредственно смерти, то один из военнопленных-евреев погиб при бомбежке и похоронен на кладбище в Витцендорфе, а двое — лейтенанты Лев Курлов и Михаил Тарлов — застрелены 27.4.1942 года, при попытке к бегству из концлагеря «для неисправимых» — Маутхаузена³. Сразу 6 чел. были переданы в Заксенхаузен: 1 чел. — 17.10.1942 года, 2 чел. — 12.1.1943 года, 1 чел. — 22.3.1943 года и 2 чел. — 3.2.1944 года. Остальные были переданы еще на востоке в руки СД, причем значительное количество — 9 чел. — в один и тот же день (2.3.1942 года, в основном из шталагов 346 и 334).

¹ Родился в Ростове 29.8.1908.

² ЦАМО, № 110730 (сообщено Р. Келлером).

³ Оба они попали в плен практически в один день (23—24.7.1941), оба прошли через одни и те же лагеря, где, вне всякого сомнения, были знакомы (дулаг 202, откуда они были отправлены — 8 и 18 марта 1942 — в шталаг XVII А, а уже оттуда в Маутхаузен). Еще одна «пара» в этой выборке — капитан Бовшевер и врач Абрамович, почти параллельно прошедшие через шталаг III В (12.11.1943 и 16.11.1943) и вместе переданные в Заксенхаузен 3.2.1944. Третья «пара» — врачи Аген и Гриц, 21.10.1942, оба переведенные в шталаг III В, а 12.1.1943 — переданные через гестапо г. Фюрстенберга-на-Одере в Заксенхаузен.

Свидетельства военнопленных о том, как происходила селекция евреев на территории Германии, практически не дошли до нас. Тем ценнее следующий эпизод из воспоминаний Б.Н. Соколова о селекции в 326-м шталаге в рурском городке Хемер:

«Национально-политическая проверка. Нас выстраивают на плацу в две шеренги, каждая в один ряд. Между шеренгами расстояние шагов десять. Приказано всем снять шапки, стоять смирно и смотреть прямо в глаза. Прямо в глаза. Смотреть в глаза тем, которые уже идут с края. Сначала они проходят быстро, как бы примериваясь. Их четверо. Передний — невысокий плотный офицер с широким красным лицом и крошечными глазами со строго внимательным и колючим прищуром. На всех четверых фуражки с высоко заломленным верхом и блестящим серебряным черепом. На мундирах черные петлицы со светлыми буквами SD — Schuetzdienst (Охранная служба) ¹. Сбоку, шаг в шаг с ними, идут автоматчики и русская полиция.

Второй раз они идут очень медленно, цепко вглядываясь в застывшие лица. Впечатление такое, что не только нам, но и стоящим навтыяжку впереди шеренг лагерным немцам от их присутствия тоже не по себе. А для нас попасть к ним означает немедленный перевод в штрафной блок, а там скорее всего прощанье с жизнью. Здесь рассказывают, что ищут евреев, но, случается, вытаскивают и других. Евреев за три года выловили основательно. И тем не менее, несмотря на вот такие неоднократные выловы, доносы своих и прочие меры, среди нас евреи все же имеются.

Как мне кажется, еврея обнаружить сейчас нелегко. В массе наголо остриженных, плохо или совсем не бритых, истощенных, грязных лиц национальные признаки выражены слабо. Можно бы узнать по характерному для еврея маслянистому блеску глаз, но на ярком солнце это не видно.

¹ Неточность. Правильно: Sicherheitsdienst (Служба безопасности).

Кругом полная тишина, так как жутковатое чувство идущей рядом и, может быть, именно за тобой смерти охватывает всех. Вдруг, как щелчок затвора, в гнущей тишине раздается резкое — Ах! Из стоящей перед нами шеренги высокий бледный немец, идущий третьим, как бы выдергивает одного из нас...

...Теперь проверяют другим способом: смотрят не на лица, а ищут подвергнутых обрезанию... Мы выстраиваемся в очередь к узкой двери в коридор, в конце которого выход на улицу... Все мы, стоящие в очереди, держим на ладони собственный член, сейчас похожий на мокрую грязную тряпочку. Именно по нему и определяется наша благонадежность. Офицер, придерживая пенсне и одновременно указательным пальцем той же руки слегка щуря глаз, немного наклонился вперед. На его лице застыла брезгливая гримаса, но тем не менее, он очень внимателен. След операционного ножа в раннем детстве не удастся скрыть никому. Однако ни чувства протеста, ни чувства иронии не возникает ни у кого.

...У многих наступило известное успокоение. Наступило именно потому, что контроль стал определенным, в противоположность контролю по лицам, когда подозрение могло пасть на многих. Среди русских нередко встречаются люди, имеющие в облике нечто восточное, отчего иногда таких людей принимают за евреев... Кстати сказать, черты восточного облика у многих резче проявляются при истощении, возбуждении, болезни, а также при определенном освещении.

...Вдруг сбоку подскакивает немолодой щуплый солдатик и, пристально и зло глядя мне в лицо, бросает: — Вот скажу сейчас немцу, что ты еврей.

Опять меня подводит мое «заметное», то есть интеллигентное, такое необычное здесь лицо... Сейчас это смертельно опасно. Одно слово, и оборвется тонкая нитка жизни, никаких апелляций и выяснения не будет...

... Так это или не так, но только смерть моя еще раз прошла мимо. На этот раз совсем-совсем близко. Дунула из пустого рта холодком, пошевелив мне кожу на голове. Хитро подмигнула пустой глазницей и ушла. Дескать, я не спешу. Поживи еще, помучайся...»¹.

Примечательно, что эта жуткая сцена происходила не в 1941-м и даже не в 1942-м или 1943 году, а в 1944-м. «Боевой приказ» Гейдриха и тогда еще нисколько не утратил своей значимости и свежести.

В том же, что и Б. Соколов, шталаге 326 оказался и Л.Я. Простерман (Просторов). Встреченные им в лагере медики, по-видимому, помогли ему избежать селекции и любопытства «Комиссии по проверке военнопленных». В результате он и уцелел, и выздоровел — настолько, что не отправлять его и дальше на работу стало невозможно: *«Из последнего на Украине лагеря в г. Стрый я попал в шталаг 326 на территории Германии, где пробыл около 1,5 месяцев. Вначале меня поместили в госпиталь, так как отказала левая нога, и я не мог ходить. Я считал, что это результат контузии, которую я перенес примерно 23 мая 1942 года в результате артиллерийского налета немецкой армии. В госпитале я встретил земляков, армейских медиков, которые меня стали опекать, подкармливать. В результате левая моя нога пришла в норму и меня перевели в блок, где формировали команды для отправки на производства. Отсюда я попал в Роденкирхен возле Кельна на завод «Гебрюдер», где меня поставили на операции окончательной доводки подшипников скольжения. Видимо, для транспортных средств. Цех назывался «Лагер-гале» и возглавлялся мастером Толли, жестоким человеком не только для пленных, но и для немецких рабочих. Однажды у меня разболелся зуб, и я стал просить отвести к зубному врачу. Вместо ответа Толли стал избивать меня стальной развальцовкой — прутом диаметром примерно 16 и длиной в 400 мм»².*

¹ Соколов, 2000. С. 144—148.

² Из письма автору от 13.6.2003.

СПАСШИЕСЯ И СПАСИТЕЛИ

Тем не менее, части евреев удалось скрыть свою подлинную национальность и свое подлинное имя, а если им и дальше везло, то и уцелеть, даже на территории врага. Ведь только по официальным данным Управления по делам репатриации при Совете Министров СССР, среди репатриированных после войны граждан СССР насчитывалось 11 428 евреев, из них 6666 гражданских лиц и 4762 военнопленных¹, в том числе и среди контингента «власовцы» — более сотни человек!²

Учитывая и тех, кто и при репатриации на всякий случай не выдал своего еврейства, общее число евреев среди репатриированных могло составить приблизительно 15 тыс. чел., причем пропорция могла измениться только в пользу остарбайтеров, поскольку военнопленных фильтровали все же неизмеримо тщательнее, чем гражданских лиц.

Жизнь с измененной идентичностью, постоянный страх разоблачения или предательства — все это накладывало неизгладимую печать на обстоятельства их выживания или спасения. Но при этом особенно тяжело уцелеть было именно военнопленным, среди которых на протяжении всего времени плена велась целенаправленная и смертоносная селекция, тогда как у гражданских лиц ее не было.

И.М. Бружеставицкий написал об этом так: *«Я страдал, как и все мои товарищи, попавшие в плен. Но к этому добавлялся страх разоблачения, что я еврей и политрабантик. Таких расстреливали немедленно. А меня в дивизии знали многие, так как я не раз бывал на общедивизионных сборах комсоргов, замполитов, выступал на митингах. Но в этом*

¹ Полян, 1996. С. 298 и 312.

² Иные из них после фильтрации даже попадали в спецлагеря НКВД, как, например, Михаил Израилевич Фрейдин, 1918 г.р., уроженец Глухова и житель Конотопа: он служил солдатом в неназванном немецком войсковом формировании, за что, по заключению следователя СМЕРШ Нозурачева, и угодил в спецлаг Фюрстенвальде (ГАРФ. Ф. Р—9409. Оп. 1. Д. 604. Л. 119).

первом лагере меня никто не выдал, хотя подходили, здоровались, и только один назвал замполитом и покачал головой...

Поразило нас, что в первый же день среди пленных появились прислужники немцев — полицаи с дубинами (палками) в руках. Они разгоняли группы пленных, не жалея побоев. В числе этих «блустителей порядка» оказался и наш комиссар батальона связи. Был он, правда, в красноармейской гимнастёрке без «шпал» на петлицах и без комиссарских звезд. Он прошел мимо меня, сделав вид, что не узнал, и не выдал меня немцам; думаю, что опасался ответного разоблачения»¹.

Именно предательство «своими» и было главным способом разоблачения евреев. Немцев провести было бы гораздо проще, когда бы не доброхоты из числа «своих». Как образно выразился по этому поводу бывший военнопленный Семен Орштейн: «Свой не продаст, — чужой не купит...»².

За «разоблаченного» жида или политработника в дулагах и шталагах награждали — хлебом, папиросами, а то и одеждой расстрелянного. Предателями, несомненно, двигали и менее материальные мотивы, в частности, закоренелый бытовой антисемитизм или своеобразное самовывдвижение в лагерной иерархии³. Случаи же самосуда над такими предателями со стороны остальных военнопленных, о которых пишет И. Альтман⁴, представляются крайне рискованными и поэтому маловероятными — и уж во всяком случае редкими.

¹ Бружеставицкий, 2006.

² Цит. из видеointервью, данного Фонду С. Спилберга 18.11.1997.

³ Такой случай описан, в частности, Н. Ващенко в офлаге Хаммельбург. Признав в одном из военнопленных, Григории Скловце, еврея, повар (западный украинец) спросил у него номер и немедленно донес о своем подозрении гестапо, куда его назавтра и увели (Ващенко Н.А. Из жизни военнопленного // Всероссийская мемуарная библиотека. Сер.: Наше недавнее. Вып. 7. Париж. 1987. С. 253—254).

⁴ Альтман, 2002. С. 302.

Другими способами селекции были медосмотр и проверка в строю или в бараке. Проверяли при этом не только на обрезание, но и на особенности речи (картавость).

Леонид Котляр описал еще один хитроумный способ выявления «затаившихся евреев» — сортировку по национальностям: «...Из строя стали вызывать и собирать в отдельные группы людей по национальностям. Начали, как всегда, с евреев, но никто не вышел и никого не выдали. Затем по команде выходили и строились в группы русские, украинцы, татары, белорусы, грузины и т.д. В этой сортировке я почувствовал для себя особую опасность. Строй пленных быстро таял, превращаясь в отдельные группы и группки. В иных оказывалось всего по пять-шесть человек. Я не рискнул выйти из строя ни когда вызывали русских и украинцев, ни, тем более, — татар или армян. Стоило кому-нибудь из них усомниться в моей принадлежности к его национальности — и доказывать обратное будет очень трудно.

Я лихорадочно искал единственно правильный выход. Когда времени у меня почти уже не осталось, я вспомнил, как однажды в минометной роте, куда я ежедневно навещался как связист штаба батальона, меня спросили о моей национальности. Я предложил им самим угадать. Никто не угадал, но среди прочих было произнесено слово “цыган”. За это слово я и ухватился, как за соломинку, когда операция подошла к концу и нас осталось только два человека. Иссяк и список национальностей в руках у переводчика, который немедленно обратился к стоящему рядом со мной смуглому человеку с грустными, навывкате глазами и огромным носом:

— А ты какой национальности?

— Юда! — нетерпеливо выкрикнул кто-то из любителей пошутить.

Кто-то засмеялся, послышались еще голоса: “юда! юда!”, но тут же все смолкло, потому что крикуны получили палкой по голове за нарушение порядка. В наступившей мертвой тишине прозвучал тихий ответ:

— Ми — мариупольски грэк.

Последовал короткий взрыв смеха.

Не дожидаясь приглашения, я сказал, что моя мать украинка, а отец — цыган. И тотчас последовал ответ немца, выслушавшего переводчика:

— Нах дер мутер! Украйнер!

— Украйнец! — перевел переводчик.

Приговор был окончательным, и я был определен в ряды украинцев. Теперь любой, кому пришла бы в голову фантазия что-либо возразить по этому поводу, рисковал схлопотать палкой по голове. Немцы возражений не терпели»¹.

Для того чтобы попробовать спастись, евреям приходилось применять те или иные познания этнолингвистического или медицинского свойства, как, например, бытование обрезания не только у евреев, но и у мусульман, существование заболеваний, требующих обрезания по чисто медицинским соображениям², и т.п.

Как показывает анализ, подавляющее большинство самым радикальным образом меняло и имя, и отчество, и фамилию, а многие и всю «легенду», включая место рождения и т.д. (есть случаи поэтапной или просто двукратной замены элементов имени). Видимо, из боязни проговориться, некоторые старались сохранить при этом свое настоящее имя, если только оно само по себе не составляло угрозу. Гораздо реже встречаются случаи, когда замене подверглось одно только имя, одно только отчество или одна только фамилия³.

Так, Давид Исаакович Додин⁴, рядовой, попавший в плен 27 июля 1941 года, прорываясь из окружения на Минск, не меняя имени, успешно выдавал себя за белоруса, изменив только отчество (на Иванович). Его внешность и его вла-

¹ Котляр Л.И. Моя солдатская судьба (Неопубликованная рукопись).

² В частности, фимоз — патологическое сужение отверстия крайней плоти, не позволяющее обнажить головку полового члена. См. ниже: случай Губермана.

³ См. Приложение 1.

⁴ Род. 9.5.1922 в д. Верещаки Горкинского р-на Могилевской обл.

дение белорусским языком не вызывали ни малейшего подозрения. Ни в сборном лагере на р. Свислочь, ни в дулаге Остров-Мазовецкий селекции не проводились, а в туберкулезном лазарете шталага в Цайтхайне, где он работал регистратором и при котором жил (в отличие от самого лагеря), селекция как таковая, в отличие от самого лагеря, не проводилась¹. Перемены отчества — с Ильича на Иванович — хватило и Б.И. Беликову².

Определенную роль играл и фактор фонетического созвучия старого и нового имени. Вот как объяснил это Лев Яковлевич Простерман: *«Все документы я уничтожил, характерных внешних признаков у меня не было, и я записался как русский, Просторов Алексей. “Просторов” потому, что это было созвучно с “Простерманом”. В случае, если кто-то из бывших сослуживцев по моему 899 полку 248 стрелковой дивизии меня окликнет по фамилии, я имел бы шанс как-то “выкрутиться”. Алексеем я стал потому, что хотел сохранить фотографии любимой, которые были подписаны мне, как “Лесе”. Так меня звали в детстве...»*³.

Некоторые сознательно брали себе идентичность знакомых им лично лиц: например, Софья Анваер стала Софьей Анджапаридзе потому, что в ее классе был такой одноклассник, и т.п.⁴.

В любом случае важно было как можно лучше ориентироваться в обстоятельствах своей новой идентичности.

Среди этносов, за представителей которых они себя выдавали, чаще всего фигурировали славяне — украинцы и русские (реже белорусы)⁵. На втором месте — турки-мусульмане:

¹ Видеоинтервью Фонду С. Спилберга от 4.5.1998. Тем не менее, в том, что он еврей, он все же признался нескольким вызывавшим его доверие людям, в том числе немецкому пастору-фельдфебелю.

² См. Приложение 1.

³ Из письма автору от 13.06.2003.

⁴ Анваер, 2005. С. 19—21.

⁵ См. Приложение 1. Тут мы расходимся с оценкой А. Шнеера, утверждающего, что славянские идентичности были не столь популярны и брались

татары, узбеки¹ и азербайджанцы, а на третьем — армяне, грузины и даже аджарцы. Иногда выдавали себя за французов, за немцев-фольксдойче, совсем редко — за караимов, но последнее почти не помогало². Известны и случаи маскировки под цыган (Л. Котляр): случаи же селекции среди военнопленных по «цыганскому» признаку, наоборот, неизвестны.

Замечательный русский поэт Семен Липкин, во время войны военный корреспондент, не был в плену, но в окружении был. На войне он — с первых ее дней: Кронштадт, Ленинград, Дон³. На Дону и попали в окружение. Группку из 8—10 человек выводил Липкин: выбирались, проходя по казачьим станицам. Плен миновал поэта, но смертный еврейский страх — нет:

«Было страшно, мне особенно. Я сделал себе удостоверение с армянской фамилией Шахдинарьянц. Это был мой школьный учитель химии, с такой фамилией. Вошли в станицу, зашли в хату... Хозяин хаты говорит мне: “Сдается мэни, шо вы з жидив”. — “Нет, я армянин.” — “Вот придет жинка, вона скажэ”. Пришла хозяйка. И пока она смотрела на меня, двумя руками приподнимая свои груди, у меня внутри все дрожало. И она сказала: “Вирменин!”...»⁴.

Лейтенант Сергей О., по свидетельству М.Б. Черненко, служивший комвзвода, попал в плен в 1942 году после неудачного наступления на Южном фронте. Пожилой солдат-

лишь тогда, когда военнопленный-еврей не имел ярко выраженных еврейских черт.

¹ Д.Б. Ломоносов сообщает о еврее-москвиче Михаиле, попавшем в плен летом 1944 г. Выучив в эвакуации узбекский язык, он и назвал себя при регистрации Михаилом Ходжаевым, узбеком. Бывшие в лагере настоящие узбеки говорили с ним по-узбекски и не выдали его (*Ломоносов Д.Б. Исповедь узника гитлеровских лагерей. // Военно-исторический архив. 2002. № 11. Ломоносов, 2000. № 11. С. 68*).

² Шнеер, 2003. Т. 2. С. 172—181.

³ Имел боевые награды — орден Отечественной войны II степени, медаль «За оборону Сталинграда».

⁴ Семейный архив С.И. Липкина. См.: Нерлер П. Последняя воля. На смерть поэта Семена Липкина, прожившего тяжелую и долгую жизнь // Еврейская газета (Берлин). Июнь 2003. С. 32.

татарин указал ему на общность важного мусульманского и иудейского обрядов и присоветовал сказаться татаринном из соседнего с собой села. Что Сергей О. и сделал (заодно подучив татарские слова) ¹.

Военный фельдшер М.И. Меламед попал в плен в сентябре 1941 года под Киевом и — при помощи коллеги (бывшего начальника Санитарной службы 37-й армии Т.Н. Чурбакова) — сумел выдать себя за аджарца Коджарова².

Израиль Моисеевич Бружеставицкий³ взял себе имя Леонид Петрович Бружа (Brusha), восходящее к его студенческому прозвищу⁴. 11 августа 1942 года в районе Калач—

¹ Черненко, 1997. М. Анкетное проклятье // Московские новости. 1997. № 19. 11—18 мая. С. 22.

² До дня побега 04.11.1943 он проработал в шталаге Белая Церковь фельдшером Конжаровым. См. его письмо И.Г. Эренбургу от 10.05.1944, отправленное с фронта в Румынии (Советские евреи пишут Илье Эренбургу... 1993. С. 135—136).

³ Родился 20.07.1922 в Мелитополе, среднюю школу окончил в Симферополе. В 1939—1941 — студент ИФЛИ. С 09.08.1941 в Красной Армии: в составе 147-й стрелковой дивизии 62-й Армии воевал на Сталинградском фронте (радист и зам.политрука роты). 11.08.1942 в районе Калач—Суровикино попал в окружение и был взят в плен. Находился в лагерях на советской территории, а также в тюрьме в Днепропетровске, откуда его и увезли в Германию. С 23.10.1942 находился в шталаге IV В в Саксонии (личный номер № 204728). 09.05.1945 он был освобожден войсками 1-го Украинского фронта. Снова был призван в армию и снова служил радистом (под своим именем). Как студент ВУЗа демобилизован в октябре 1945. В 1949 окончил истфак МГУ, распределился в Тверь, где с тех пор и живет, работал в сфере культуры. В 1967—1983 — директор Калининского обл. краеведческого музея, а в 1978—1983 — генеральный директор Калининского государственного объединенного историко-архитектурного и литературного музея. В 1998 написал (но не планировал публиковать) «Воспоминания бывшего директора музея (1967—1983)», в составе которых две подробные главы посвящены плену (см. Бружеставицкий, 2006).

⁴ Ср. в его воспоминаниях: *«Еще одна деталь: издавна товарищи называли меня “Бружа”, укоротив фамилию. Эта кличка прицепилась ко мне и переходила со мной из школы в ИФЛИ, из ИФЛИ в Красную Армию, в Красной Армии из части в часть, потом в плен и, по существу, превратилась в фамилию».*

Сурувикино он попал в окружение и был взят в плен. Находился по нескольку дней в лагерях (Миллерово¹, Шепетовка) и тюрьмах (Харьков и Днепропетровск) на советской территории. С 23 октября 1942 года — в Германии (шталаг IV В Мюльберг, что в Саксонии; личный номер № 204728). Документы он уничтожил, национальность скрывал. Еще в Шепетовке он зарегистрировался казаком из Темрюка, сыном кубанского казака и татарки: с этой легендой он и прожил весь свой плен. В Мюльберге его союзником был тиф: покуда он лежал в тифозном бараке, в самом лагере жестоко охотились на замаскировавшихся евреев.

Принятие псевдонима произошло в Харьковской тюрьме на Холодной горе в начале сентября: «...*Всех пленных выстроили в шеренги, и вдоль них стали ходить полицейские из своих, выискивая евреев. Немцы стояли в стороне. Определяли евреев по внешности и по неотъемлемому признаку — обрезанной крайней плоти. Остановился молодой полицейский возле меня: “Спускай штаны”. Я ответил ему: “У меня мать татарка, так что я обрезанный”. Стоявшие рядом мои друзья подтвердили это. Полицейский усмехнулся, посмотрел на меня и пошел дальше. Ясно, что он выполнял свою роль за лишний кусок хлеба и не старался особо выслужиться. На этот раз я был спасён. Из рядов вывели десятка два явных евреев, и немцы с побоями их увели. Евреев-военных (Waffenjuden) они считали особо опасными и уничтожали их немедленно. Вечером в камере ко мне подошел пленный лет сорока, мой бывший сослуживец еще по роте связи в 600 СП, телефонист: “Ты что же, жид, не вышел, комиссар хреновый?” (Сказано было крепче). Я промолчал, а Гуреев и Кузнецов отогнали его. Надо мной нависла смертельная угроза. Нужно было любой ценой скрыться от этого гада, который явно собирался донести на меня.*

¹ Там был специальный изолированный холм, где содержались перед казнью евреи.

И, можно сказать, мне повезло. Рано утром, когда нас выпустили из камер на тюремный двор, там стали выкликать: “Казачки есть?” Наша дружная пятерка рванулась вперед и встала в строй мнимых казаков. Таких набралось человек сто; нас вывели из тюрьмы и снова — в товарные вагоны. Выдали по куску макухи и повезли, на этот раз в Шепетовку. Здесь, в Шепетовке (я знал о ней по роману Н. Островского “Как закалялась сталь”) за городом устроили похожий на Миллеровский лагерь под открытым небом, но не очень большой. Здесь было тысячи 3—4 пленных “казаков”. Были среди них и настоящие казаки, но, по-моему, меньшинство.

В Шепетовке впервые прошли письменную регистрацию. Я назвался Бружа Леонид Петрович; отец — кубанский казак из Темрюка, мать — татарка, вырос в детском доме, был студентом института связи, рядовой. Фамилия казалась несколько странной, но я никак не мог от нее отвязаться, окружающие так меня называли. Имя и отчество позаимствовал у своего друга — одноклассника в Симферополе, Темрюк — у однокашника по ИФЛИ Льва Якименко, кубанского казака. В Темрюке я так никогда и не побывал. Своей легенды придерживался все годы плена, хоть она мало походила на достоверную. Трудность была не в легенде, а в моем несоответствии ей. Все же я был похож на еврея, а не на казака. Спасало отчасти то, что казачество этнически неоднородно...»¹.

А вот Семен Алексеевич Орштейн, уроженец г. Славуты Хмельницкой области (1921), взял себе «псевдоним» только в Германии. Собственно, и «Семен Алексеевич» был псевдоним, так как родился он Шимоном Эоевичем и в Онополе, где он рос и где его отец, пекарь, пек на пасху мацу, было до войны восемь синагог и, соответственно, еврейских школ. Был у них маленький домик на две комнаты и кухню. Когда началась война, родители и сестры — Паня, Цея (Циля) и

¹ Бружеставицкий, 1998. Бружеставицкий, 2006. С. 116—117.

Лиза — сначала эвакуировались было в Житомир, но там их настигли немцы, и они вернулись в Онополь, где все и погибли.

Его же спасла следующая цепочка обстоятельств: в 1940 году его призвали в пограничные войска, в Болград, был курсантом (еще 21 июня 1941 года они пропустили последний эшелон в Германию!). В плен его взяли под Харьковом в октябре 1942 года. В Житомирском шталаге стариков-евреев заставляли танцевать возле ямы. Его не проверили и увезли в Германию, причем поезд прошел через Славуту и Онополь.

В Германии, в шталаге Бохольт, куда его привезли, он весил всего 42 кг¹. При регистрации Орштейн, по его образному выражению, «переложился в Семенюка», — взял себе имя и фамилию своего ближайшего друга, бывшего председателя райпо и первого номера расчета станкового пулемета (сам Орштейн был его вторым номером). Настоящий же Семенюк Василий Кузьмич был тяжело ранен за два дня до того, как Орштейн попал в плен.

Большинство советских евреев-военнопленных спасли, впрочем, не столько их удачные псевдонимы, сколько добрые люди — те, кого назовут потом Праведниками Мира. Среди них украинцы и русские, белорусы и поляки, татары и немцы, красноармейцы и гражданские, знакомые и незнакомые, городские и сельские жители. Особенно часты были летом и осенью 1941 года такие случаи: пожилые и молодые крестьяне и крестьянки прятали у себя евреев-окруженцев или беглых пленных, выдавая их потом за односельчан, а иногда даже «выдирали» их из лагерей, вдруг «узнав» в них своих «мужей», «сыновей» или «братьев». А иногда спасенные и спасительницы, хорошо узнав друг друга, после войны соединялись вновь и создавали семью².

¹ Как слабосильного, его отдали крестьянину Вернеру Венку, у которого он и проработал до освобождения. Убегать не было сил и было некуда.

² Несколько таких случаев описаны в книге А. Шнеера: например, истории Елены Воротчик и Якова Мейлаха или Ванды Можейко и Исаака Ривкинда (Шнеер, 2003. Т. 2. С. 191—195).

Жизнь военнопленного еврея часто зависела от вердикта врача, поэтому не удивительно, что среди их спасителей — так много **медиков**. Так, М. Шейнман обязан жизнью врачам Редькину и Собстелю в Вяземском лагере, Куропатенкову и Шеклакову — в Кальварии, Цветеву и Куринину — в Ченстохове¹. Рискуя жизнью, они делали фиктивные операции, укрывали евреев и комиссаров среди туберкулезных, тифозных и поносников, подменяли документы и многое другое.

Интересна история Григория Губермана, и самого по профессии врача². В 1941 году, после окончания четвертого курса медицинского института, он служил в госпитале в Севастополе. После взятия Севастополя (немцы интернировали мужской медперсонал, но выпустили на свободу женский) назвался Николаем Колокольниковым (имя друга). Одна из медсестер написала на него донос, но при расследовании он утверждал, что донос был сделан из ревности, а обрезание было сделано ему по болезни (фимоз). На время расследования был заключен в тюрьму, где немецкий врач выдал ему спасительную справку о фимозе.

Среди спасенных врачами и Абрам Соломонович Вигдоров³. Он попал в окружение на Лужском рубеже в районе Колпино 19 сентября 1941 года и, получив два пулевых ранения в ноги (увечье на всю жизнь), был брошен раненым на поле боя и взят в плен. Одну неделю он провел в лазарете в Любани, откуда его в гипсовой повязке отправили в отделение шталага 350 в Митаве (Елгаве)⁴ на территории Латвии.

¹ Шейнман, 1993. С. 468.

² Сообщена его сестрой, Ж.И. Гольденфельд (Иерусалим). Зауряд-врач — формально не доучившийся медик, как правило, выпускник 4-го курса мединститута.

³ Родился 14.05.1923 в Ростове. Уже 3.7.1941 будучи 18-летним первокурсником Ленинградского технологического института, он вступил добровольцем в Красную Армию (ополчение). После принятия 30 июля военной присяги служил рядовым в 1-м стрелковом полку 3-й Фрунзенской дивизии.

⁴ Об этом лагере М. Шейнман пишет, что немцы выявляли в нем евреев через свою агентуру (Шейнман, 1993. С. 467).

Именно здесь местные врачи спасли ему не только здоровье, но и жизнь, несколько «подправив» его имя, отчество и фамилию: он стал Алексеем Семеновичем Викторовым. С самого начала, еще при регистрации в госпитале, врачи выдали ему на это имя спасительный «документ» — небольшую картонку, на которой были нанесены наборными печатками номер шталага, его лагерный номер (22221), а также — чернилами и обычной ручкой — выведена большая буква «R». Но и с таким «хорошим» документом жизнь Вигдорова-Викторова висела на волоске. Во время селекции экспертное заключение украинского эсэсовца стоило явно выше, и только немецкий лагерный охранник почему-то вернул его в лагерь.

Вот несколько подробностей этой судьбы: *«Между тем предъявленный мной документ не возымел силы из-за настойчивых утверждений предателей из числа военнопленных о моей принадлежности к еврейской национальности. Точку в возникшем споре поставил командир украинских SS, охранявших лагерь. Он устроил мне настоящий экзамен по произношению слов, которые люди, говорящие по-еврейски, произносят с определенным акцентом (картавость при произношении звуков “р” и “л”). Я прекрасно выдержал этот экзамен, так как никогда не знал еврейского языка и не говорил на этом языке. Однако хор голосов из строя настоял на моей еврейской национальности. Меня одного направили по направлению к выходу из лагеря, через который увели раньше всех евреев. При подходе к воротам лагеря, за которыми евреев с трудом втискивали в переполненные большие, крытые брезентом немецкие машины, меня встретил стоящий на посту у ворот немец, которому я предъявил описанный выше “документ”. Вид у меня был жалкий, я отлично понимал, что еще несколько минут — и меня увезут на расстрел вместе с теми евреями, которые уже сидели и стояли в машинах. Однако случилось непредвиденное. Немец сильно ударил меня ногой под зад и сказал мне по-немецки, что я подохну и так, как умирали в лагере тысячи советских во-*

еннопленных разных национальностей: от голода, холода, болезней, избиений, издевательств и т.д.»

В Митавском лагере, где и дальше систематически выявляли и уничтожали евреев, Вигдоров пробыл еще долго — до июля 1944 года. Большую часть времени он провел в госпитале — из-за раненых ног и из-за болезней: сначала — сыпного тифа, а потом и туберкулеза (после сыпняка он работал санитаром в туберкулезном отделении, где и заразился)¹.

Врачу обязан своей жизнью и Давид Львович Каутов. Он родился 14 августа 1920 года в г. Новоржеве Псковской обл., в семье рабочего-жестянщика. В декабре 1939 года был призван в армию, служил на Украине, с 1940 года — в Котовске Одесской области. С начала войны — на фронте, минометчик. С боями отступали от р. Прут. 26 сентября 1941 года был ранен, лечился в госпиталях Ростова и Ессентуков, выписался в ноябре. В ночь на 1 ноября 1942 года вместе с десантом высадился на Керченском полуострове. 15 мая того же года немцы начали контрнаступление, и 19 мая Каутов был ранен и отправлен в госпиталь, находившийся на берегу моря, назавтра, 20 мая, захваченный немцами. Стоячих

¹ В Митавском лагере и далее систематически выявляли и уничтожали евреев. Вигдоров тем не менее пробыл в нем еще продолжительное время — до июля 1944 года. Большую часть времени он провел в госпитале — из-за раненых ног и из-за болезней: сначала — сыпного тифа, а потом и туберкулеза (после сыпняка он работал санитаром в туберкулезном отделении, где и заразился). См.: Вигдоров, 2005. С. 304—305. В 1944 лагерь эвакуировали в рейх, и Вигдоров попал в Висбаден-Бибрих, где работал на кирпичном заводе *Didier-Werke*. Освобожден был 28.03.1945 в Аллендорфе-на-Лунде, находился в лагере для перемещенных лиц в г. Гиссен, и уже в июне был переведен в Магдебург, откуда вновь призван в армию (16-й запасной полк), а затем в 10-м отдельном рабочем батальоне — работал чернорабочим в тресте «Копейскуголь», прошел фильтрацию при Копейском горотделении НКВД. На родину вернулся 29.08.1945. В сентябре 1946 был восстановлен (по суду) студентом ЛТИ им. Ленсовета, проходил повторную фильтрацию в Управлении НКВД г. Ленинграда и области. В аспирантуру поступил с 3-й попытки и в порядке исключения — за выполнение архисложного задания в г. Березники.

больных построили, и немецкий офицер через переводчика объявил, чтобы комиссары и евреи вышли из строя. Каутов остался в строю (накануне он уничтожил все документы, а также письма из дома). Отобранных евреев увели, а остальных — пешей колонной отконвоировали в Джанкой, где был огромный лагерь около железной дороги: внутри было огороженное колючей проволокой пространство, куда определяли всех евреев. В Джанкое Каутов провел всего одни сутки (кормили один раз похлебкой из брюквы, без хлеба — наливали в котелки или пилотки).

В товарных вагонах его вместе с остальными привезли в лагерь в Кривой Рог. Здесь он провел всего несколько дней: отсюда его отправили работать в г. Марганец на шахту по добыче марганца. В лагере, помещавшемся в школе, огороженной колючей проволокой и с вышками, командовали немец-комендант и полицаи-украинцы, ходившие по лагерю с плетками, в концы которых было заделано что-то тяжелое. За малейшую провинность избивали до полусмерти. На работу водили под конвоем: собаки с немцами. Чтобы по дороге не убегали и не забегали в кукурузу, немцы придумали «переносную клетку»: из толстой проволоки сварили прямоугольной формы фигуру, клали ее на землю и приказывали крайним поднять клетку и держать ее — все оказывались как в загоне.

В лагере Каутов заболел сыпняком. Приезжали эмиссары от Власова, но в РОА записалось всего 1—2 человека. Несколько раз приезжали немцы искать евреев: *«Нас строили по рядам. Он проходил, подавалась команда: спустить брюки — и он смотрел. Наверное, был специалист по этому делу. Я всегда маскировался и вставал рядом с узбеками и татарами. Вот мне и подвезло»*. В Марганце Каутов пробыл до марта 1943 г. Потом перевели в г. Брицк в Чехословакии, работали в карьере те же самые 12 часов (передвигали рельсы для экскаватора, очень тяжелый труд).

Еще в лагере в Кривом Роге Каутов благополучно прошел регистрацию и медицинскую комиссию, став при этом Григорьевым Владимиром Петровичем, русским (сам псевдоним он взял «с потолка»). Русский доктор из медицинской комиссии, разумеется, все видел и все понял, но пожалел его — ничего не сказал и велел одеваться.

Также медперсоналу обязан жизнью и Иосиф Самойлович Кубланов, курсант офицерской школы. 15 августа 1941 года, по возвращении с задания в штаб, он, по приказу офицеров, присоединился к колонне: наутро офицеры сбежали, а солдат выдали немцам местные жители. Он закопал свой кандидатский партбилет. Пленных повели пешком в Борисов: в тех, кто выходил или выбегал из строя (на полях была картошка), стреляли из автоматов. Из Борисова увезли в Могилев, а оттуда в Алитус в Литве. Там Кубланов и проходил регистрацию, назвавшись Чугуновым Александром Васильевичем. В октябре он заболел, и в медсанчасти он встретил знакомого фельдшера: в лагере в это время шла селекция, но тот устроил его в палату с тифозными, куда немцы боялись заходить. Там он и остался позднее — санитаром тифозной палаты (до августа 1942 года). В августе Кубланов-Чугунов как ослабленный был направлен на работы к крестьянину Балюкасу, где прожил до декабря. Оттуда его перевели в Таллин, и он проработал забойщиком на сланцевой шахте в Кевииоли до 18 октября 1944 года. После чего их отправили в Рейх: сначала — в Данциг, а потом в Ашерслебен (работа грузчиком на сахарном заводе, по 10—12 часов в день) и Магдебург (работа грузчиком на заводе «Вольф»).

Иногда выручало элементарное землячество: так, москвичка Эммануила Николаевича Сосина (он же Михаил Николаевич Зарин) спасло то, что в лагере Ковно, куда он попал, один главный полицай оказался его земляком, москвичом с Мещанской улицы, — он-то и сорвал с него желтую звезду (сзади) и «отправил» в Германию¹.

¹ Личное сообщение, 2004.

Младший лейтенант Борис Ильич Беликов, 39-летний еврей из Ялты, попал в плен под Харьковом, но не со своей частью, а с госпиталем, где лежал. Отчество он изменил на «Иванович», но спасение его было в том, что ни в сборном лагере в Чугуеве, ни в офицерском лагере во Владимире-Волынском, ни в арбайтскомандо под Кельце — он ни разу он не встретил знакомых. Два самых страшных его воспоминания: первое — когда в лагерь поступили новички (не дай бог кто из них знакомый!), второе — когда медосмотр и помывка в бане (он всегда старался проскочить в гуще людей и как можно скорей намылиться). Однажды ему слышалось, что кто-то обратился к нему не «Боря», а «Борух», и он бежал. Попал к партизанам из Армии Крайовой, а потом к своим¹.

На волосок от гибели — как в России, так и в Голландии — прошел плен и студент истфака и ополченец (впоследствии профессор истории Ростовского университета) Герман Бауман².

Михаил Меламед, военврач 192-й пехотной дивизии, попал в плен в сентябре 1941 года под Кировоградом. В лагере возле Винницы он объявил себя татаринном. В июле 1942 года, после перевода в лагерь в Житомире, а именно в июле 1942 года, бежал, был снова пойман, отправлен в лагерь в Гомель, откуда снова бежал и примкнул к 27-й партизанской бригаде им. Кирова³. К партизанам — из бригады генерала Бегмы — в конечном счете попал и младший лейтенант Александр Абугов, взятый в плен в августе 1941 года.

¹ Записано с его слов в 1997 в Бад-Киссингене (Германия).

² Бауман, 1991. Еще один случай: Давид Яковлевич Гелевский жил и работал под вымышленной фамилией Иван Андреевич Пустовой, что само по себе стало препятствием для получения им гуманитарного урегулирования из Германии (см.: Букалов, 1996. С. 157).

³ Krakowski, 1992. P. 228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives YVA, 03/4018.

Он перебивал во множестве лагерей для военнопленных — Умань, Винница (здесь, по его свидетельству, были расстреляны сотни евреев), Шепетовка, Брест-Литовск, Кобрин и Ковель (откуда он и бежал)¹.

А Исаака Евсеевича Азаркевича, уроженца Одессы (1921) и жителя Бруклина, судьба пленника довела до Норвегии². Вот, вкратце, его поразительная «одиссея».

В плен он попал 11 октября 1941 года в районе ст. Жуковка на Центральном фронте вместе с 11 бойцами своего взвода. Несмотря на уважение к себе солдат, он сразу же оценил опасность ситуации и постарался затеряться в многотысячной колонне пленных. Их пригнали в лагерь в Жиздру в 75 км от Брянска: 30—40 тыс. чел. на большой, без строений, территории — гектара, наверное, в два, огороженной колючкой в 2—3 ряда, по углам вышки со стрелками. Болото, грязь. Кормить практически не кормили: на всех одна-единственная русская полевая кухня и немытая вареная картошка. От голода и холода умирали сотнями. На 20-й день, найдя случайно вход в бывшее овощехранилище, выходящее за пределы лагеря, Азаркевич сбежал. Но через 15 дней был пойман и помещен в другой лагерь — в Болхове («маленький», всего на 1500 чел.). Здесь он провел шесть месяцев, тут же и придумал себе «биографию»: стал Коршуновым Сергеем Григорьевичем (отца, Евсея, всю жизнь называли Гриша, да и мать была Берта Григорьевна), родом якобы из Царицына Московской области, где он и в самом деле прожил с 1923 по 1930 год. Знакомых в этом лагере не было, внешне он на еврея не был похож, разговорная речь чистая, русская, без акцента, в баню в лагере не водили.

Всю зиму и начало весны лагерь перебрасывали с места на место — из Болхова в Карачев, затем Мценск, Белев, Кол-

¹ Krakowski, 1992. P. 228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives YVA, Testimony Abugov.

² Якова Самойловича Кагаловского судьба, проведя по 16 лагерями, к концу войны привела во Францию.

кна, Плавск, район Черни. По 12—14 часов в день работали на расчистке снега и благоустройству шоссеиных и железных дорог. Кормили отвратительно, многие умирали, слабых пристреливали. Но Коршунов-Азаркевич был молод и закален.

В мае 1942 года погрузили в вагоны и повезли на запад. Под Гомелем эшелон остановился на opravку: в кустах Азаркевич увидел трубу под полотном и спрятался в ней — немцы, видимо, хватились его и, выпустив по кустам очередь, уехали. Так он еще раз бежал, причем в армейской форме.

В лесу он набрел на дереvушку, без немцев. У бабки из крайней избы прожил две недели, переделся в гражданское. Он пошел на восток, по 25—30 км в день, обходя большие деревни и города, при этом не прятался, а держался смело, как местный житель. Намереваясь дойти до самой Одессы, где до войны жили его родители, он прошел всю Белоруссию и даже Украину — его маршрут пролегал через Алчевск, Луганск, Горловку, Сталино, Пятихатки, Никополь (здесь ему пришлось штыком убить немецкого солдата), Николаев. От Николаева на Одессу была короткая дорога с понтонным мостом через Буг. Прикинувшись немецким колонистом, он пересек и мост.

И вот в конце октября 1943 года — со стороны Пересыпи и Ярмочного рынка — он пришел в Одессу! Подошел к своему дому, но побоялся входить. Его «разгадал» извозчик, вывез из города, и он снова пошел — на Рыбницу. Там его с криком «лови жида!» начали ловить, но он вскочил в товарный вагон, который довез его до ст. Жеребовка. До зимы прожил на хуторе в Головановском районе за Ольшанкой, а когда в январе 1944 года он оттуда уходил, его накрыли и схватили кубанские казаки — и привезли на санях в Головановку, а оттуда в Уманскую тюрьму. Он сказался военнопленным, и его направили — пешком — в Первомайский лагерь, а оттуда — на 3-й день — в г. Балту (деревня, как он помнит, Паццели).

В Балте он видел еврейское гетто — зрелище, которое его потрясло. После купания в замерзшей реке он заболел — сыпняком. Лечил его камфарой и валерьяной врач-еврей, американский подданный. В конце февраля колонной в 2000 чел. их отправили на запад пешком — через Украину, Молдавию, Румынию и Трансильванию — в сторону Венгрии. Спали на земле, питались кониной. Ослабевших пристреливали. Особенно тяжело было в Карпатах. До Венгрии добрело всего 800 чел. Отсюда на поезде через Будапешт (там он видел девушек-евреек в черных юбках и белых блузках с нашитыми магиндовидами) и Вену — под Штутгарт (начало мая 1944).

В лагере были пленные всех национальностей, каждая — в отдельной зоне. Впервые за полгода побывал в бане, одежду прожаривали. Фамилию изменил еще раз и стал Кулагиным Сергеем Григорьевичем, но с теми же биографическими данными, что и Коршунов. В шталаге, где ему присвоили номер 125750, он провел 4 месяца: сельхозработы и работы на железной дороге. В сентябре 1944 года в лагере отобрали одних только русских и отправили морем из Гамбурга в Тронхайм в Норвегии, где он и пробыл до конца войны. Работа была каторжная — в две смены по 12 часов в день: строительство железнодорожных тоннелей в скалах¹. Кормежка — всего 240 г хлеба с добавками, баланда из брюквы и трески. Под конец все еле передвигались, доходили. Освободили их союзники 15 мая и передали в СССР².

Впрочем, была и еще одна необычная траектория судьбы советского военнопленного-еврея — попадание в гетто: своего рода «польский вариант». Александр Иосифович Шпильман из Харькова попал в плен и, будучи обрезанным,

¹ Бурение всухую двухметровыми бурами, от скальной пыли невозможно было дышать; расчистка тоннелей после проходческих взрывов — грузить щебень на вагонетки, большие глыбы разбивать.

² Первым с ними связался шведский Красный Крест: лекарства, питание. До августа они окрепли, поправились, их одели в английскую форму.

был разоблачен как еврей в Каунасском (Ковненском) шталаге. Однако его не убили, а перевели в Минск, причем не в знаменитый Минский шталаг, а в Минское гетто — то самое, куда депортировали и немецких евреев. Оттуда ему удалось бежать, а потом, в порядке продолжения чуда, прибиться к партизанам и даже уцелеть¹.

Не менее поразителен случай окруженца Александра Владимировича Шламовича, до войны работавшего бухгалтером-ревизором Смоленского торгового управления и сталкиваясь в то время, по делам службы, с адвокатом Б.Г. Меньшагиным. Меньшагина немцы назначили на должность бургомистра (начальника) Смоленска. Пробравшись в Смоленск и придя к Меньшагину на прием, Шламович попросил дать ему документ, указав в нем в графе «национальность» — русский. Далее, по Меньшагину, произошло следующее: *«Я сходил в паспортный отдел, порылся в архиве учетных карточек довоенного адресного бюро, вытащил из него несколько, в том числе и карточку Шламовича; потом я эту карточку незаметно положил в карман, а остальные отдал зав. адресным бюро Грибоедовой. После этого я выдал Шламовичу документ как русскому, а старую карточку уничтожил. Шламовича я больше никогда не видел, но слышал, что он работал у немцев на железной дороге. Во время следствия по моему делу осенью 1945 г. упоминавшийся уже майор Б.А. Беляев спрашивал меня, помнил ли я Шламовича и знал ли я, что он еврей. На мой утвердительный ответ он спросил, почему же я дал ему удостоверение, что он русский, какие задания я ему давал. Я объяснил, что причина понятна — избежать немецких преследований, заданий же никаких не давал и самого Шламовича больше не видел. Беляев пожимал плечами, удивляясь, что я рисковал собой при обнаружении подделки и, без всяких выгод для себя, дал*

¹ Запись в архиве автора. К сожалению, попытки восстановить источник записи пока ни к чему не привели.

Шламовичу этот документ. Он так, видимо, и не мог понять того, что добро людям можно делать, не преследуя при этом каких-либо личных выгод, что оно само по себе приносит награду делающему в виде большого нравственного удовлетворения»¹.

Другой — и нередкой — траекторией был побег, причем побег, естественно, были эффективнее и чаще на востоке, нежели в самом Рейхе. В случае успеха он мог завершиться не только у партизан, но и, скажем, в... той же Германии, но уже в совершенно ином — гражданском — статусе.

Именно такова еврейская судьба Виктора (Самуила) Ефимовича Кацперовского, 18-летнего уроженца Мелитополя. В армии он был командиром минометного взвода при кавалерийском полку (Изюм—Барвенковское направление). Летом 1941 года попал в плен, и как обрезанный еврей шансы свои на выживание оценивал не очень высоко. Тем не менее он боролся за жизнь и, проведя в плену 1041 день, — победил. В плену он скрыл и офицерство, и имя, назвав себя Виктором Андреевичем Карасевым из Ижевска. Непосредственно перед пленением он спорол кубики с петлиц² и присыпал в окопе документы землей: документы, видимо, нашли, потому что на перекличке в сборном лагере, где находилось несколько десятков тысяч военнопленных, выкрикнули и его подлинное имя. Он вздрогнул, но лежавший рядом с ним старшина Попов надавил своей рукой на его руку, и он не отозвался. Не выдали и бойцы из своего взвода, которым он, не задумываясь над последствиями, поведал об этом на одной из бесед сам. Перебывав в нескольких дулагах (Барвенково, Никитовка, Константиновка, Дружковка), Карасев-Кацперовский бежал с напарником из Дружковки в феврале 1943 года, но в ту же ночь их поймала полевая жандармерия и, сочтя за

¹ *Меньшагин Б.Г.* Воспоминания о пережитом. 1941—1943 гг. (Неопубликованная рукопись).

² Так называемая «спорка» (см.: Соколов, 2000. С. 39—40).

партизан, едва не расстреляла. В октябре того же года — новый побег (из лагеря в Михайловке, в 30 км от Кривого Рога). Прятались на хуторе Корниловка, но назавтра там появилась полевая жандармерия, и все мужское население согнали в большой сарай для того, чтобы через день отправить через Вознесенск в Германию. Судьба явно благоволила к нему, потому что дважды он благополучно прошел медицинский осмотр — в Польше (в Перемышле) и в Дрездене!¹ Колоссальную опасность представляла для него и работа, которую ему дали, — литейный цех чугунолитейного завода в г. Фрейталь около Дрездена. Не говоря уже о тяжести самого труда в литейке, — но чем же нехорошо столь горячее производство именно для еврея?! А тем, что каждый день после работы приходилось идти в общую душевую, — а что может быть для еврея опасней?..

Немало военнопленных, — а чаще всего даже не военнопленных, а окруженцев, — еще на родине расставались с формой и выдавали себя за гражданских, в каком-то качестве и попадали в Германию — остарбайтерами². Среди таких, естественно, обнаруживались и евреи, в частности, Алексей Иосифович Цирюльников, родившийся в 1921 году в Ленинграде. В сентябре 1940 года его призвали в армию, на западную границу, и начало войны он встретил на бронепоезде в районе г. Станислава. Попав в окружение, пошел на восток пешком, его догнали румыны — отпустили, потом не попали в стогу штыками немцы. Свою форму он обменял на гражданскую одежду, но ночевать его никто не брал. И так дошел он почти до Проскурова, где в середине октября все-таки попал в плен.

«Большевики и евреи, вперед!» — двое вышли, и их тут же расстреляли. А остальных погнали в деревню, на ст. Ермолинцы (ночлег в пакгаузе, потом несколько дней грузили

¹ Письмо автору, 2002.

² Ряд таких случаев описывает и А. Шнеер (2003. С. 185—196).

ящики с продуктами). Потом пешком погнали в Проскуров, лагерь в конюшне. На регистрации он взял имя своего воронежского друга — Алексея Меняйлова. Работали на строительстве дороги, а сам он на аэродроме ухаживал за лошадьми. Овсяное питание его и спасло. Недели через две в лагере начался тиф — голодно, холодно, трупы под навесом, — оттуда в овраг. В ноябре, в снег, бежали под видом трупов — но поймали полицаи и отвели, — но не в лагерь (там беглых расстреливали), а в полицию. Оттуда — вместе с гражданскими — его отправили в Германию и, через транзитный лагерь под Брестом, привезли в Австрию, в район Линца. Там его и зарегистрировали как остарбайтера. Там он провел всю войну, на строительстве азотного завода и на металлургическом заводе Герман-Геринг-Верке, побывал и в штрафлагерях¹. Но он все же не был расстрелян. Его спасло до известной степени и то, что на остарбайтеров в Рейхе боевой приказ № 9 Гейдриха, разумеется, не распространялся, и как гражданского его не подвергали селекции.

Еще причудливее судьба Леонида Котляра — еще одного военнопленного («пленяги», как он выражается) и остоваца в одном лице². Разумеется, и среди миллионов гражданских остовацев и остовок тоже были свои потасенные евреи и еврейки, спасающиеся в самом логове своих палачей — в Германии. Контингенты угнанных формировались по географическому признаку и не перемешивались так сильно, как у военнопленных. Поэтому риск быть разоблаченными не отпускал их и в Германии, так что страха и драматизма их исковерканным судьбам не занимать.

¹ Освободили их американцы и передали советской миссии. В сборном репатриационном пункте Цирюльников поработал месяца 2—3. Потом — проверочный пункт, две недели фильтрации, там он и заявил о своей фамилии. Снова его мобилизовали, и в Пуркендорфе под Венной он служил еще год. Летом 1946 его перевели в Венгрию, потом в Румынию и Молдавию, где он и демобилизовался.

² См. во вступительной статье к настоящему изданию.

Впрочем, не занимать драматизма и историям тех гражданских евреев, что еще на родине сумели выдать себя за «остарбайтеров» и спасались в той же Германии.

Так, из-за болезни отца вся семья Али Кудрявацкой¹ осталась в оккупации и сполна испытала на себе все прелести и национальной, и трудовой политики нацизма. В письме, приложенном к анкете общества «Мемориал», она так описывает свою судьбу:

«...Рядовые солдаты относились неплохо. Но вскоре пришли головорезы СС. Вот здесь и начались наши муки. У кого что было, должны были все отдать. Теплую одежду, обувь, приемники — в общем, все... И вот однажды велели всей молодежи (еврейской) собраться на рынке. Там большая площадь. Выстроили по группам. Мужчин погрузили на машину и увезли, после не возвратились. Девушек и подростков по одной били палками. Я тоже испытала. Один опустит палки, другой подымет. Так били до бессознания и бросали. После, когда побили всех, выпустили на площадь и дали команду бежать, а вслед выстрелы. После этого вскоре, т.е. в конце лета 1941 года, стали евреев сгонять в гетто. Туда попали мои родители и младший брат, а я и брат, еще три девушки и один парень бежали. Бежали куда глаза глядят. Так мы шли и дошли до Кричева. Нас задержали немцы. Думали, что партизаны. Поддержали, допрашивали, и тут я выдала себя за Дмитриеву Валю. Брата забрали в лагерь, а нас, девочек, отпустили. Так я брата и не видела и не знала, что и как он. Только после войны встретились. А меня взяла к себе одна женщина. Я пошла с ней. Не помню точно, как называлась деревня, Красное или как — не помню. И вот по ночам к ней приходили люди, а я боялась всего на свете, взяла, да и ушла от нее. А уже глубокая осень. Холод и голод, и сказать боишься, кто ты и откуда. Так я пришла в деревню Кокотово Могилевской области Мстиславский

¹ Она же — Александра Соломоновна Суровская, родилась в 1926 в г. Мстиславле Могилевской области; после войны переселилась в Москву.

район, и взяли меня к себе две женщины. Мать и дочь, и у дочери был сын трех лет. Так я жила у них до лета 43 года. А в 43 г. угнали в Германию, вы не представляете, сколько горя и страха я пережила. Перед тем как увозить, нас собрали в сельсовете и увезли в г. Мстиславль, где я жила, и рядом с моим домом оставили на ночлег. В комиссии была врач Борисевич (с ее сыном я училась), но никто меня не узнал или делали вид, и потом нас увезли на станцию (Ходосы, кажется), в товарные вагоны погрузили. Таким образом оказалась в Германии. Но видно, есть Бог на свете. В перевалочном пункте долго не держали, и я попала к хозяину. Работали на полях и дома. Он, хозяин, дома не был, работал в какой-то партии, кажется «СС». Кормили удовлетворительно. Так я осталась в живых и под страхом, как бы не выдать себя»¹.

Киевлянке Норе Идзиковской достаточно было скрыть происхождение только матери: ее отец был поляком. А мать? Не только среди немцев, но и среди «своих» всегда находились охотники или охотницы вывести ее как «жидовку» на чистую воду. После одного из разоблачений она бежала из рабочего лагеря, была поймана и отправлена в Равенсбрюк².

Надо сказать, что в отдельных случаях еврейская национальность военнопленного не составляла никакой тайны для его товарищей по несчастью. Но его, тем не менее, никто не выдавал, и он «благополучно» дожидался вместе с ними освобождения. Так, Александр Малофеев пишет в своих «Воспоминаниях» о шталаге IX А (Цигенхайн): «Среди нас был и еврей Леонид Портнов из Одессы, которого все тща-

¹ Вот окончание ее письма: «В 46 г. я завербовалась в Ленинград на завод. Притеснения я не замечала, относились хорошо. В 1949 г. переехала в Москву. Здесь жили родственники и брат. Родные не разглашали, что я была в оккупации. Боялись и втайне от меня уничтожили все документы и фото. Извините, если я что не так написала. Очень трудно все ворошить. Всего доброго, дай Бог не знать всего этого, что мы пережили».

² См.: Idsikowskaja, 1995.

тельно охраняли от посягательств на его жизнь со стороны немцев»¹.

Интересно, что даже пребывание в плену, на территории врага, да еще под вымышленным именем, — не удерживало некоторых активистов из числа евреев-военнопленных от того, чтобы принимать участие или даже возглавить сопротивление врагу. Целый ряд таких примеров — отчасти имевших место в концлагерях — приведены в «Книге памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом»: Александр Печерский (в концлагере Собибор), Борис Гройсман (Владимир Моисеев), Михаил Зингер, М.П. Шихерт (Иосиф Харитонович Альбердовский), Иосиф Хонович Альперович, Исраэль Весельницкий, Александр Моисеевич Файнбра (Хамадан, или Михайлов) и др.². Подполковник Якоб Талес, взятый в плен в конце июня 1941 года, бежал из лагеря под Уманью и стал одним из руководителей сопротивления в Бершадском гетто и партизанского отряда³.

Вот несколько примеров, имевших место непосредственно в шталагах. Ярчайшие два — случаи Иосифа Фельдмана (Георгий Фесенко) и Макса Григорьевича Минца. Первый — батальонный комиссар, до войны — начальник отдела в днепропетровском управлении НКВД. Попал в плен под Уманью, но смог бежать. По заданию компартии записался на работы в Германию с целью организации сопротивления в Германии. И действительно, в марте 1943 года, в транзитном лагере в Мюнхене вместе с летчиком К. Озолиным Фельдман-Фесенко создал первую ячейку Братского союза военнопленных⁴. Второй — москвич, кадровый офицер, капитан разведки. В плен он попал под Киевом, а в Гер-

¹ Малофеев, 2010. С. 254.

² Марьяновский, Соболев, 1997. С. 30—31.

³ Krakowski, 1992. P. 228, со ссылкой на: Yad Vashem Archives YVA, 033C/959.

⁴ Андреев, 1999. Андреев А. Все круги ада. Советские военнопленные во Второй мировой войне // Независимая газета. 1999. 7 мая.

манию — зимой 1942 года. Член подпольного «комитета» в шталаге XI В Бад-Эрбке — о нем много говорится в воспоминаниях Д. Иванцова¹.

Как и в концентрационных лагерях, в сопротивлении нередко и эффективно участвовали врачи. Так, уже упоминавшийся Г. Губерман-Колокольцев (он же Н. Колокольцев), работавший в Германии врачом-рентгенологом в шталаге для туберкулезных, участвовал в его лагерном подполье. Для того чтобы спасти жизнь тем или иным пленным, которым грозила смерть, их сначала записывали туберкулезными больными, а потом списывали, как умерших, присваивая им имена людей, действительно умерших от туберкулеза². Имени шталага Губерман вспомнить не мог, но скорее всего, это — Цайтхайн. Если это так, то в эту же группу, по видимому, входил и Д.И. Додин, работавший там в лазаретной команде старшим фельдшером³.

Советские еврей-военнопленные оказались среди руководителей и участников восстаний и в двух из шести нацистских лагерей уничтожения — в Собиборе (14 октября 1943 года) и в Аушвице-Биркенау (7 октября 1944 года). В первом случае план выступления разработал (вместе с варшавским рабочим Лейтманом) и успешно осуществил лейтенант Александр Печерский, ростовчанин, прибывший в Собибор из Минского трудового лагеря СС. Во втором —

¹ См.: Иванцов, Дмитрий. Во власти безумия. Воспоминания. Новозыбков, Иванцов, 1980. С. 53, 57, 60. Напрямую автор не называет ни национальности Минца, ни обстоятельств, вызвавших появление его псевдонима, что связано, скорее всего, со временем, местом и датой выхода этих воспоминаний в свет (г. Новозыбков Брянской области, 1980).

² Эта деятельность в лагере помогла ему пройти через послевоенную фильтрацию без осложнений.

³ Видеointервью Фонду С. Спилберга от 04.05.1998. Он, в частности, оказывал помощь участникам побегов (обувью, задержкой доклада о побеге и т.п.). Во главе подпольной организации в этом шталаге стоял Степан Павлович Злобин, впоследствии описавший эту деятельность в романе «Пропавшие без вести» (1962).

аналогичную роль в выработке плана осуществлял, по некоторым сведениям, красноармеец-майор, в плен попавший под Сталинградом: он был одним из 19 советских военнопленных из «зондеркомандо» лагеря смерти Майданек, переведенных в Биркенау в апреле 1944 года — его имя не установлено¹.

СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ-ЕВРЕИ В ФИНСКОМ И РУМЫНСКОМ ПЛЕНУ

Среди союзников Третьего рейха по коалиции стран, обьивших войну СССР, совершенно особое место занимают Румыния и Финляндия. Только эти два государства имели на территории СССР «свои» оккупационные зоны, и только они вывозили на свою территорию и использовали принудительный труд советских военнопленных и гражданских лиц.

Финляндия, оккупировав Восточную Карелию, действовала на оккупированной территории как в военном, так и в военно-гражданском отношениях, самостоятельно и независимо от своих немецких союзников. В то же время союзнические отношения Румынии с Германией во время Второй мировой войны носили совершенно другой характер и определялись тесной скоординированностью, а точнее — соподчиненностью. Румыния выступала как типичный младший союзник, или сателлит, согласовывавший с Берлином практически каждый свой шаг как в румынской оккупационной зоне (Транснистрия), так и в самой Румынии. В полной мере это относилось и к содержанию и трудовому использованию советских военнопленных, а также к принудительному труду мирных советских граждан на территории Румынии.

Во всех оперативных вопросах военного партнерства с Румынией немецкое доминирование было совершенно очевидным. За исключением битвы за Одессу, продолжавшейся

¹ Подробнее см. в главах «Чернорабочие смерти: “зондеркомандо” в Аушвице-Биркенау» и «Возвращение в тему: Россия и историографические парадоксы глобального исследования Холокоста» в настоящем издании.

до середины октября, когда румынские войска вели самостоятельную наступательную операцию, они были полностью интегрированы в немецкие вооруженные силы (например, в Крыму или на Сталинградском направлении).

Планом «Барбаросса» предусматривалось следующее распределение зон ответственности за взятых в плен красноармейцев: за территорию Рейха и Генерал-губернаторство отвечала ОКВ, а за оперативную зону в СССР и Румынию — ОКХ, представленная в Румынии Германской миссией сухопутных войск (*Deutsche Heeresmission Rumänien*). Заметьте, не союзная румынская армия, а связующий ее с вермахтом немецкий орган¹.

Так оно было и на самом деле. Вопросы о судьбе красноармейцев, взятых в плен на востоке общими усилиями вермахта и румынской армии или усилиями одной только румынской армии, решались не в Бухаресте, а в Берлине.

Территории, оккупированные немецкими и румынскими войсками, составили впоследствии три губернаторства, из которых два (аннексированные в 1940 году СССР) были присоединены к Румынии — Бессарабия и Северная Буковина, а третье — Транснистрия со столицей в Одессе² — было передано под румынский протекторат по Тираспольскому договору от 30 августа 1941 года (это было своеобразной компенсацией Румынии за большую часть Трансильвании, которую ей пришлось уступить в 1940 году Венгрии).

В вопросах гражданского управления подконтрольными оккупированными территориями, особенно в вопросах религии, образования и культуры, румынская политика была более самостоятельной, чем в военной сфере (так, единственный открытый университет на всей оккупированной Украине находился в Одессе).

¹ См.: Jacobsen, 1965, Dok. 23. S.198.

² Во главе гражданской администрации в Одессе был поставлен профессор Георги Александру.

Заслуживает упоминания и «самостоятельность» Румынии, как это ни удивительно, в вопросах геноцида евреев. Быть может, еще более жестокая и беспощадная по отношению к евреям на первом этапе войны (примерно до Московского контрнаступления Красной Армии), позднее политика Румынии стала несравнимо мягче. С начала 1942 года уничтожение евреев в румынской оккупационной зоне фактически прекратилось. Можно уверенно сказать, что шансы евреев на выживание в зоне румынского гражданского управления были гораздо выше, чем в оперативной зоне вермахта или в Рейхскомиссариате Украина: здесь уцелело и дождалось освобождения заметное большинство всех евреев на территории послевоенного СССР, избежавших ликвидации¹.

Согласно энциклопедическому словарю «Румынская армия во Второй мировой войне (1941—1945)», выпущенному в Бухаресте в 1999 году², за период между 22 июня 1941 и 22 августа 1944 года, т.е. за время боевых действий между советской и румынской армиями, румыны взяли в плен 91 060 советских военнослужащих³.

Военнопленные поступали из зоны действия румынской армии, в частности, 21 тыс. чел. прибыла из Транснистрии и 19 тыс. — из Крыма. Около 2 тыс. военнопленных было на судне, потопленном советской подлодкой в районе Бургаса, и лишь 170 из них спаслись.

Из 91 060 советских военнопленных 13 682 чел. было отпущено из плена (румыны, — а скорее всего, румыны и молдаване — из Северной Буковины и Бесарабии; немцы-фольксдойче передавались немецкой стороне и скорее всего, не регистрировались), 82 057 доставлено в Румынию, 3331 бежало и 5223 (или 5,7 %) умерло в лагерях. Это несоизмеримо малая величина по сравнению со смертностью со-

¹ Альтман, 2002.

² Dutu, Dobre, Loghin, 1999. P. 329—341. Сведения без указания источника в данном подразделе восходят к этой публикации.

³ Для сравнения: англо-американских пленников было 1100 чел.

ветских военнопленных в финском и, особенно, в немецком плену.

Для советских военнопленных было создано 12 лагерей, из них два лагеря находились вне Румынии — в Тирасполе и Одессе. В самой Румынии находилось, по утверждению румынских историков, 10 лагерей, однако перечень лагерей, хотя бы раз упоминаемых в их тексте, несколько превосходит это число. Это: Слободзия (Slobodzija), Владень (Vladeni), Брашов, Абаджеш, Корбень, Карагунешт, Дева + Индепенденца, Ковулуй + Майя, Васлуй, Дорнешти, Радоуть, Будешти, Фельдиора, Боград и Ригнет(?)¹.

Отвечала за военнопленных Das Kommando der Streitkräfte für Innere Verteidigung под командованием генерала Харитана Драгомиреску. Охранялись лагеря румынской жандармерией численным составом, по состоянию на 1 августа 1942 года, в 4210 чел. (216 офицеров, 197 унтер-офицеров и 3797 солдат).

Условия жизни в лагерях, в соответствии с международным правом, существенно различались для офицеров и солдат: первые жили в каменных домах, вторые — в деревянных бараках, а осенью 1941 года — частично и на земле, под открытым небом (печи для бараков получили только в 1942 году). В медицинском отношении лагеря для советских военнопленных обслуживало более 150 врачей — 6 румынских, 66 еврейских и 85 советских.

Из 5223 умерших — всего лишь 55 офицеров и 6 младших офицеров. Остальные — солдаты, причем больше

¹ Небольшая коллекция, посвященная советским военнопленным в Румынии, имеется в РГВА. Это фонд 1512 «Румынские концлагеря для советских военнопленных», состоящий из одной описи и 40 единиц хранения. Материалы, датированные временем с 1941 по 1944, охватывают следующие 12 номерных румынских «шталагов», но и их список все же несколько отличается от сети, описанной румынскими историками: № 1. Слободзия—Ялоница; № 2. Фельдиора—Брашов; № 3. Галац (лагерь «Индепенденца», или «Независимость»); № 4. Васлуй; № 5. Тирасполь (Бессарабия); № 6. Дорнешты; № 7. Бельун (Бессарабия); № 8. Болград (Бессарабия); № 9. Вулкан; № 10. Александрия; № 11. Тирасполь (Бессарабия); № 12. Тимишоара.

всего умерло в Будешти (938 чел.), Вулкане (841), Васлуе (799) и Фельдоаре (738). Среди причин смертности — тиф (1100 чел.), несчастные случаи на работе (40 чел.), то же при побеге — 18 чел. Всего 12 чел. было расстреляно и 1 покончил с собой.

О том, какой ад на самом деле стоит за «лидерством» по смертности лагеря в Будешти, рассказал один из его узников — Дм. Левинский. Плененный в июле 1941 года под Березовкой немцами, он был доставлен в сборный пункт под Кишиневом, оттуда, в августе, в Яссы, а в октябре — в пересыльный лагерь в Будешти (сначала в карантин, а потом в основной лагерь), причем во всех трех случаях лагеря охранялись немцами¹.

«Сущность понятия “пересыльный” лагерь мы быстро поняли: здесь нас никто не избивал и, тем более, специально не убивал, но невероятные условия, которые ожидали нас, вызвали зимой 1941—1942 года большую смертность среди военнопленных, что позволило приравнять этот лагерь к “лагерям уничтожения врагов Третьего рейха”. С такими местами многим из нас тоже предстояло познакомиться. А в этом лагере все было предельно просто: тебя не убьют — ты умрешь сам. Если выживешь — твое счастье, а если нет — таков твой рок. Изменить эти условия мы не могли.

Первое время, около месяца, нас держали в “карантине”: в огромном высоком бараке без окон и дверей. Похоже, что это помещение использовалось ранее для хранения сена или соломы. Снаружи барак опоясывала колючая проволока. Нами никто не “управлял”, мы были никому не нужны

¹ См.: Левинский, 2005. Это обстоятельство, равно как и отсутствие большого лагеря Будешти в официальном перечне румынских лагерей, а также то обстоятельство, что в январе-феврале 1942 всех уцелевших к этому времени начали спешно вывозить из Будешти в Австрию, т.е. в Рейх, заставляет задуматься, а не являлся ли этот лагерь частью не румынской, а немецкой транзитной инфраструктуры для военнопленных, даром что на румынской территории?

и могли всласть валяться на земле и балагурить. Но вскоре жизнь в бараке сделалась пыткой.

Наступил ноябрь, а с ним пришли холода. Эта зима обещала быть морозной даже на самом юге Румынии. Барак насквозь продувался — ворот не было. Внутри барака сперва образовались ледяные сосульки, а затем и настоящие айсберги. Холод стал вторым врагом после голода. Согреться можно было только прыганьем, но на это не хватало сил — мы постепенно превращались в дистрофиков. Рацион ухудшался и уменьшался с каждым днем. У многих появились желудочно-кишечные заболевания. Другим грозил конец от воспаления легких. Развились фурункулез, сыпь, различные флегмоны, кровавый понос, чахотка — все не перечислить. С наступлением морозов начались обморожения конечностей. Как ни странно, но косившую всех смерть большинство встретило спокойно, как должное: не надо было попадать сюда!

В середине ноября, когда нас становилось все меньше и меньше и жить из-за наступивших морозов стало совсем невозможно, нас перевели в основной лагерь, посчитав, что карантин свое дело сделал...

Баракы в основном лагере были деревянными, одноэтажными, небольшими. В них обычно размещалось не более 200 человек, но с каждым днем живых становилось все меньше. На дощатом полу лежали стружки и опилки, на которых мы спали. На день полагалось эти стружки сгребать в угол, чтобы не ходить ногами “по кровати”.

Узнали еще одного врага — тифозную вошь. Это было ужасно: за короткое время противные твари расплодилось в таком количестве, что куча стружек в углу барака шевелилась. Создавалось впечатление, что в куче больше вшей, чем стружек. За ночь мы помногу раз вставали, выходили из барака на улицу, сдергивали с себя одежду и с остервенением вытряхивали кровососущих тварей на снег, но их

было столько, что сразу избавиться от них мы, естественно, не могли. Поэтому приступали ко второму этапу очищения: мы долго и настойчиво давили теперь тех, что попрятались в швах белья и одежды. Так продолжалось каждую ночь, но такую роскошь могли себе позволить не все, а только те, у кого еще оставались силы и не наступило полное безразличие ко всему с одним лишь ожиданием смерти-избавительницы. У тех, кто надеялся обеспечить себе спокойную ночь, на “вошебойку” полностью уходило дневное время.

Температура воздуха в бараках — уличная. Мы погибали от холода, а насекомые были настолько живучи, что казалось — они совсем не боятся мороза.

Это мы согревали их своим телом, отдавая последнее тепло.

К нам вплотную подобрался сыпной тиф. Уже метались люди в горячке, а мы не понимали, что это за болезнь. Думали — простуда или воспаление легких, или что-нибудь еще. По молодости лет мы не сталкивались с сыпным тифом...

Спали мы на полу, на стружках, вповалку рядами, тесно прижавшись друг к другу для тепла. Утром проснешься, а сосед уже “стучит” — за ночь умер и к утру окостенел. Каждую ночь смерть забирала чьи-нибудь жизни. Утром мы выносили тела умерших и складывали их в водосточной канаве, идущей вдоль барака. Там трупы копились в течение недели, высота таких “могил” достигала окон барака.

Трупы обычно раздевали — одежда нужна живым... Раз в неделю накопившиеся вдоль барачных тел мы должны были относить метров за 100 в сторону и укладывать рядами друг на друга в специально вырытые траншеи. Каждый ряд посыпался хлорной известью, а затем клали следующий ряд, и так продолжалось всю зиму...

А в общем, мы настолько привыкли к лежащим вокруг барачных обнаженным телам соотечественников, что пере-

таскивание трупов казалось рядовой работой, и конец всем ясен. К чему эмоции?»¹.

Уже одна эта цитата заставляет серьезно усомниться в полной достоверности декларированной и сравнительно благополучной 6-процентной смертности среди советских военнопленных в Румынии. «Подозрения» перерастают в уверенность после знакомства с некоторыми документами Красной Армии, освобождавшей Румынию.

Так, в «Акте о злодеяниях немецко-румынских фашистских захватчиков в лагере советских военнопленных (лагерь Фельдиора, уезда Брашовского, Румыния)» говорится о 1800 замученных и погибших военнопленных², что в 2,5 раза превышает официальную румынскую цифру (738 чел. — см. выше). Согласно этому документу, датированному 7—13 сентября 1944 года, комендантом лагеря был румын Иона Ницеску, а начальником карательной секции — немец, лейтенант Порграц. Охрану лагеря несла рота румынских жандармов в 120 чел., вооруженная винтовками и дубинками (на вышках по периметру лагеря, обнесенного колючей проволокой, стояли пулеметы). Умершие, замученные и убитые военнопленные сбрасывались в яму у шоссе на дороге Владени—Фадераш вблизи строительства тоннеля.

«За малейшее нарушение, — читаем в этом «Акте», — военнопленных наказывали “карцером” на 3—5 суток (карцер состоял из ящика наподобие шкафа площадью на одного человека с окошками), человек от изнурения выл как животное, каждый проходящий жандарм бил его палкой.

Бежавшие из лагеря задерживались, подвергались избиению, в одном случае одноразово по 40 дубинок по голому телу, в другом случае — по 15 дубинок в каждой секции (бараке. — П.П.), после чего заключались в сырой подвал на 20 суток, а впоследствии предавались суду и осуждались на

¹ Левинский, 2005.

² ЦАМО. Ф. 240. Оп. 2772. Д. 30. Л. 281—286 (цит. по фотокопии, хранящейся в USHMM).

каторжные работы или к расстрелу. Так, были избиты и преданы суду военнопленные Шейко, Губарев и другие...»

Советские военнопленные в Румынии активно привлекались к принудительному труду. В том же румынском источнике говорится о примерно 21 тыс. горных рабочих из их числа (ср. ниже со сведениями о гражданских рабочих). По состоянию на начало января 1943 года, работали 34 145 советских военнопленных, на начало сентября 1943 года — 15 098, а по состоянию на август 1944 года, когда в Румынию, по всей видимости, стали вывозить шталаги из Украины, — 41 791 чел., причем 28 092 из них работали в сельском хозяйстве, 6237 в промышленности, 2995 в лесоводстве, 1928 в строительстве и 290 на железных дорогах.

Об условиях их трудового использования повествует вышеупомянутый «Акт»:

«Советские военнопленные, раздетые, голодные, истощенные и больные, работали по 12—14 часов в сутки. Отстающие в работе подвергались избиению дубинками (палками). Советские люди работали на холоде без обуви и одежды, приспособляли себе обувь из соломы, для отепления тела под рубаху набирали солому. Жандарм, заметивший это, соломенную обувь отбирал, солому из рубахи вытряхивал, а военнопленного избивал дубинками... За невыход на работу больные военнопленные заключались в подвал на 10—20 суток без права выхода на воздух и выдачей 150 грамм хлеба и воды на сутки».

Особенным издевательствам подвергались евреи: они содержались отдельно, и над ними, как сказано в документе, «не было предела издевательств». Одного военнопленного — по фамилии Голва (или Голка) — администрация лагеря признала за еврея и утопила в уборной.

Таким образом, геноцидальные приказы Кейтеля и Гейдриха, направленные на выявление в массе военнопленных и немедленное уничтожение евреев, действовали и в зоне ответственности румынской армии, причем чуть ли не до самого конца ведения ею боевых действий.

И тем не менее, в отличие от Германии, Румыния отказывала советским военнопленным не во всех правах, вытекающих из международного статуса военнопленных. Лагерь для советских военнопленных пусть редко, но посещались представителями МКК¹. Так, 1 июля 1942 года лагеря № 4 Васлуй и № 5 Индепенденца посетил нунций монсеньор А.Касуло, посол Ватикана в Бухаресте и, по совместительству, представитель МКК, а 14 мая 1943 года делегация МКК из Женевы (Ed.Chaupissant, D.Rauss) посетила лагеря Бухарест, Майю, Калафат и Тимишоара. Не запрещалась им и почтовая переписка — правда, весьма ограниченная: представителям МКК было передано более 2000 открыток (правда, из них всего 200 открыток пришлось на период до 1 июля 1942 года). Начиная с 1943 года, стали выходить и специальные газеты для военнопленных: одна на русском и одна на армянском языках.

По состоянию на 23 августа 1944 года, в румынских лагерях оставалось 59 856 советских военнопленных, из них 57 062 солдат. Их национальный состав, согласно тому же источнику, выглядел следующим образом:

Таблица 1.

Национальный состав советских военнопленных в Румынии

Национальности	Чел.	%
Украинцы	25 533	45,7
Русские	17 833	31,9
Калмыки	2497	4,5
Узбеки	2039	3,6
Туркмены	1917	3,4
Грузины	1600	2,9
Казахи	1588	2,8
Армяне	1501	2,7

¹ О том, как начальство лагеря «Фельдиора» готовилось к таким посещениям, см. в упомянутом «Акте».

Национальности	Чел.	%
Татары	601	1,1
Евреи	293	0,5
Болгары	186	0,3
Осстины	150	0,2
Айсоры	117	0,2
Прочие	1	0,0
ИТОГО	55 856	100,0

Источник: Dutu, Dobre, Loghin, 1999.

Обращает на себя наличие в таблице военнопленных лиц еврейской национальности. Трудно сказать, основываются приводимые данные на материалах регистрации военнопленных или на их заявлениях после освобождения (скорее второе, чем первое).

Однако бросается в глаза, что вышеприведенная цифра количества советских военнопленных в Румынии накануне ее капитуляции (55 856 чел.) почти вдвое превышает число советских военнопленных, репатриированных из Румынии в СССР — 28 799 чел. (по состоянию на 1 марта 1946 года)¹.

В чем тут дело? Объяснение за счет невозвращенцев тут явно не работает, поскольку речь идет о территории, контролируемой СССР. По этой же причине отпадает и объяснение саморепатриацией, хотя некоторые военнопленные из числа жителей близлежащих молдавских районов и украинских областей, возможно, и предприняли такие попытки, благо специальной репатриационной службы и лагерной инфраструктуры на этот момент времени еще не существовало (она возникла только в октябре 1944 года). Скорее всего, часть пленных красноармейцев заново призвали в Красную Армию, а часть воспользовалась тем, что в их лагерях румыны содержали также и гражданских лиц, и объявили себя на советской регистрации не военнопленными, а гражданскими лицами.

¹ Полян, 2002. С. 489, со ссылкой на: ГАРФ. Ф. 9526. Оп. 3. Д. 53. Л. 175.

Кроме того, как выясняется, и сама румынская администрация практиковала официальный перевод советских военнопленных из статуса военнопленных в гражданский, чего после ноября 1941 года почти не делали немцы. Так, 1 марта 1944 года из плена было отпущено 9495 чел., в том числе 6070 румын из С. Буковины и Бесарабии и 1979 румын из Транснистрии, 205 немцев, 693 чел. с территории восточнее Буга, 577 несовершеннолетних (моложе 18 лет) и 963 инвалидов¹.

Как в военном, так и в военно-гражданском отношениях Финляндия, в отличие от Румынии, действовала на оккупированной ею территории совершенно самостоятельно и практически независимо от своих немецких союзников.

В 1940 году Карелия как изначально финская государственная территория была оккупирована советскими войсками в результате так называемой «зимней войны», а в начале Великой Отечественной войны была вновь завоевана финскими войсками и в дальнейшем ходе войны длительное время оставалась оккупированной Финляндией. Значительная часть Ингерманландии в июне 1941 года была оккупирована и немецкими войсками.

На территории Восточной Карелии, оккупированной финнами и немцами, было создано в общей сложности 27 различных лагерей для советских граждан, из них 17 для военнопленных, 3 — для военнопленных и для мирного населения и еще 7 — для мирного населения. Крупнейшие из них находились в Петрозаводске, Ильинском, Олонце, Сала (шталаг № 309) и др. местах. В них содержались главным образом русские по национальности (как трудоспособные, так и старики и дети), но также и «политически ненадежные» финны. Часть из них была дислоцирована финнами внутри своей оккупационной зоны. Общее число узников

¹ Dutu, Dobre, Lokhin, 1999.

этих лагерей — порядка 25 тыс. чел. Подавляющее большинство этих лагерей находилось в зоне, контролируемой финнами: ответственность за их сооружение и установление в них соответствующего варварского режима осуществлялось по инициативе исключительно финского командования, без каких бы то ни было указаний, распоряжений или нажима с немецкой стороны¹.

На территории Финляндии во время войны содержались как советские военнопленные, так и гражданские лица.

В 1941—1944 годах, согласно официальным финским данным, финны взяли в плен 64 188 советских солдат и офицеров. Из них — погибло в плену 19 016 чел. (или 29,6%), бежало из плена — 712 (1,1%), репатрировано — 42 412 чел. (66,1%), а 2048 чел. (3,2%) смогли избежать репатриации и остаться². По советским данным, число репатриированных военнопленных практически совпадает: 42 778 чел.³.

Для сравнения заметим, что за время боевых действий финская сторона потеряла 60 тыс. убитыми и всего 3,4 тыс. пленными, из них 1,4 тыс. (или 41,1 % — чудовищная цифра!) умерли в советском плену⁴. Интересно, что и во время 105-дневной “зимней войны” 1939—1940 годов в советский плен попало практически столько же — 3,4 тыс. — финских военнослужащих, что и в 1941—1944 годах, — против около

¹ Это подтверждается и данными финских архивов, в частности, Военного архива (см. в письме М. Янзена Н. Малышевой и А. Войкову от 29.8.2003).

² Дугас, Черон, 1994. С. 59, со ссылкой на: ROSCHMANN H. Gutachten zur Behandlung und zu den Verlusten sowjetischer Kriegsgefangener in deutscher Hand von 1941—1945 und zur Bewertung der sogenannten «Documents NOKW 2125» (Nachweisung des Verbleibs der sowjetischen Kriegsgefangenen nach dem Stande vom 1.5.1944). — Ingolstadt: Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt, 1982. 54 s. По советским данным, число репатриированных военнопленных практически совпадает: 42 778 чел.

³ См.: Полян, 2002. С. 489.

⁴ Малми, 1996 С. 134. См. также: *Галицкий В.П.* Репатриационная политика советского правительства во Второй мировой войне и после нее // Трагедия плена. Красноярск, 1996. С. 110—112.

5,6 тыс. советских военнопленных, попавших в плен финский¹.

Еще несколько цифр для сравнения: число убитых и умерших во время санитарной эвакуации в 1939—1940 годах — 65 384 чел., а число пропавших без вести (читай: пленных) — 19 610 чел.; из них репатриировалось — 5468 чел. при 99 добровольно в Финляндии оставшихся².

Примечательна политика финской стороны по отношению к советским военнопленным-евреям. Сами специальных репрессий по этническому признаку они не проводили, но тем не менее, практиковали передачу военнопленных евреев и комиссаров в руки СД, что фактически означало следование принципиальным установкам «Приказа о комиссарах»! Как показали исследования Сары Бейцер и Элины Сана, эта судьба (с документально не прослеженным, но достаточно предсказуемым концом) выпала как минимум 70 таким военнопленным³. Первая документированная передача состоялась 6 октября 1941 года (кстати, из лагеря Сала в оккупированной финнами Восточной Карелии)⁴, а последняя — в сентябре-октябре 1942 года. Такого рода передача советских военнопленных ставит евреев-военнопленных, попавших в финский плен, юридически в точно такое же положение, как и бывших военнопленных-евреев, переживших немецкий плен.

Воспоминания Раскина и Волынца, бесспорно, являются центральными в разделе эго-документов, посвященных со-

¹ Носырева Л., Назарова Т. «Пойдем на Голгофу, мой брат...» // Родина. 1995. № 12. С. 101.

² Гриф секретности снят, 1993. С.99—100.

³ Существенно все же заметить, что такого рода передачи касались не только евреев, но и других военнопленных. Общее количество переданных составляло около 2958 чел. (см.: Spiegel. 24.11.2003. Nr.48).

⁴ Первая партия состояла из 7 человек, при этом известны имена трех из них: это парикмахер и «агитатор» Залман Кузнецов, преподаватель марксизма-ленинизма и полковой комиссар Александр Малкис и др., портной и «агитатор» Хаим Ошеревич Лев.

ветским военнопленным-евреям в финском плену. Они не только самые пространные, но и самые подробные во всем этом разделе. Остальные воспоминания, репродуцируемые (с сокращениями) из сборника, составленного Ш. Янтовским в 1995 году, также содержат немало интересных деталей.

Вот два вывода, которые можно достаточно уверенно вывести из блока этих воспоминаний. Финский плен был хотя и тяжел, но явно «уступал» немецкому по степени своей бесчеловечности — как общей, так и антиеврейской. В то же время антисемитская линия финских властей очевидна: тут и издевательские комментарии относительно немецкой политики геноцида евреев, и антисемитизм части лагерного персонала, а главное — тенденция к концентрации еврейских военнопленных в ограниченном количестве лагерей (в частности, в Наариярви, Лоуколампи и Монтола). Последняя делала возможной, в случае «необходимости», быструю передачу еврейских военнопленных в немецкие руки — вариант, воспринимавшийся как самими военнопленными-евреями, так и их охранниками, абсолютно всерьез. Эта же концентрация, конечно, открывала путь и к еврейской взаимопомощи (как со стороны еврейской общины Хельсинки, так и внутри лагерей) и тем самым облегчала евреям жизнь.

И тем не менее, антисемитизм, с которым сталкивались советские военнопленные-евреи в финском плену, не шел ни в какое сравнение с геноцидальной атмосферой Третьего рейха, и никакой личный бытовой антисемитизм того или иного лагерного начальника или переводчика не мог изменить этого обстоятельства — решающего для выживания еврейских военнопленных в плену.

РЕПАТРИАЦИЯ И ФИЛЬТРАЦИЯ

Нешуточную опасность для советского еврея-военнопленного, вырвавшегося из окружения, бежавшего из плена или репатриированного после войны представляли «свои». Проверкой всех советских военнопленных занималась военная контрразведка СМЕРШ (Смерть шпионам).

Помимо общего недоверия к любому и каждому, военнопленным-евреям предстояло столкнуться еще и с язвительным удивлением по поводу того, как это он, «абрам», не погиб, а жив остался?

Для начала несколько случаев еврейских окруженцев или беглецов из плена. Так, Э.Н. Сосин (в плену Зарин) первый раз попал в плен еще в июне 1941 года, после короткого контактного боя. В лагере, куда он попал, — в селе Сенно под Псковом — немцы практически не кормили, пищу иногда приносили местные жители. Охраны практически не было, и можно было спокойно уйти. И когда они втроем бежали и через месяц, в августе, когда пошли дожди, добрались-таки до своих, их встретили недоверием и угрозами расстрела (пограничники даже отвели их в палатку для приговоренных к смерти дезертиров). Тем не менее, пушечное мясо также было в дефиците, и Сосина вернули на фронт¹.

Матвей Исаакович Бенционов, 1922 года рождения, отступал от Лепеля Витебской обл. до Вязьмы, где и попал в окружение, а затем в плен. Находился в лагере в Гомеле, откуда был отправлен с эшелоном в Германию, в г. Грауденц (или Грыфиц). Для регистрации в этом лагере придумал себе псевдоним: Кравченко Григорий Михайлович. На медосмотре так и не опознали, что он еврей. Работал на заводе сельскохозяйственных машин. При наступлении Красной Армии лагерь эвакуировали на запад. Вместе с другом, Абрамом Григорьевичем Спектором, родом из Улан-Удэ, он бежал: дошли до Вислы и переправились на связанных бревнах к своим. На допросах смершевцы били — они не верили, как он, еврей, мог остаться в живых? Тем не менее, его «простили» и отправили на фронт.

Упоминавшийся выше лейтенант Сергей О., выдававший себя у немцев за татарина, у своих после освобождения получил «за измену Родине» 15 лет Джезказганских лагерей².

¹ Личное сообщение, 2004.

² Черненко, 1997. С. 22.

Говорилось и о Борисе Ильиче Беликове. Напомним, что к своим он попал после того, как повоёвал у партизан из Армии Крайовой. В 1946 году он был арестован и остаток жизни Сталина провел в Норильске¹.

Кузьма Соломонович Ресин, 1908 года рождения, три года провел в немецком плену, бежал и сумел перейти линию фронта. На допросах «у своих» бежавшие с ним солдаты показали, что он беседовал в лагере с немецким офицером по-немецки: за это он был осужден, заключен в лагерь и умер 24 августа 1945 года в Инте. Реабилитирован посмертно в 1988 году².

Еще более нелепа, хотя и не случайна причина посадки Д.И. Додина, арестованного в мае 1947 года в родном селе Верещаки, где он устроился работать в школе. Его товарищ по цайтхайнскому подполью Соловьев, арестованный по делу о краже кровельного железа, назвал его в качестве очевидца их общей деятельности в плену, чем поставил Додина в положение обвиняемого. Соловьеву дали 25, а Додину — 10 лет исправительных работ, которые он провел в Особом лагере № 1 в Инте в Коми АССР. Освободился он в 1954 году, но до 1977 года проживал в Коми. Сравнивая немецкий и советский лагеря, он подчеркнуто отмечал унижительность и моральную боль от несправедливости отсидки у своих ни за что³.

И.С. Кубланова освободили американцы в районе Магдебурга и почти сразу же передали через Эльбу советским властям, а те определили его в запасной полк. На регистрации он назвал свое подлинное имя и фамилию, рассказал всю историю. Вместе с другими репатриантами его направили пешком в Брест (в день проходили по 40—45 км). Там их встречали с оркестром, продержали до октября на сельхозработах, а потом отправили в Ярославль, где Кубланов ра-

¹ Записано с его слов в 1997 в Бад-Киссингене (Германия).

² Марьяновский, Соболев. 1997. С. 33.

³ Видеоинтервью Фонду С. Спилберга от 4.5.1998.

ботал на базе Вторчермета. В декабре 1945 года его забрали в областное управление НКГБ для фильтрации; на втором допросе в феврале 1946 года следователь расспрашивал его о шталагах: *«Следователя особенно интересовал вопрос, почему я, еврей, остался жив, находясь у немцев. Я сказал, что никто не знал, что я еврей и врачебную комиссию не проходил. На это он ответил: “Вы все такие”, — и ударил меня по уху»*¹.

А вот еще одна еврейская судьба — судьба Владимира Сиротина, родом из Гомеля, 16-летним добровольцем ушедшего на фронт, взятого в плен под Севастополем в 1942 году, а после репатриации на родину зачисленного в спецконтингент. В нижеследующем рапорте на имя начальника Управления по репатриации советских граждан генерал-полковника Ф. Голикова он писал: *«...Сейчас нахожусь на госпроверке уже 6 месяцев. Сижу в лагере, кончил допрос и сижу не знаю, за что у немца убивали, мучали и издевались как над собакой, и остался жив и теперь. Сижу в лагере многое время. За что сижу я, с моей национальностью один человек в лагере, и думаю, сколько можно сидеть и за что. Если считают виноватым, то пускай судят, а если не виноват, то почему так долго держат? Я очень убит и морально расстроен»*².

Конечно, осуждали не всех. Вот как поступила судьба с Исааком Азаркевичем — вот уж поистине «гением везения». День победы застал его в Норвегии, а освободили его англичане только 15 мая, т.е. после Победы!.. Первым с ними связался шведский Красный Крест: лекарства, питание. До августа они окрепли, поправились, их одели в английскую форму. Союзники составили списки советских военноплен-

¹ После этого допроса Кубланова отправили в отдел кадров Ярославского шинного завода, где определили работать слесарем-сантехником. И только в марте 1947 ему впервые разрешили уехать из Ярославля в отпуск к матери в Караганду, где она жила в эвакуации. А в августе 1948 он переехал в Феодосию, где у него была семья — жена и дочь: в сентябре 1948 он устроился на работу в автопарк, где и проработал 40 лет.

² См.: Полян, 2002. С. 90.

ных, передали их советской репатриационной миссии, и в августе всех отправили в СССР. Маршрут репатриации был такой: Тронхейм, оттуда пароходом в Швецию (в Гетеборг), где их ждали прекрасная еда под навесом и консул Михайлов. Из Гетеборга комфортабельным пассажирским поездом — в Выборг. В Выборге — таможенный досмотр, и уже менее комфортабельным — товарным — поездом в г. Суслокгер (?) в Марийской АССР, в так называемую 47-ю учебно-стрелковую дивизию. В промежутках между строевыми учениями вызывали на допросы. Азаркевич рассказал всю свою историю: он не Кулагин, а Азаркевич, и не Сергей Григорьевич, а Исаак Евсеевич! И тут следовательно, подполковник, с ехидцей задал классический вопрос: и как же ты выжил, а точнее — почему?! После чего Азаркевич отказался давать ему показания и пошел жаловаться на него комиссару дивизии. Следователя ему сменили, и через 20 дней он получил увольнение в город. А в декабре 1945 года он получил приказ о полной реабилитации и восстановлении воинского звания. Ему даже предлагали оставаться служить (охранять японских военнопленных в Улан-Удэ), но от этой чести он отказался и был благополучно демобилизован.

ПОСТСКРИПТУМ: КОМПЕНСАЦИИ

Честно говоря, до самого недавнего времени встречать живьем ни одного бывшего советского военнопленного еврейской национальности не приходилось. Вероятность такой встречи, по изложенным выше соображениям, и впрямь была не слишком высокой.

Тем не менее, чудеса случаются, и такая встреча все же состоялась — в декабре 2002 года, после того как меня разыскал А.С. Вигдоров из Москвы. В январе 2003 года состоялась встреча с еще одним таким военнопленным — Ф. Гисиним из Риги, ныне проживающим в г. Виттене в Германии. Оказалось, что еще несколько десятков человек до сих

пор живы, проживают на просторах от Феодосии и Санкт-Петербурга до Ганновера, Хайфы и Нью-Йорка.

Все они, будучи в Германии и скрываясь под чужими именами, подвергались насильственной эксплуатации, но никто — не получил ни цента компенсации.

«Потому что Вы военнопленный, а военнопленным по закону не положено», — бубнили им от имени немецкого законодателя постсоветские фонды «Взаимопонимание и примирение», выплачивающие узникам компенсацию за принудительный труд... *«Потому что, к сожалению(sic!), Вы не были в концлагере хотя бы шесть или, на худой конец, в гетто хотя бы восемнадцать месяцев и не подпадаете под наши инструкции»,* — отрезало франкфуртское бюро Конференции по материальным претензиям евреев против Германии (так называемой Claims Conference), смысл деятельности которой должен быть ясен из ее названия.

В 2002 году, по просьбе берлинского адвоката С. Ташьяна, боровшегося в немецком суде за интересы бывших советских военнопленных из Армении, пишущий эти строки написал историческое заключение о правомочии последних на получение компенсации по Закону ФРГ о формировании Федерального фонда «Память, ответственность и будущее». Не желая или опасаясь признавать бывших советских военнопленных категорией жертв национал-социализма (уровень смертности которых уступает только евреям), не желая признавать очевидную разницу между ними и, скажем, английскими или французскими военнопленными и придерживаясь сугубо формальной интерпретации международного права, две инстанции Берлинского административного суда уже сказали истцам и их адвокату свое постыдное «нет»!

И даже в тех случаях, когда к ним обращались не совсем обычные советские военнопленные, а военнопленные-евреи — чудом оставшиеся в живых узники Холокоста, чья жизнь висела на волоске не менее тонком, чем жизнь узника гетто или концлагера, — даже в этих случаях упомянутые

фонды, как и немецкое правосудие в целом, сохраняли олимпийское (но отнюдь не нейтральное) спокойствие.

Случай «не-компенсации» А.С. Вигдорова оказался на удивление хорошо документированным¹. Еще в 1994 году А.С. Вигдоров обратился в Российский фонд «Взаимопонимание и примирение» с просьбой о выплате «гуманитарного урегулирования», но получил отказ. 10 ноября 1994 года председатель Правления этого фонда В.А. Князев сообщил ему, что, согласно межправительственной договоренности, выплаты военнопленным не предусмотрены (за исключением тех из них, кто попал в лагеря за сопротивление нацистскому режиму).

Вигдоров затребовал протокол Экспертной комиссии и 11 июля 1995 года, — т.е. почти через год после запроса, — он получил наконец выписку из Протокола № 28 Экспертной комиссии фонда от 20 октября 1994 года (за подписью Н.Г. Зубковой, ставшей к этому времени ее председателем).

Непосредственно в заседании Комиссии участвовали ее тогдашний председатель С.С. Гамора, его заместитель Н.Г. Зубкова, секретарь Пакова Л.К. и члены — Т.С. Драмбян, В.И. Белова, Т.Я. Жванецкая, Е.В. Дракин, И.А. Мельникова и А.Я. Френкель. Из 80 дел, рассмотренных комиссией в тот день, случай Вигдорова был единственным отказом, причем мнения членов комиссии разделились: шестеро проголосовали за отказ, один воздержался (по всей видимости, это была Т. Жванецкая), а двое — Т.С. Драмбян и А.Я. Френкель — не только проголосовали против, но и настояли на включении в протокол своего особого мнения. Подчеркивая факт добровольного поступления А.С. Вигдорова в народное ополчение, его участие в боях и ранения, а также то, что благодаря содействию врачей, — как они пишут, «истинных русских патриотов», — он сумел «избежать неминуемой смерти, уготованной всем лицам еврейской нации»,

¹ Он затрагивает компетенцию РФВП, тогда как случай Ф. Гисина — компетенцию ИСС.

они поддержали стремление Вигдорова «считать его жертвой фашизма» и предложили Экспертной комиссии просить Фонд о выплате ему компенсации — «в порядке исключения»: размер же должна бы была определить та же комиссия. Однако даже к этой разумной, гуманной, обоснованной и компромиссной точке зрения большинство членов комиссии не захотело прислушаться, в результате чего Вигдоров, повторим, получил официальный отказ.

После этого Вигдоров обратился к послу ФРГ в России Эрнсту Йоргу фон Штудницу. Тот в письме от 21 декабря 1994 года выразил свое сожаление и сообщил, что на процедуру распределения средств Правительство ФРГ влияния не имеет.

Только тогда он апеллировал в Кассационную комиссию РФВП, но все тот же С.С. Гамора (sic!), ставший к этому времени председателем Кассационной комиссии, и в новом своем качестве подтвердил свое же старое решение, что, по всей видимости, является довольно грубым нарушением административной этики, а возможно, и административного кодекса.

Относительно компенсации по линии германского фонда «Память, ответственность и будущее» Вигдоров обратился в тот же самый Российский фонд и снова получил отказ. После чего 9 апреля 1999 года он обратился в Кассационную комиссию фонда, откуда 8 июля 1999 года получил следующий, цитируемый ниже ответ:

«В апелляции Вы обосновываете свое право на получение немецкой компенсации тем, что случайно оставшиеся в живых бывшие военнопленные еврейской национальности, которые находились в заключении и подвергались самым жестким нацистским преследованиям — этническому геноциду, или Холокосту, имеют право получить такую же компенсацию, как и другие узники, отнесенные ко второй категории лиц.»

Так как компенсация начисляется в соответствии с Положением об условиях и порядке выплаты компенсации лицам, подвергшимся нацистским преследованиям, то по имеющимся в деле документам можно установить:

— к первой категории Вы не можете относиться по возрасту (1923 г.р.);

— ко второй категории не можете относиться, так как не содержались в концлагерях, тюрьмах, гетто;

— к третьей и четвертой категории относятся лица из числа гражданского населения, вывезенные на принудительные работы. На момент пленения Вы были военнослужащим. Следовательно, также не можете быть отнесены ни к одной из этих категорий.

“Положение” определяет условия и порядок выплаты компенсаций лицам, подвергшимся нацистским преследованиям, при этом не делает каких-либо ссылок на изменение условий выплаты компенсаций по национальному или какому-либо другому признаку.

На основании изложенного Кассационная комиссия поддержала решение Экспертной комиссии и отказала Вам в начислении компенсации как военнослужащему, оказавшемуся в годы Великой Отечественной войны в немецком плену и находившемуся в лагерях для военнопленных (протокол № 35 от 9 июня, пункт 5).

Председатель Кассационной комиссии С.С. Гамора»

Интересно, что в ответе фонда даже не упоминается Указ Б.Н. Ельцина, изданный еще в 1995 году и имеющий прямое отношение к рассмотренному случаю.

Следующим шагом А.С. Вигдорова стало обращение от 10 сентября 1999 года к профессору В.А. Карташкину, в то время председателю Комиссии по правам человека при Президенте РФ. В нем А.С. Вигдоров так комментирует процитированное выше решение Кассационной комиссии РФВП:

«...Кассационная комиссия наконец называет истинную причину, по которой меня лишили права на получение компенсации... Из текста следует, что в то время как тяжесть нацистских преследований в решающей степени определялась национальностью жертв, сформулированные в Положении условия и порядок выплаты компенсации полностью игнорируют их национальную принадлежность». Он интерпретирует это решение как отрицание Холокоста и оправдание осужденного в Нюрнберге нацизма¹.

В.А. Карташкин ответил Вигдорову 25 ноября 1999 года: *«Уважаемый А.С. Вигдоров. Комиссия по правам человека при Президенте РФ является совещательным и консультативным органом, все ее члены работают на общественных началах. Каких-либо властных полномочий Комиссия не имеет, также как и прерогативы принятия окончательных решений по изложенным в Ваших заявлениях вопросам. Действия Фонда «Взаимопонимания и примирение», которые Вы считаете незаконными, Вы вправе обжаловать в суде по месту Вашего жительства или местонахождения Фонда. С уважением, Председатель В. Карташкин».*

Как ни странно, это трусливая чиновничья отписка воодушевила Абрама Соломоновича, в логике мировосприятия которого очень не хватало одного звена — права обжалования неправомочных действий по выплатам компенсации в суде. И вот теперь он получил подтверждение того, что это возможно!

Но еще 1 октября 1999 года, т.е. за два месяца до того, как ответить самому Вигдорову, В.А. Карташкин переслал его обращение в Минтруд, откуда оно было спущено... все в тот же Фонд «Взаимопонимание и примирение». Таким об-

¹ Кроме того, Вигдоров резонно указал и на юридическую слабость «Положения». В перечне категорий лиц, не имеющих права на получение компенсации, — добровольно уехавшие на работу в Германию, в том числе и уехавшие с ними дети, а также лица, совершившие преступления против Родины или человечества. Военнопленных же в этом перечне не имеется.

разом, круг переписки замкнулся: отвечать «жалобщику» пришлось тем, на кого Вигдоров жаловался.

Отводя от РФВП даже тень ответственности за что бы то ни было, его тогдашний зам. председателя П.М. Маргиев 7 декабря 1999 года посетовал А.С. Вигдорову на то, что Правительство РФ не может изыскать источники финансирования для реализации Указа Ельцина: нету средств. Далее Маргиев, как это ни удивительно, встал в позицию... «несправедливо обиженной» стороны — и решился написать адресату следующее:

«Теперь по поводу лиц еврейской национальности — бывших военнопленных, которые, как Вы утверждаете в своем письме, подвергаются в Фонде дискриминации по национальному признаку. Нет более голословного и оскорбительного для нас утверждения. Может быть, Вы сможете назвать хотя бы одного человека — бывшего военнопленного нееврейской национальности, которому Фонд выплатил компенсацию? Какое у Вас основание обвинять Фонд в дискриминации евреев?.. В Фонде “Взаимопонимание и примирение” вопросы компенсационных выплат всегда решались и решаются независимо от национальности, вероисповедания или партийной принадлежности жертв нацизма, обращающихся в Фонд. Это было и остается незыблемым правилом работы Фонда “Взаимопонимание и примирение”».

Что же, это письмо полностью подтвердило диагноз, ранее поставленный фонду все тем же А.С. Вигдоровым: глубокое непонимание (или нежелание понять) или непризнание существа Холокоста как целенаправленного геноцида против не абстрактной фикции — «советских людей», а против представителей совершенно конкретного народа — евреев, вытекающего из всей человеконенавистнической и антисемитской политики гитлеровской Германии. Допускать возможность простого незнания истории преследования нацистами евреев, в том числе и военнопленных, при-

менительно к чиновнику компенсационного фонда в конце 1999 года — уже не представляется возможным¹.

Вместе с тем именно соотнесенность судьбы Вигдорова с проблемой Холокоста, с постоянно над ним висевшей угрозой быть расстрелянным без суда и следствия только из-за того, что откроется его истинная национальность, ставила этот случай в совершенно особенное положение — даже в контексте общей трагической судьбы всех советских военнопленных и постыдной для России истории с недопущением их к получению компенсаций за принудительный труд.

Те казуистические аргументы, которые приводятся в оправдание такой политики, за которыми стоит отказ признать советских военнопленных особой группой преследовавшихся при нацизме, а не просто разновидностью военнопленных, в конкретном случае А.С. Вигдорова не имеют под собой даже своего общего формального основания.

В преамбуле Закона об учреждении Фонда «Память, ответственность и будущее» говорится о сознании того, что *«...национал-социалистическое государство депортацией, лишением свободы, эксплуатацией вплоть до физического уничтожения принудительным трудом и множеством других нарушений прав человека совершило по отношению к поработанным и подневольным работникам тяжкую несправедливость»*.

В § 2, ст.1 говорится, что *«...цель Фонда состоит в предоставлении через партнерские организации финансовых средств бывшим подневольным работникам и пострадавшим от иного произвола в годы национал-социализма лицам (выделено мной. — П.П.)»*.

¹ Хотя лично я могу засвидетельствовать крайне низкий уровень информированности об этой материи первого председателя РФВП В.А. Князева. Своими личными достижениями в самообразовании (первая половина 1999) он обязан исключительно инициативе еврейских жертв принудительного труда и их американских адвокатов, благодаря которым в атмосфере неожиданно запахло новыми и довольно большими деньгами...

Не признавать за бывшими советскими военнопленными еврейского происхождения постоянно висевшей над ними смертельной угрозы и не рассматривать такую угрозу в качестве произвола и преследований неприемлемо не только морально, но и некорректно исторически.

Так или иначе это признается и большинством партнерских организаций (ПО), в том числе и на практическом уровне, в частности, в формулировках категорий лиц, правомочных на получение компенсаций в рамках так называемой «открытой клаузулы», где национальным ПО предоставляется значительная свобода рук.

Так, в частности, в польской ПО правомочными считаются: *«Лица, преследовавшиеся из расистских соображений (вне гетто, концлагерей и аналогичных учреждений)»*. Объем компенсации — 5000 DM. Чешская ПО признает правомочие *«жертв национал-социалистических преследований и др. неправомочных национал-социалистических мероприятий, ограниченных в свободе перемещения (лиц, вынужденных скрываться)»*. Объем компенсации — 3750 DM.

Белорусской ПО признаются правомочными *«евреи и цыгане, которые были вынуждены скрываться на оккупированной территории по причине национал-социалистических преследований»*. Объем компенсации — 5000 DM.

Мало того, прямые указания на неуместность применения к бывшим советским военнопленным еврейского происхождения общих мерок содержатся и в документах, имеющих непосредственное отношение к проблеме компенсации военнопленным.

Так, в письме г-на Тюксена (Министерство финансов ФРГ) от 9 августа 2000 года (в ответ на обращение Вигдорова от июня 2000 года), сообщается: *«В случае если в рамках плена имело место особенное вредоносное антиеврейское преследование (как то: помещение в концлагерь, истязание и т.д.), то их последствия покрываются Вторым соглашением (имеются в виду компенсации в рамках Claimes*

Conference. — П.П.): иными словами, выплата компенсации возможна в том случае, если причиненный ущерб заметно превышает страдания, связанные с пленом вообще»¹.

Как известно, боевые приказы Гейдриха не предусматривали для военнопленных евреев никаких иных градаций наказания, средних или промежуточных между жизнью и смертью. Поэтому требовать от спасшихся доказательств помещения в концлагерь или применения к ним пыток нельзя.

Далее, в письме Райнера Тюрмера (Rainer M. Türmer), министра-директора Министерства финансов ФРГ, направленного адвокату С. Ташьяну 5 июня 2002 года, читаем: *«Я не могу согласиться с Вашей аргументацией в вопросах компенсации бывшим советским военнопленным. Согласно §11, статье 3 Закона об учреждении Фонда “Память, ответственность и будущее”, пребывание в плену не является основанием правомочия получения компенсации. Исключения возможны только в особенных случаях, если, например, военнопленный стал жертвой дополнительных и особо тяжелых акций преследования, например, на основании расовой идеологии»*².

Не менее интересным с этой точки зрения является письмо к самому Вигдорову чиновника Министерства финансов ФРГ Тюксена (привожу его полный перевод в Приложении к этой записке) от 9 августа 2000 года. Оно содержит в себе один момент, чрезвычайно интересный именно с юридической стороны — трактует вопросы другого вида компенсаций (пенсии, выплачиваемые — ЖСС евреям — жертвам нацизма из стран Восточной Европы в порядке реализации Статьи Второй Соглашения между ЖСС и ФРГ от 29 октября 1992 года). До недавнего времени Вигдорову отказывали и в этой компенсации тоже, однако в 2003 году положение «неожиданно» изменилось, и теперь он получает такую пенсию — более того, ему и некоторым другим бывшим воен-

¹ Архив А.С. Вигдорова.

² Архив С. Ташьяна.

нопленным ее выплатили за несколько прошлых лет). Объяснение этой «смене вех» и содержит письмо Тюксена, даром что оно датировано более ранним временем, когда ЖСС отказывало Вигдорову и нескольким десяткам аналогичных узников в тех самых выплатах, правомочие на которые сегодня, следовательно, ЖСС признается.

Цитирую: «В случае же, если во время плена имело место **особо вредоносное антиеврейское обращение** (например, пребывание в концлагере, издевательства и т.п.), то этот ущерб покрывается Соглашением по Статье Второй. Таким образом, предоставление выплат в случаях ущербов, выходящих за рамки ущербов от обычного пребывания в плену, в принципе возможно». Обращают на себя внимание оба предложения: второе фиксирует общетеоретическую допустимость компенсации также и для военнопленных, а первое конкретизирует это положение, причем в качестве основания может служить не только пребывание в концлагере, что записано и в тексте Закона «Об образовании Фонда “Память. Ответственность. Будущее”» от 2000 года, но и другие особо тяжелые виды преследования и издевательства, что в этом законе не записано. Факт распространения на бывших советских военнопленных еврейского происхождения «особо тяжелых видов преследования и издевательства» не вызывает сомнения ни у кого (при необходимости можно предоставить специальное историческое заключение на эту тему): они были поголовно обречены смерти, а те из них, кто смог уцелеть, были вынуждены скрывать и изменять свою идентичность, находясь под постоянным страхом смерти или разоблачения.

Для интерпретации же всего вышесказанного в духе непризнания за бывшими советскими военнопленными-евреями правомочия на компенсацию требуется не столько юридическая подкованность, сколько изрядная политическая воля, причем весьма специфического — бюджетосберегающего — толка.

Нет, это не обязательно антисемитизм, но это всенепременно равнодушие и трусливое нежелание ссориться с фондом в Берлине, упорно усматривающим в советских военнопленных заурядных военнопленных, наподобие американских, английских или французских, а не жертв национал-социалистических преследований, чем они на самом деле были.

До самого недавнего времени ту же «страусиную» политику проводила и «Claims Conference», прятавшаяся за параграфами регламента компенсаций по так называемому Фонду «Статьи Второй»¹. Совершенно очевидно, что составители этого регламента, ориентированные на трагический опыт немецких и западноевропейских евреев, явно не учли вышеупомянутые приказы и произведенные, направленные против евреев из СССР. Их исполнение, собственно, ознаменовало практический переход Третьего рейха от политических, финансовых и иных преследований евреев к их геноциду.

В начале 2003 года руководство «Claims Conference» пересмотрело свою позицию, и правомочие бывших советских военнопленных-евреев на получение компенсаций по Фонду «Статьи Второй», наконец-то, было признано (по крайней мере де-факто, ибо де-юре расхождения с буквой инструкций по-прежнему сохраняются²). В середине лета 2003 года немногие оставшиеся в живых еврей-военнопленные, и в их числе Абрам Вигдоров, эту компенсацию наконец получили.

Немецкий и австрийский фонды компенсации за принудительный труд советским военнопленным дружно и твердо отказали.

И без различия национальностей — дискриминации в этом благородном деле нет!

¹ См.: Полян, 2002. С. 606—612.

² Поразительно и вместе с тем симптоматично то, что ознакомиться с этой «буквой» текстуально — практически невозможно, так как сами по себе тексты соглашений между Claims Conference и правительством ФРГ содержатся в тайне.

ЛИТЕРАТУРА

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Меньшагин Б.Г. Воспоминания о пережитом. 1941—1943 гг. Машинопись (Исторический архив Центра восточноевропейских исследований Бременского университета. Фонд Н.Г. Левитской).

Фридман Б.Н. Мои военные дороги. М., 2000. Машинопись. (Семейный архив).

ПУБЛИКАЦИИ:

Альтман И. Жертвы ненависти. Холокост в СССР, 1941—1945 гг. — М.: Фонд «Ковчег». 2002. 543 с. (Сер.: Анатомия Холокоста).

Анваер С. Кровоточит моя память... Из записок студентки-медики. — М.: РОССПЭН, 2005. 208 с. (Сер.: «Человек на обочине войны»).

Андреев А. Все круги ада. Советские военнопленные во Второй мировой войне // Независимая газета. 1999. 7 мая.

Андреев П. Война глазами солдата. — Шарья, 2002. 92 с.

Арад А. Холокост. Катастрофа европейского еврейства (1933—1945). — Иерусалим: Яд Вашем, 1990. 91 с.

Астахов П. Зигзаги судьбы. Записки советского военнопленного и советского зэка. — М.: РОССПЭН, 2005. 464 с. (Сер.: «Человек на обочине войны»).

Барвинок Г., Евселевский Л., Пустовойт П. Слышишь, Днепр! Документальный очерк. — Харьков, 1979. (Перепеч.: Уничтожение... 1991. С. 299).

Бауман Г.Г. Без вести пропавший / Публ. Е.П. Красильникова // В кн.: Комолова Н.П. (Отв. ред.). Советские люди в Европейском сопротивлении. (Воспоминания и документы). Часть I. — М., 1991. С. 231—256.

Бедняев Г. Операция «Осколок». — Нижний Новгород, 1999. 88 с.

Белорусские оstarбайтеры. Угон населения Белоруси на принудительные работы в Германию (1941—1944): Документы и материалы. В 2-х кн. Кн.1 (1941—1942) / Сост. Г.Д. Кнатъко, В.И. Адамушко и др. — Минск: НАРБ, 1996. 304 с.

Бондарец В. Военнопленные. — М., 1960. (Перепеч.: Уничтожение... 1991. С. 297—298).

Бружеставицкий И.М. Воспоминания бывшего директора (1967—1983). Машинопись // Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных-евреев во Второй мировой войне. Воспоминания и документы. — М., 2006. С. 89—160.

Букалов Д. Остарбайтеры Донбасса // Корни травы. Сб. статей молодых историков. — М.: Мемориал, 1996. С. 155—159.

Брушин Б. Неожиданное спасение // Нам дороги эти позабыть нельзя. Мы — из Иерусалима. Кн. 2. — Иерусалим, 1995. С. 96—97.

В плену у Гитлера и Сталина. Книга памяти Макса Григорьевича Минца / Ред.: Яков Айзенштадт. — Иерусалим, 1999. 216 с.

Воронин С. Двойник Виктора Шаликова. // Советская торговля. 12.12.1970 (Перепеч.: Уничтожение... 1991. С. 290—291).

Выжил всем смертям назло [О Льве Розенгарде] // Вместе (Иерусалим?). 2004. 1 янв. С. 4—5.

Голубков С. В фашистском концлагере. Воспоминания бывшего военнопленного. — Смоленск, 1958. (Ср.: *Голубков С.* В фашистском лагере смерти. Воспоминания бывшего военнопленного. — Смоленск, 1963. (Перепеч.: Уничтожение... 1991. С. 295—297)

Гриншпун С.Г. Письмо И.Г. Эренбургу от 25 марта 1944 года // Уничтожение... 1991. С. 287—290) (Перепеч.: Советские ев-

реи пишут Илье Эренбургу. 1943—1966. / Ред. М.Альтшулер, А. Арад. — Иерусалим, 1993. С. 127—132).

Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах: Стат. исслед. / Под общ. ред. Г.Ф. Кривошеева. — М.: Воениздат, 1993. 416 с.

Датнер Ш. Преступления немецко-фашистского вермахта в отношении военнопленных во Второй мировой войне. / Пер. с польск. Я.О. Немчинского. Вступит. статья С.К. Тимошенко. Под ред. Д. С. Карева. — М.: Изд-во ин. лит-ры, 1963.

Дугас И.А., Черон Ф.Я. Вычеркнутые из памяти. Советские военнопленные между Гитлером и Сталиным. // Исследования новейшей русской истории. — Париж: УМСА-Press, 1994. Т.11. 433 с.

Иванцов Дмитрий. Во власти безумия. Воспоминания. — Новозыбков, 1980. — 158 с.

Ильенков С.А., Мухин В.В., Полян П.М. Трофейные немецкие картотеки советских военнопленных как исторический источник. // Новая и новейшая история. 2000. № 2. С. 147—155.

Ильенков С.А. Память о миллионах павших защитников Отечества нельзя предавать забвению. // Военно-исторический архив. 2001. № 7. С. 73—80.

Каган Давид. Расскажи живым. Документальная повесть. — Ашхабад, 1986. (Перепеч.: Уничтожение... 1991. С. 292—295)

Клокова Г.В. История Холокоста на территории СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945). Пособие для учителя. — М.: Научно-просветительский центр «Холокост», 1995. 161 с.

Копылов Н.Р. Мои скитания. // Поживши в Гулаге. Сборник воспоминаний / Сост. А.И. Солженицын. — М.: Русский путь, 2001. С. 221—245.

Ломоносов Д.Б. Исповедь узника гитлеровских лагерей // Военно-исторический архив. 2002. № 10, с. 67—91 и № 11, с. 65—101.

Лужеренко В.К. Плен: трагедия миллионов // Великая Отечественная война. 1941—1945. Т. 4. — М., 1989. С. 168—204.

Малофеев А.С. Воспоминания морского артиллериста, узника концлагерей и французского партизана. Май 1941 г. — февраль 1945 г. // Беглецы из плена. Воспоминания танкиста и морского артиллериста. — М., 2010. С. 189—300.

Марьяновский М., Соболев И. Павшие... (Вместо предисловия) // Книга памяти воинов евреев в боях с нацизмом. 1941—1945. — М.: 1997. Т. IV. С. 9—41.

Миляевский М. Плен [о Лазаре Иосифовиче Ланине] // Нам дороги эти позабыть нельзя. Мы — из Иерусалима. Кн. 3. — Иерусалим, 1998. С. 130—135.

Наумов В.П. (Научн. ред.). 1941 год. В 2-х кн. — М.: Демократия, 1998. — (Кн. 1. — 832 с.; Кн.2. 750 с.)

Нюрнбергский процесс: Сб. материалов: В 8 т. Т. 4/ — М., 1990.

Первые дни войны в документах. / Публ. В.Р. Журавлева, А.С. Ануфриева и Н.М. Емельянова. // ВИЖ. 1989. № 5. С. 42—58.

Обреченные погибнуть. Судьба советских военнопленных евреев во Второй мировой войне. Воспоминания и документы / Сост. П. Полян и А. Шнеер. — М.: Новое издательство, 2006. 576 с.

Полян П.М. Скрывшие свое имя. Советские евреи, спасшиеся на территории Третьего рейха // Русская Мысль (Париж). 1999, 13—19 мая. С. 18.

Полян П.М. Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные и их репатриация. — М.: Ваш выбор ЦИРЗ, 1996. 442 с.

Полян П.М. Жертвы двух диктатур. Жизнь, труд, унижение и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине. — М.: РОССПЭН, 2002. 898 с.

Полян П.М. Советские военнопленные-евреи — первые жертвы Холокоста // Холокост. Научно-информационный бюллетень. 2003, декабрь. — № 5(23). С. 8—9.

Полян П.М. Советские военнопленные-евреи — первые жертвы Холокоста на территории СССР? // Архив еврейской истории. Том 2. — М.: Росспэн, 2005. С. 243—310.

Резниченко А. В Хорольском лагере. // Черная книга... 1993. — С. 392—394.

Свердлов Ф.Д. (Сост.). Документы обвиняют. Холокост: свидетельства Красной Армии. — М.: 1996.

Свердлов Ф.Д. Энциклопедия еврейского героизма. — М.: Дограф, 2002. 504 с.

Советские военнопленные: бухгалтерия по-фашистски. / Публ. Б.И. Каптелова и А.А. Важеркина // ВИЖ. 1991. № 9. С. 30—44.

Советские евреи пишут Илье Эренбургу. 1943—1966 / Ред. М. Альтшулер, А. Арад. — Иерусалим, 1993.

Соколов Б.Н. В плену. — М.: Цитадель, 2000. 264 с.

Старков О.Ю. Они не сдались. // ВИЖ. 1989. № 12. С. 81—84.

Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944). Сборник документов и материалов / Под ред. А. Арада — Иерусалим: Яд Вашем, 1991. 424 с.

Шapiro Г.С., Авербух С.Л. Очерки еврейского героизма. В 3-х т. — Киев — Тель-Авив, 1994—1997. (Т. 1. Евреи — герои Советского Союза. — 1994; Т. 2. Не ради славы — ради жизни на земле — 1994; Т. 3.).

Шapiro Я. Никому не пожелаю...// Нам дороги эти позабыть нельзя. Мы — из Иерусалима. Кн.1. Иерусалим, 1996. С. 146—149.

Шейнман М. Рассказ бывшего военнопленного М. Шейнмана // ЧЕРНАЯ КНИГА... 1980. С. 437—442. (Перепеч.: Уничтожение... 1991. С. 300—305).

Шлейфер М. В еврейском лагере. Из кн.: Лагерь советских военнопленных в Финляндии, 1942—1944 годы. // Нам дороги эти позабыть нельзя. Мы — из Иерусалима. Кн. 3. — Иерусалим, 1998. С. 136—139.

Шнеер, Арон. Плен. В 2-х т. — Иерусалим, 2003. (Т. 1. — 380 с.; Т. 2. — 390 с.).

Шнеер, Арон. Плен. 2005.

Шнеер А. Советские еврей-военнопленные в нацистских лагерях на территории Германии и Австрии // Русские евреи в Германии и Австрии. — Иерусалим, 2008. С. 274—308.

Шульга И.И. Судьбы красноармейцев — немцев Поволжья в германском плену в 1941—1945 гг. // Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект. Материалы международной научной конференции. Анапа, 26—30 сентября 1997 г. — М. 1998. С. 323—337.

Черная книга о злодейском повсеместном убийстве евреев немецко-фашистскими захватчиками во временно оккупированных районах Советского Союза и в лагерях Польши во время войны 1941—1945 гг. / Составлена под ред. В.Гроссмана и И.Эренбурга. — Иерусалим, 1980.(2-е издание: Вильнюс: Йад, 1993. 578 с.).

Черненко М. Анкетное проклятье // Московские новости. — 1997. № 19. 11—18 мая. С. 22.

Черноглазова Р.А. Фашистские лагеря для советских военнопленных на территории Белоруссии. // Трагедия плена. — Красногорск, 1996. С. 122—125.

Черноглазова Р.А. (Авт. — сост.). Военнопленные. Kriegsgefangene. 1941—1956. Документы и материалы. — Минск: издатель Скакун В.В., 2003. 473 с.

Черон Ф.Я. Немецкий плен и советское освобождение / Всерос. мемуарная б-ка Сер. Наше недавнее. — Париж: YMCA-Press, 1987. Вып. 6. С. 9—158.

Янтовский Ш. Лагерь советских военнопленных-евреев в Финляндии (1942—1944 год). Сборник документов и воспоминаний. — Иерусалим.

Angrick, Andrej. Besatzungspolitik und Massenmord. Die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion, 1941—1943. Hamburg: Hamburger Edition, 2003. 796 s.

Arad, Yizhak. Soviet Jews in the War against Nazi Germany. // Yad Vashem Studies. Vol. XXIII. Jerusalem, 1993. P. 125.

Bard, Mitchell G. American Victims of the Holocaust. // Appendix D in: Bird, Tom. American POWs of World War II. Forgotten Men Tell their stories. Westport, Connecticut — London: Praeger, 1992. P. 129—135. — (Reprinted from: The Jewish Veteran. Fall 1990).

Bartniczak, Mieczyslaw. Grady i Komorowo, 1941—1944. Z dziejow Stalagow 324 i 333 Ostrow Mazowiecka. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa obrony narodowej, 1978. 375 s.

Berkhoff, Karel. The 'Russian' Prisoners of War as Victims of Genocidal Massacre. // Holocaust and Genocide Studies. [Spring 2001]. Vol. 15, No.1. P. 1—32.

Browning C. Nazi Resettlement Policy and the Search for a Solution to the Jewish Question, 1939—1941. // The Nazi Holocaust. Historical Articles on the Destruction of European Jews. Issue.3. The «Final Solution»: the Implementation of Mass Murder. Volume 2. / Ed. By M.R.Marrus. London: Meckler Westport, 1989. P. 760—782.

Christophe, Marcelle; Christophe, Robert. Le miracle de nos prisons (1940—1945). Paris, 1974.

De Chambrun, René. 1940—1945: La protection des Prisonniers de guerre. // Revue Monde. 1998. No.1. P. 136—140.

Dallin, Alexander. Deutsche Herrschaft in Russland 1941—1945. Eine Studie über Besatzungspolitik. — Düsseldorf: Droste Verlag, 1958. 727 S.

Doery, Janine. Juden aus Frankreich im Aufenthaktslager Bergen-Belsen. Magisterarbeit in Fach Geschichte. Universität Hannover, April 2004. 141 s.

Durand, Yves. La Captivité. Histoire des prisonniers de guerre français 1939—1945. — Paris: Fédération Nationale des Combattants Prisonnier de Guerre, 1980.

Durand, Yves. Prisonniers de Guerre dans les Stalags, les Oflags et les Kommandos, 1939—1945. Paris: Hachette, 1994.

Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Bd. II./ Hsg. Israel Gutman. — München — Zürich: Piper Verlag, o.D. P. 814—820.

Gatterbauer R.H. Arbeitseinsatz und Behandlung der Kriegsgefangenen in der Ostmark während des Zweiten Weltkrieges (Dissertation). Salzburg, 1975. 399 s.

Gelber, Y. Palestinian POWs in German Captivity. // *Yad Vashem Studies*, Vol 14. Jerusalem, 1981. P. 89—137.

Gerlach, Christian: Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944. Hamburg: Hamburger Edition, 1999. 1232 s.

Gilbert, Martin. Atlas of the Holocaust. London, Rainbrd Publishing Group, 1982. 256 p.

Grainer, Helmuth. Die oberste Wehrmachtsführung 1939—1943. Wiesbaden, 1951.

Hilberg, Raul. Die Vernichtungskrieg der europäischen Juden. Bd. 1—3. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag, 1999. 1351 s.

Hirschfeld, Gerhard (Ed.). The policies of Genocide. Jews and Soviet Prisoners of War in Nazi Germany. London: The German Historical Institute, 1986. 172 p.

Favez, Jean-Claude. Das Internationale Rote Kreuz und das Dritte Reich. War der Holocaust aufzuhalten. München, 1989.

Förster, Jürgen. Das Unternehmen «Barbarossa» als Eroberungs- und Vernichtungskrieg. // *Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg*. Bd. 4. Der Angriff auf die Sowietunion. Stuttgart, 1983. S. 413—450.

Foy, David A. For you the war is over. American Prisoners of War in Nazi Germany. New York: Stein and Day Publishers. 1984.

Idsikowskaja N. «Ich werde nicht mit Faschisten gegen meine Heimat zusammenarbeiten». // *Informationen. Studienkreis: Deutscher Widerstand*. 1995. Nr 41. April. S. 10—18.

Jacobsen H.-A. Kommissarenbefehl und Massenexekutionen sowjetischer Kriegsgefangener. // *Anatomie des SS-Staates*. Berlin; Freiburg; Olten, 1967. Bd 2. S. 137—231.

Keller R., Otto R. Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen 1941—1945 in deutschen und russischen Institutionen. // *Militärgeschichtliche Mitteilungen*. 1998. Bd. 57. Nr.1. S. 149—180.

Kirschner K. (Hg.). Flugblatt-Propaganda im 2. Weltkrieg. Flugblätter aus Deutschland 1941. Erlangen, 1987. Bd. 10. 331 s.

Klein, Peter (Hg.). Die Einsatzgruppen in der besetzten Sowjetunion 1941/42. Berlin, 1997.

Krakowski, Shmuel. The fate of Jewish Prisoners of War in the September 1939 Campaign. // *Yad Vashem Studies*, Vol 12. Jerusalem, 1977. P. 297—333.

Krakowski, Shmuel. The fate of the Jewish POWs of the Soviet and Polish Armies. // *The Shoah and The War.* / Ed.: A.Cohen, Y.Cochavi, Y.Gelber. — Tel-Aviv: Institute for Research of the Shoah, 1992. P. 217—230. (*Studies on the Shoah*, Vol.3).

(Hg.) Schramm, Percy Ernst. Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtsführungsstab). 1940—45. 4 Bd. Frankfurt-am/Main: 1965.

Levin, Don. Unique characteristics of Soviet Jewish Soldiers in the Second World War. // *The Shoah and The War.* / Ed.: A.Cohen, Y.Cochavi, Y.Gelber. — Tel-Aviv: Institute for Research of the Shoah, 1992. P. 217—230. (*Studies on the Shoah*, Vol.3).

Longerich, Peter. Der Russlandskrieg als rassistischer Vernichtungskrieg. // *Nolte, Hans-Heinrich.* Der Mensch gegen den Menschen. Überlegungen und Forschungen zum deutschen Überfall auf die Sowjetunion, 1941. Hannover: Fackelträger-Verlag, 1992. S. 78—94.

Longerich, Peter. Zum Schicksal der jüdischen Kriegsgefangenen. // *Longerich, Peter.* Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozialistischen Judenverfolgung. München und Zürich: Piper, 1998. S. 411—413.

Nolte, Hans/Heinrich. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion 1941. Text und Dokumentation. Hannover: Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung, 1991. 196 s.

Ogorreck, Ralf. Die Einsatzgruppen und die Genesis der Endlösung. Berlin, 1996.

Ommo, Reinhardt. Wehrmacht, Gestapo und sowjetische Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet, 1941/42. — München: R.Oldenbourg, 1998. 288 S. (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte).

Otto, Reinhardt. Sowjetische Kriegsgefangene. Neue Quellen und Erkenntnisse. // Quinkert, Babette (Hrsg). „Wir sind die Herren dieses Landes“. Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Hamburg: VSA-Verlag, 2002. S. 124—135.

Pfahlmann H. Fremdarbeiter und Kriegsgefangen in der Deutschen Kriegswirtschaft 1939—1945. // Beiträge zur Wehrforschung. Darmstadt: Wehr und Wissen Verlagsgesellschaft GMBH, [1968]. Bd. XVI—XVII. 238 s.

Ploski, Stanislaw. German Crimes against Soviet P. O. W.s in Poland. // German Crimes in Poland. Warsaw, 1946.

Polian P. First Victims of the Holocaust: Soviet-Jewish Prisoners of War in German Captivity. // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Fall 2005. Vol.6, no. 4. P. 763—787.

Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939—1945: Województwo Łomżyńskie. / Informacja wewnętrzna nr. 66/23. — Warszawa: Główna komisja badania zbrodni hitlerowskich w Polsce; Institut pamięci narodowej, 1985. 249 s.

Rossino, Christopher. Hitler Strikes Poland.

Sämtliche Mitteilungen der Reichskommissariat Ukraina. 1941, Nr 9, 14.01.1942

Štark, Avraham-Oskar; Ženi, Lebl; Kraus, Vladimir; Montag, Mina; Pijade, Rafael; Vig, Vera. A Memorial of Yugoslavian Jewish Prisoners of War. Half a century after Liberation. 1945—1995. Tel-Aviv, 1995. 96 p.

Schickel, Alfred. Ein vergessenes Kapitel Zeitgeschichte. Gefangene Polen in deutschen Offizierslagern. // Wehrwissenschaftliche Rundschau. 1981. Jg. 30. S. 28—32.

Streim, Alfred. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im «Fall Barbarossa». Eine Dokumentation. Unter Berücksichtigung der Unterlagen deutschen Strafverfolgungsbehörden und der Materialien der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen. — Heidelberg, Karlsruhe: Müller Jüristischer Verlag, 1981. 442 s.

Streit, Christian. Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941—1945. 2. Auflage. Bonn: Verlag J.H.W.Dietz Nachf, 1991. 448 s.

Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941—1944. Ausstellungskatalog. / Gesamted.: Ulrike Ureit. Hamburg: Hamburger Edition, 2002. 768 s.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Подлинные имена и псевдонимы советских военнопленных-евреев

Настоящее имя	Имя в плену	Источник
Абрамович Мойша Абрамович	Илюбин Александр	ЦАМО, № 110489
Азарквич Исаак Евсевич	Коршунов Сергей Григорьевич, он же Кулагин Сергей Григорьевич	Личнос сообщенис
Анвасер Софья Иосифовна	Анджапаридзе Софья (фамилия однокурсника)	Полян, 2002.
Безумский Израиль Наумович	Саркисов, армянин	Шнеспр, 2003. Т.2. С. 171—172
Бейнсон Александр	Гамалюк Е. Павлович	USHMM, Data Base Survivers
Беликов Борис Ильич	Бсликов Борис Иванович	Личнос сообщенис
Белкин Эммануил	Малдагазиев Асан	Шнеспр, 2003. Т. 2. С. 170
Бенционов Матвей Исаакович	Кравчско Григорий Михайлович	Личнос сообщенис
Блуштейн Израиль	Зарбсков Ибрагим	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 34
Бовшесер Давид Абра- мович	Дурнякин Серафим Петрович	ЦАМО, № 150944

Настоящее имя	Имя в плену	Источник
Богданов Гириш Янкелевич	Богданов Григорий, армянин	Яд Вашем (сообщено А. Шнсером)
Богорад Яков Залманович	Христюк Иван Данилович	Яд Вашем (сообщено А. Шнсером)
Бокалинский Григорий	Бондаренко Григорий	USHMM, Data Base Survivors
Бружальский Марк	Ахмедов Саид Али-Мамедович	
Бружеставицкий Израиль Моисеевич	Бружа Лсонид Петрович	Личное сообщение
Вейгман Александр	Арбеков Николай Петрович, татарин	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 168, 292—298
Вигдоров Абрам Соломонович	Викторов Алексей Семенович	Личнос сообщение
Гелевский Давид Яковлевич	Пустовой Иван Андреевич	Букалов, 1996. С. 157 (это стало препятствием для получения им гуманитарного урегулирования из Германии)
Гелер (Гейлер) Петр Иванович	Черномизий	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 272
Генкин Яков	Токарчук Яков	USHMM, Data Base Survivors
Герценштейн Давид Исасвич	Григорьев Дмитрий Иванович (из-за уже имевшейся татуировки «Д. И. Г»)	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 207—208
Гетман Иосиф Яковлевич	Зайцев Захар Яковлевич, Зайнуллин	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 176—177
Гитерман Иосиф Месерович, окруженец	Ефимов Николай Захарович	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 266—267

Настоящее имя	Имя в плену	Источник
Гликштейн (Гитерман) Хвиля Абрамовна	Марченко Валентина	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 267—268
Гольдин Александр Яковлевич	Правдин Александр Яковлевич	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 34
Голдфарб Игорь	Мартынов Петр	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 177—178
Городинский Нисим	Кадимов Лсонид Алксандрович	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 170—171
Гриншпун Семсн Григорьевич	Гриненко (на Украине), Гринсв (в России)	Гриншпун, 1993. С. 132
Гройсман Борис	Моисеев Владимир Антонович	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 31; ЦАМО, № 270581
Губерман Григорий	Колокольцев Николай (имя друга)	Сообщено Ж.И. Гольденфельд (Иерусалим)
Додин Давид Исаакович	Додин Давид Иванович	Видеоинтервью Фонду С. Спилберга от 04.05.1998.
Жуков Анатолий Наумович	Жуков Анатолий Николасвич	Личнос сообщенис
Заславский Владимир	Минченко Василий	USHMM, Data Base Survivors
Зснгин Захарий Исаакович	Зитуласв Зикирия, крымский татарин	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 168
Кагаловский Яков Самойлович	Новиков Андрей Иванович	Личнос сообщенис.
Каганзон Ц.И.	Козубснко Петр Иванович	Барвинок, Евселевский и Пустовойт. 1979. С. 82—83.
Кандов Нерия, бухарский еврей	Касымов	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 168—169

Настоящее имя	Имя в плену	Источник
Каплун Абрам Абрамович	Демкин Александр Семанович	ЦАМО, № 0201026
Каутов Давид Львович	Григорьев Владимир Петрович, русский (псевдоним выбран «с потолка»)	Личнос сообщенис.
Кацперовский Самуил Ефимович, р. Мс-литополь	Карасев Виктор Андреевич, р. Ижевск	Личнос сообщенис. Живет в Ганноверс, имя Виктор он себе «оставил»
Киммельман Наум	Шаликов Виктор	Воронин, 1970.
Клиних Мойше Самсонович	Фоклинишвили Шота	ЦАМО, № 1211581
Котляр Лсонид Исаакович	Котлярчук Леонтий Гаврилович	Котляр Л. И. Моя солдатская судьба (наст. издание)
Козн Яков	Шипов Иван	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 173
Кригер Семсн	Криков Семсн	Марьяновский, Соболь, 1997. С. 34
Кудрявацкая Аля	Суровская Александра Соломоновна	Личнос сообщенис
Ланин Лазарь	Тихоненко Виктор Иванович	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 17
Ланцман Григорий Семанович	Коваленко Гриц	Яд Вашем (сообщено А.Шнсером)
Лейках Мойша	Лейках Мартин	USHMM, Data Base Survivors
Лернер Мойша Хаймович	Полищук Михаил	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 171, 228—230
Меламед Михаил	Татарин	Krakowski, 1992. P. 228.

Настоящее имя	Имя в плену	Источник
Меламед М.И.	Конжаров М.И., аджарец	Krakowski, 1992. P. 228— 229; Советские евреи пишут Илье Эренбургу... 1993. С. 135—136.
Минц Макс Григорьевич	Минаков Михаил Григорьевич	ИВАНЦОВ, 1980. С. 57, 60.
Орштейн Семен Алексеевич	Семенюк Василий Кузьмич (лучший друг, раненый за 2 дня до плена)	Личнос сообщенис
Папиров Семсн	Коваленко Семсн	USHMM, Data Base Survivers
Пинт Григорий Михай- лович	Пузанов Павел Дмитриевич	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 34
Пинхусевич Борис Самой- лович, партизан	Пинчук Григорий Борисович	Шнесер, 2003. Т. 2. С. 322—323
Погребский Абрам	Азербайджанец из Баку; Крайнов Владимир, русский	Шнесер, 2003. Т. 2. С. 264—266
Подольский Исай Яковлевич, окруженец	Тросницкий Анатолий Игнатьевич	Шнесер, 2003. Т. 2. С. 276—283
Полищук Яков Михайлович	Савицкий Александр	Шнесер, 2003. Т. 2. С. 243—245
Простерман Лев Яковлевич	Просторов Алексей (из созвучия)	Личнос сообщенис
Райзман Лев	Разиков Леонид / Козлов Леонид	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 34
Рабинович Моисей	Рыбин Михаил	USHMM, Data Base Survivers
Рзниченко Абрам	Резенко Аркадий Ильич	Рзниченко, 1993. С. 392—394.
Розенгард Лев	Лобанов Леонид Николаевич	Розенгард, 2004

Настоящее имя	Имя в плену	Источник
Саг Хаим	Садовский Ефим Акакиевич, армянин	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 172
Сандовский Осип (Иосиф)	Садовский Михаил, Садков	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 260—262
Сигал Яков Исаакович	Сегалов Яков Петрович	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 34
Сирота Нухим	Сирота Наум/Николай	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 34
Соломонов Шломо	Салманов, азербайджанец	Krakowski, 1992, p. 227.
Сосин Эммануил Николаевич	Зарин Михаил Николаевич	Личное сообщение
Тартаковский Исай Моисеевич	Борисов Григорий Павлович (сообразно фальшиво- вому паспорту на это имя)	Воспоминания И.М. Тартаковского (сообщено А.Шнсером)
Тругман Марк	Тамарин Дмитрий, адыгейский князь	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 299—300
Фельдман Иосиф	Фесенко Григорий	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 30
Фишман Наум Абрамович	Васильев Михаил	Личное сообщение
Франк Ида	Франк Ирина	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 34
Френкель Илья	Грушко Эрнест, фольксдойче	Шнсер, 2003. Т. 2. С. 179—180.
Фридман Борис	Пейко Борис	Фридман, 2000. С. 173.
Фуке Борис Григорьевич	Фука Байрам, турок(?)	Шнсер, 2003. Т.2. С. 224—225.
Фурман Михаил	Фурманов Михаил	USHMM, Data Base Survivors

Настоящее имя	Имя в плену	Источник
Хизгилов Мигдар (Мугдаши) Яхьевич	Абдулалиев Мигдар (Мугдаши), азербайджанец	Яд Вашем (сообщено А. Шенсром)
Цирюльников Алексей Иосифович	Меняйлов Алексей (имя друга детства)	Личное сообщение
Шерешевский Наум Львович	Коля, татарин	Сообщено А. Шенсром
Шифрин Моше	Шадрин Михаил	Шенср, 2003. Т. 2. С. 173
Шихерт М.П.	Альбердовский Иосиф Харитонович	Марьяновский, Соболев, 1997. С. 31
Штейнгардт Бейнес Менделевич	Никитин Николай Михайлович	Сообщено А. Шенсром

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АГ — Айнзатцгруппа (Einsatzgruppe)

АК — Айнзатцкомmando (Einsatzkommando)

ВИЖ — «Военно-исторический журнал», Москва.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации, Москва.

ГАСК — Государственный архив Ставропольского края, Ставрополь

ГФ ПОБ — Германский фонд «Память. Ответственность. Будущее»

ЗК — Зондеркомmando

МИД — Министерство иностранных дел СССР МККК — Международный Комитет Красного Креста, Женева НАРБ — Национальный архив Республики Беларусь, Минск НКГБ — Народный комиссариат государственной безопасности

НСДАП (Nazional-Sozialistische Deutsche Arbeitspartei) — Национал-социалистическая рабочая партия Германии

ОКВ — Верховное командование вооруженных сил Германии (OKW: Oberkommando der Wehrmacht)

ОКХ — Верховное командование сухопутных сил (OKH: Oberkommando des Heeres) оп. — Опись (при описании архивных источников) ПО — Партнерская организация

РГВА — Российский Государственный военный архив, Москва РСХА — Имперская служба безопасности (RSNA: Reichssicherheitsamt) РФВП — Российский фонд «Взаимопонимание и примирение» СД — Служба безопасности при СС (SD, Sicherheitsdienst der SS)

СС — Охранные отряды национал-социалистической рабочей партии Германии (SS, Schutzstaffel der NSDAP)

Уничтожение... 1991. — Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941—1944) Сборник документов и материалов / Под ред. И.Арада. Иерусалим: Яд Вашем, 1991. 424 с.

ЧГК — Чрезвычайная Государственная Комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР, Москва

ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны РФ, Подольск.

BAВ — Bundesarchiv, Berlin

BA-MA — Bundesarchiv-Militararchiv, Freiburg

JCC — International Claimes Conference, New York

IfZ — Archiv des Institutes für Zeitgeschichte, München

USHMM — United States Holocaust Memorial Museum, Washington

СОДЕРЖАНИЕ

ПРАЩА ЛЕОНИДА, ИЛИ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ ПЛЕНА. <i>Павел Полян</i>	3
--	---

МОЯ СОЛДАТСКАЯ СУДЬБА

Леонид Котляр

Глава I.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР	17
Чего же я на самом деле хочу?.....	17
Плен	27
«Жида — выходи!»	30
Лагерь.....	34
Маленький красный лоскуток плотной бумаги.....	37
Дед Кирюша	43
На хуторе Петровском.....	49
В «Великую Германию»	59
Побег.....	61

Глава II.

ЧУЖАЯ СТОРОНА	63
Гороховый суп.....	63
«Променад».....	64
Сталинград.....	68
Пушинка	70
Комната	73

Не хватало только шпаги.....	79
Возмездие	82
«Ваг дам, ваг дам, ваг дам!»	90
19 апреля	93
Десять суток свободы	98
С флагом и с песнями.....	101
Ночь Победы	102
«В этом повинны вы все»	104
Путешествие с приключениями	110
Репатриация	113
Абраша	117
Снова в строю	118
Лейтенант Борисов.....	120
Армейские забавы	121

Глава III.

СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ.....	128
Капитан на мотоцикле	128
Судебные мытарства	130
И еще о Роме.....	133
Комната № 13	134
«Ташкент»	135
Последняя пуля	140
Дети мансарды.....	141
Козелец	149
Про чистку, космополитизм и потерю бдительности	152
Театральная отрава	156
С пятном на биографии	160

«Дело врачей»	165
Холокост по-советски	168
Чернобыль	177
О моем друге Юре.....	179
И еще кое о чем	182

**ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХОЛОКОСТ:
СОВЕТСКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ-ЕВРЕИ
КАК ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ГЕНОЦИДА**

Павел Полян

Источники к теме	188
Евреи в немецком плену	194
Советские военнопленные-евреи и точка отсчета Холокоста	205
Советские военнопленные-евреи и нормативная база их убийства	213
Палачи	234
Селекция и ликвидация на оккупированной территории СССР и в бывшей Польше.....	241
Селекция и ликвидация на территории Германии.....	263
Спасшиеся и спасители.....	270
Советские военнопленные-евреи в финском и румынском плену	297
Репатриация и фильтрация	311
Постскриптум: Компенсации.....	315
Литература	327
Приложения	338
Принятые сокращения	345

Научно-популярное издание
Военные тайны XX века

Котляр Леонид Исаакович
Полян Павел Маркович

**ВОСПОМИНАНИЯ
ЕВРЕЯ-КРАСНОАРМЕЙЦА**

Выпускающий редактор *Г.Ю. Пернавский*
Корректор *Н.С. Седова*
Верстка *С.Б. Буславский*
Подготовка к печати
художественного оформления *М.Г. Хабибуллов*

ООО «Издательский дом «Вече»
Почтовый адрес:
129337, Москва, ул. Красной Сосны, 24.
Фактический адрес:
127549, Москва, Алтуфьевское шоссе, 48, корпус 1.

E-mail: veche@veche.ru
<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 20.05.2011. Формат 84 × 108 1/32.
Гарнитура «Times New Roman». Печать офсетная. Бумага офсетная.
Печ. л. 11. Тираж 3000 экз. Заказ № 2989.

Отпечатано в ОАО «Тульская типография».
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЕЧЕ»

ООО «ВЕСТЬ» является основным поставщиком
книжной продукции издательства «ВЕЧЕ»

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, ул. Красной Сосны, 24, а/я 63.

Фактический адрес:

127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-71, (499) 940-48-72.

Интернет: www.veche.ru

Электронная почта (E-mail): veche@veche.ru

По вопросу размещения рекламы в книгах
обращаться в рекламный отдел издательства «ВЕЧЕ».

Тел.: (499) 940-48-70.

E-mail: reklama@veche.ru

ВНИМАНИЮ ОПТОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Книги издательства «ВЕЧЕ» вы можете приобрести также
в наших филиалах и у официальных дилеров по адресам:

В Москве:

Компания «Лабиринт»

115419, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д. 8, стр. 4.

Тел.: (495) 780-00-98, 231-46-79

www.labyrinth-shop.ru

В Киеве:

ООО «Издательство «Арий»

г. Киев, пр. 50-летия Октября, д. 26, а/я 84.

Тел.: (380 44) 537-29-20, (380 44) 407-22-75.

E-mail: ariy@optima.com.ua

Всегда в ассортименте новинки издательства «ВЕЧЕ»
в московских книжных магазинах:

ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Букбери», «Новый книжный».



Знаменитая серия книг



Более 150 томов



Энциклопедическая полнота



www.veche.ru

ВОСПОМИНАНИЯ ЕВРЕЯ- КРАСНОАРМЕЙЦА

Книга «Воспоминания еврея-красноармейца» состоит из двух частей. Первая — это, собственно, воспоминания одного из советских военнопленных еврейской национальности. Сам автор, Леонид Исаакович Котляр, озаглавил их «Моя солдатская судьба (Свидетельство суровой эпохи)». Его судьба сложилась удивительно, почти неправдоподобно. Киевский мальчик девятнадцати лет с ярко выраженной еврейской внешностью в июле 1941 года ушел добровольцем на фронт, а через два месяца попал в плен к фашистам. Он прошел через лагеря для военнопленных, жил на территории оккупированной немцами Украины, был увезен в Германию в качестве остарбайтера, несколько раз подвергался всяческим проверкам и, скрывая на протяжении трех с половиной лет свою национальность, каким-то чудом остался в живых. Этим событиям посвящены первые две главы повести. В третьей — автор описывает то, что пришлось ему пережить до и после Великой Отечественной войны. Его жизнь вместила в себя годы НЭПа; голод 1933—1934 годов; чистку ВКП(б), через которую проходил его отец; сталинский СМЕРШ; захлестнувшую СССР в послевоенные годы волну антисемитизма (о которой, кажется, еще никто толком не написал); «дело врачей»; аварию на Чернобыльской АЭС, рядом с которой он оказался по воле судьбы весной 1986 года...

Вторую часть книги составляет статья известного российского историка П. Поляна об участии попавших в плен евреев-красноармейцев.

XX военные
тайны
века

ISBN 978-5-9533-5705-0



9 785953 135705 0


ВЕЧЕ
20 лет